

The background of the cover is a landscape photograph showing rolling green hills and fields under a sky filled with large, white and grey clouds. The foreground is a dark, plowed field.

**А. Малышевский**

**Русский путь  
братьев Киреевских**

16+

# **А. Мальшевский Русский путь братьев Киреевских**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=53612662](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53612662)*

*SelfPub; 2020*

## **Аннотация**

Перед читателем историко-литературная биография Ивана Васильевича Киреевского (22 марта / 3 апреля 1806 – 11 / 23 июня 1856) и Петра Васильевича Киреевского (11 / 23 февраля 1808 – 25 октября / 6 ноября 1856) – двух великих сынов Отечества, двух выдающихся деятелей русской культуры, двух основоположников и идеологов славянофильства. Адресуется самому широкому кругу читателей, интересующихся историей России первой половины XIX века.

# Содержание

Предисловие	4
Глава I. Род. Родители. Родня	22
1	22
2	40
3	49
4	107
Глава II. Долбино. Детство	186
I	186
2	214
3	266
4	319
Глава III. Москва. Университет. Первый творческий опыт	323
1	323
2	350
3	359
Конец ознакомительного фрагмента.	368

# Предисловие

*Он человек был, человек во всем;  
Ему подобных мне уже не встретить<sup>1</sup>.  
Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский*

*Пускай в душевной глубине...  
Федор Тютчев. Silentium!*

Все, о чем пойдет разговор в этой книге, давно забылось... исчезло... истлело... перестало существовать... За двести лет умерли не только люди, но и память о них. Лишь немногим удалось избежать забвения... участи стертых с лица земли могил. Дома и постройки разрушились или видоизменились так, что большей частью утратили изначальный облик и предназначение. Реки обмелели... Поля заросли... Прежних дорог не сыскать... Ни барских усадеб, ни пашен, ни покосов, ни прудов, ни заливных лугов, ни тенистых аллей... Иные времена – иные пейзажи!!.. Как сказано у Екклесиаста: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и

---

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.

возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь»<sup>2</sup>. Однако людей, хотя они и умерли, забывать нельзя...

И вот они лица XIX столетия!!.. Братья-славянофилы Иван и Петр Киреевские. Иван Васильевич сидит в большом удобном старинном кресле... Очки с круглыми стеклами, высокий воротник сорочки... Одна рука заложена за борт сюртука, другая не столько опирается на ручку кресла, сколько сжимает ее. Лицо *поставлено* прямо, упорно; подбородок чуть-чуть выдается вперед; маленькие губы красивого рта сжаты; над глазами большие надбровные дуги; череп – скорее коробочкой, без округлости, без шаровидности. Взгляд пристальный. Все выражение негодующее... с налетом легкой презрительности. Петр Васильевич – просто *степной помещик*... Усы, в кружок остриженные волосы... Венгерка, в зубах трубка... Аскет, ветхопещерник<sup>3</sup>; пренебрежение ко всяким условностям высшего тона; дворянин, вечно водящийся с простолюдинами; прямой, честный, страстно любящий свой народ...

Первый – писатель-аналитик, религиозный философ, теоретик славянофильства, редактор-издатель «Европейца». Он был одним из первых литературный критиков и публицистов, положивших начало цельного взгляда на культу-

---

<sup>2</sup> Еккл. 1, 3–7.

<sup>3</sup> Выражение поэта Н. М. Языкова.

ру, цивилизацию, европейскую и отечественную литературу, *на наше и не наше* во всемирной истории. Второй – собиратель-исследователь народного поэтического, песенного творчества. С его собрания началась систематическое и научное отношение к отечественной фольклористике.

Иван Васильевич был старшим братом и, естественно, во всем имел инициативу: книги, знакомства, философские увлечения, выбор литературных кружков – все изначально принадлежало брату Ивану, за которым *нога в ногу* следовал его младший брат Петр Васильевич. Тот же наставник – Василий Андреевич Жуковский. Та же библиотека из лучших произведений русской и мировой литературы... Тот же круг *чтения и постижения литературы и науки* европейских народов... Те же профессора Московского университета: Мерзляков, Снегирев, Цветаев, Чумаков... Та же служба в Московском архиве Коллегии иностранных дел... Та же компания «архивных юношей»: Алексей и Дмитрий Веневитиновы, Николай Мельгунов, Николай Рожалин, Александр Кошелев, Сергей Соболевский, Владимир Титов, Владимир Одоевский, Степан Шевырев... Те же литературные кружки Раича, Одоевского, Веневитинова... То же Общество любомудрия, самораспустившееся в 1825 году после восстания декабристов... То же увлечение трудами Спинозы, Канта, Фихте... Та же западная университетская школа: Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, Лоренц Окен, Йоханн Йозеф фон Гёррес,

Карл Риттер... Тот же круг знакомых: А. С. Пушкин, А. Мицкевич, З. Доленга-Ходаковский, Ф. И. Тютчев, Н. В. Гоголь, А. С. Хомяков, А. Х. Востоков, А. В. Кольцов, А. Ф. Вельтман, В. И. Даль, М. П. Погодин, М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, А. М. Кубарев, Авр. С. Норов, Ал. С. Норов, М. А. Максимович, Д. П. Ознобишин, А. Н. Муравьев, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцев, Ю. Ф. Самарин, Т. Н. Грановский...

Принято читать, что Петр Киреевский прожил свою жизнь в тени старшего брата Ивана, что Иван Киреевский *несравненно оконченнее* младшего брата Петра... Что И. В. Киреевский – подлинно *священный писатель*... Его сочинения («Девятнадцатый век»<sup>4</sup>, «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России»<sup>5</sup>, «О необходимости и возможности новых начал для философии»<sup>6</sup>) – подлинное *священное писанье* в русской литературе, ибо «исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, – везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самую страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в сужде-

---

<sup>4</sup> Европеец. 1932. № 1.

<sup>5</sup> Московский сборник. М., 1852. Т. 1.

<sup>6</sup> Русская беседа. 1956.

ниях»<sup>7</sup>.

П. В. Киреевский дебютировал в журнале «Московский вестник» в 1827 году, где было напечатано его изложение курса новогреческой литературы, написанного и изданного по-французски в Женеве Ризо Нерулосом. В 1828 году Петр Киреевский напечатал отдельной книжкой свой перевод с английского повести Байрона «Вампир». В этом же году в «Московском вестнике»<sup>8</sup> был опубликован его перевод с испанского большей части комедии Кальдерона «Трудно стучаться в дом с двух дверей». Также переводил Шекспира<sup>9</sup>. Перевёл книгу В. Ирвинга «Жизнь Магомета», которая была опубликована после его смерти, в 1857 году. В 1832 году в журнале «Европеец»<sup>10</sup> появилась статья Петра Васильевича под заглавием «Современное состояние Испании» – перевод из английского журнала «The Foreign Quaterly Review». В 1845 году Петр Киреевский напечатал в журнале «Москвитянин»<sup>11</sup> статью «О древней русской истории», в виде полемического письма известному историку М. П. Погодину по поводу его «Параллели русской истории с историею западных европейских государств» – с обещанием «окончания

---

<sup>7</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 565.

<sup>8</sup> № 19–20.

<sup>9</sup> Не опубликовано, рукописи утрачены.

<sup>10</sup> № 2.

<sup>11</sup> № 3.

в следующей книжке», которого не последовало. В 1846 году им был напечатан в первом выпуске начавших тогда выходить «Чтений в Обществе истории и древностей российских» перевод с английского сочинения Сэмюэла Коллинза, бывшего врачом царя Алексея Михайловича, о современном ему состоянии России, сделанный с экземпляра первого его издания 1671 года («Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне»).

Следует признать, что на литературном поприще Петр Киреевский (при всем желании его писать) не достиг высот своего брата Ивана Киреевского; он даже не приблизился к ним. Совсем не от смирения и не от излишней совестливости!!.. Петр Васильевич так и не приобрел привычки излагать свою мысль на бумаге (его перу не была дарована легкость). Было и еще одно... Само свойство *раскапывания старины*, при котором нельзя ни шагу двинуться без тысячи справок и проверок и без ежеминутной борьбы с целой *фалангой предшественников, изувечивших и загрязнивших ее донельзя*. Но это не умаляет самостоятельности и самостоятельности П. В. Киреевского перед И. В. Киреевским...

Несомненно, Иван Киреевский был *подвижнее* умом Петра Киреевского, *живее* мыслью и, если можно так выразиться, *ускореннее* впечатлительностью. Петр Васильевич был замкнут и *неуклюж*; таланты его были менее заметны, нежели блестящие дарования старшего брата Ивана Васильевича. Однако П. В. Киреевский был *замечательнее* своего бра-

та И. В. Киреевского и по цельности натуры, и по чистоте убеждений, и по редкости совершенно праведной жизни. Если Иван Киреевский в своем умственном развитии был *зависим*... многим увлекался и был подвержен многим влияниям (от западных теорий до православного религиозного мистицизма), то Петр Киреевский в суждениях был спокойнее и самостоятельнее, *совершил свой жизненный труд без всякой перемены и даже оттенка перемены*.

И. В. Киреевский был создан для многого, в то время как П. В. Киреевский для одного. Отдавая преимущество русскому характеру, русскому уму, а по сути своей *русскому всему*, Петр Киреевский помыслил осуществить грандиозную по историческим меркам задачу – восстановить первоначальный, древний дух русского народа – восстановить не иллюзорно (через воображение или догадку), а непосредственно по непререкаемым памятникам... собрать воедино документы, где бы были видны *истоки, природа и течение* этого духа, в которых отражались бы традиции, быт и жизнь этого духа, его возможная глубина, его игра, ясность и легкость... Найти первоначальный народный дух?!.. живую речь народа, сохранившую древние черты?!.. без книжных примесей и влияний?!.. в размеренном песенном тексте, из которого слова не выкинешь?!.. Более величественной и более благородной задачи нельзя было себе представить?!..

У братьев Киреевских была общая надежда и мысль о великом назначении своего Отечества!!.. Иван Васильевич ре-

ализовывал ее теоретически, что называется, за письменным столом; его охватила идея *цельности духовной жизни*. Именно *цельное мышление* позволяет личности и обществу избежать ложного выбора между невежеством, которое ведет к *уклонению разума и сердца от истинных убеждений*, и логическим мышлением, способным отвлечь человека от всего важного в мире. *Все ложные выводы рационального мышления зависят только от его притязания на высшее и полное познание истины!!!*. Для человека, не достигшего *цельного сознания*, вторая опасность особенно актуальна; культ телесности и культ материального производства, получая оправдание в рационалистической философии, ведет к духовному порабощению. Принципиально изменить ситуацию может только перемена *основных убеждений... изменение духа и направления философии... Рождение нового мышления не в построении систем, а в сущностном повороте в общественном сознании... воспитании общества... Не индивидуальными интеллектуальными усилиями, а общими (соборными) в общественную жизнь должна войти новая, преодолевающая рационализм, философия. Суть этого пути – стремление к сосредоточенной цельности духа, которая дается только верой... аскеза – необходимый элемент не только жизни, но и философии... святоотеческий образ и способ мышления... внутреннее духовное сопряжение человеческой личности с Богом.*

Зная семь языков и с ними впитав дух столько же куль-

тур, П. В. Киреевский «сознательно, твердо предпочел всем им деревенскую и сельскую культуру Руси, Псковскую и Новгородскую деревенщину, и совершенно не имел иного отношения к общечеловеческим идеалам *истины, красоты, справедливости*, чем просто русское к ним отношение, русское чувство этих идеалов. Соединяя с этим русским чувством огромное европейское образование, он открыл ворота *русской смелости* – смелости называться собою, чувствовать, как *чувствуется самому русскому*, думать, как *думается самому русскому*, никому не вторя, никому не подражая»<sup>12</sup>.

Петр Киреевский погрузился в реалии практической жизни; отправился по селам и ярмаркам Московской, Тверской, Псковской, Новгородской губерниям, знакомился с русским крестьянином, с русским простолюдином, с деревенским стариком-сказителем, самолично записывал с голоса песни и стихи... Изучал, стараясь по всем вариантам одной и той же песни восстановить первоначальный, древнейший ее вид, *обставив* этот подлинник выросшими видоизменениями; искал и находил тот образец народного песенного бытописания (говорок, выдумка, легенда, обряд), через который лучше всего можно осязать свою собственную родную отечественную историю. Работа титаническая, требующая множества справок, сравнений, множества проверок дальнейшего упо-

---

<sup>12</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.). М.: Республика, 2006. С. 219.

требления того или иного слова, того или иного оборота речи, в летописях и других древних памятниках письменности.

Невольные и бессознательные впечатления от собирания народных песен и стихов *вдохновили... одушевили... заразили... окружающих. Тихая и скромная душа* сделалась источником огромного движения *возрождения Древней Руси – основной России!!!!*. Пушкин прислал Петру Киреевскому тетрадь песен, записанных в Псковской губернии; Кольцов – песни, собранные им в Воронежской губернии; Гоголь – разрозненное собрание песен Малороссии. Семья поэта Николая Языкова передала Петру Киреевскому песни, записанные в Симбирской и Оренбургской губерниях. В то же время Снегирев прислал песни, собранные в Тверской и Костромской губерниях, Кавелин – из Тульской и Нижегородской, Вельтман – из Калужской, Шевырев – из Саратовской, Рожалин – из Орловской, А. Н. Попов – из Рязанской, Трубников – из Тамбовской, Гудилович – из Минской, Даль – из Приуралья. К *общему* теперь делу приобщились Максимович и совсем юный Стахович; Якушкин обошел пешком Костромскую, Тверскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Орловскую губернии.

Два *великих ума*, выпестованных на последовательности западноевропейского развития, загнанных в *личную глубину*, мыслящих в молчании... Два *духовных труда*, постигающих суть и сущность российской действительности, так и не про-

рвавшихся сквозь пелену *чистых и абсолютных дум* на поверхность общественного сознания...

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои —  
Пуškai в душевной глубине  
Встают и заходят оне  
Безмолвно, как звезды в ночи, —  
Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь.  
Взрывая, возмутишь ключи, —  
Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —  
Есть целый мир в душе твоей  
Таинственно-волшебных дум;  
Их оглушит наружный шум,  
Дневные разгонят лучи, —  
Внимай их пенью – и молчи!..<sup>13</sup>

«Молчание – талант даровитого. Молча светит солнце. Молча созревает плод. Молча кормит корень. Вся *природа* молчалива, все в природе молчаливо. Гром и ветер – исклю-

<sup>13</sup> Тютчев Ф. И. Silentium!

чения, и ведь это не Бог весть что. Чем больше молчания, тем больше *делается*... Молчание – добродетель, а разговоры... могут быть просто *болтовней*... Настоящий *ум* начинается со *скромности*, т. е. с некоторого плача о себе и своих силах, о своем бессилии; и, пропорционально этому, с *внимания* к окружающему, с желания учиться из окружающего... *Настоящая наука* никак не может зародиться иначе как в *глубоком безмолвии*, почти в немом человеке. Науке положил начало тот, кто хотел говорить и не мог говорить...»<sup>14</sup>

Так случается... Так случилось... Опоэтизированный Ф. И. Тютчевым образ *молчания* воплотился в жизненные реалии братьев Киреевских, в их особую жизнь посреди общества, *образованного* иначе. Ибо человек *промыслительно* может и *промыслительно* должен проложить свой индивидуальный путь-траекторию в мире по истине, по совести, по правде, по справедливости... В любые времена!!.. в любые эпохи!!.. застои... смуты... бедствия... «Ведь общество и его уровень ценностей – лишь одна из многих составляющих, что образуют содержание жизни человека. Если в социуме смрад и недвижность, человек обращается в семью, любовь, мысль, в культуру, в природу, в труд, в хозяйство – и там добывает собственные, независимые от политических веяний ценности бытия... Создать свой очаг и ковчег спасения,

---

<sup>14</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 562.

особенно если жена – друг, как у Ивана Киреевского: была духовной дочерью Серафима Саровского, русского святого, скончавшегося в 1833 году, – современник Пушкина был, а кто знал?.. Благо материальная независимость помещика давала возможность удалиться в свою усадьбу и не видеть са-трапов, не сталкиваться с ними повседневно на службе из-за куса хлеба...»<sup>15</sup>

Братья Киреевские *сотворили* свое собственное пространство-время, в котором *обитали* в расхождении с текущим, *вслушиваясь* в суть вещей и событий европейских стран и народов, *синхронизируя* ход российской истории. Античность и варварство... Христианство и церковь... Государство и просвещение... Цивилизация и культура... Россия не укладывалась в общее *шествие* западноевропейского Духа своей сущностью?!.. Огромностью?!.. Древностью?!.. Восточным христианством?!.. В чем, собственно, дело??.. В западной государственности, *привнесенной* варягами на бескрайние просторы, спорадически населяемые славянскими племенами?!.. В западных схемах и логике миропонимания, *привитых* Петром Великим к древу вольно-разгульной народной жизни?!.. В разупорядоченности темпов и ритмов российских столиц и провинций: с одной стороны, пространство всемирной мысли, средоточие новейших европейских течений (вольтерьянство, романтизм, Шеллинг и Гегель, со-

---

<sup>15</sup> Гачев Г. Д. Русская Дума. Портреты русских мыслителей. М.: Издательство «Новости», 1991. С. 27–28.

циализм и т. д. и т. п.), отягченное думой о собственном поступательном развитии, а с другой – доисторичность, патриархальность, сказочность, былинность, песенность... мир настоящий, глухой, темный, суровый, неизвестный... народное море, народная совесть, народная нужда, народная дума... Святая Русь?!.. «Начало мира... начало мышления... начало самого человека коренится в *святом*: оно редко, невидимо, не мечется в глаза, а скорее хоронится от глаз, но в нем-то и лежит *корень* всего мира... И пока мир держится именно *на этом корне* и не пожелает получить в основу себя другого корня, – он останется жив, цел и вечен. Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое – оно всегда прямо... Святое есть настоящее. *Настоящий человек... настоящее золото... настоящая дружба...* Мир состоит из *настоящих вещей* и из *подражаний настоящим вещам*... И вторых очень много, а первых очень немного, вот как золота...»<sup>16</sup> Медленнее Европы, но быстрее Азии?!.. И земля, и природа, и народ, и государство, и личность, и душа, и дух, и цель, и призвание, и предназначение, и миссия...

Что значит быть человеком утонченной европейской культуры, человеком воспитанным на гуманистических и либеральных идеях Запада, поверившим универсальности европейской цивилизации и оттого так страстно тянувшим-

---

<sup>16</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 563.

ся к родному, так глубоко понимающим его?!.. Высоко, благородно и бескорыстно ценить все *возвышенное, духовное и плодородное* в русской истории, русской культуре, русской нации, русском человеке при всей очевидности для него места и роли западной цивилизации, при всем понимании степени ее превосходства перед нашим *русским ничто*?!.. Глубокий теоретизм (по той простой и естественной причине, что все работали, размышляли и писали свои ученые труды по методам западной науки, западного научного мышления) и иллюзорно-литературное презрение к европейской цивилизации, *отталкивание* от нее и *прирастание* к тому, чего нет, что уже под спудом прошлого, с чем порвана жизненная связь?!.. Странное сочетание в русской душе и русском сознании энтузиазма в отношении Европы, ее просвещения, ее науки и ее искусства, ее литературы и ее гражданских ценностей и боли из-за отсутствия в нас (в собственной личности и общественной жизни) преимуществ западного духовного развития?!.. «Великий этот хлеб, хлеб Европы, – святой, питательный. Только им мы и были сыты, только им мы и были живы. Но Бог велел каждому человеку самому трудиться на земле. Отныне мы берем плуг и в поте лица нашего, в поте лица русского будем распахивать наше русское поле...»<sup>17</sup>

Противостояние славянофильства и западничества, сло-

---

<sup>17</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. В нашей смуте (Статьи 1908 г. Письма к Э. Ф. Голлербаху). М.: Республика, 2004. С. 126.

жившееся в 1830–1850-х годах, стало одним из определяющих признаков всего развития отечественной культуры. По одну сторону: А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, Ю. В. Самарин, В. А. Черкасский и другие члены *кружка*, олицетворявшего *особую* любовь к России, к своему *домашнему* делу, к осознанию себя, своей национальной значительности. Народ наш не есть среда, материал, вещество, для принятия в себя единой и универсальной и окончательной истины, которая обобщенно именуется Европейской цивилизацией!!.. По другую: П. Я. Чаадаев (именно его «Философические письма» послужили толчком к окончательному оформлению обоих течений и стали поводом к началу дебатов), Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, К. Д. Кавелин и другие выразители *общечеловеческого интереса*. Никакой отдельно стоящей русской цивилизации, отдельно пребывающей русской культуры!!.. Здесь сошлись не только две истины, две доктрины, но и принципы жизни, законы и нормы суждений и практических требований; социально-психический уклад русского народа против социально-психического уклада романо-германских народов – *протест, сперва выразившийся в смутном, безотчетном отчуждении, а потом в полной сознательной критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли*. Одни звали Россию к возрождению, другие – к пробуждению!!.. От первых пошли *русские одиночки*, от вторых – *рус-*

*ская общественность.* Конфликт не разрешен... Спор этот не окончен...

Нам нынешним трудно понять людей первой половины XIX столетия, «потому что мы вырастаем совершенно иначе – катастрофически. Между нами нет ни одного, кто развивался бы последовательно: каждый из нас не вырастает естественно из культуры родительского дома, но совершает из нее головокружительный скачок, или движется многими такими скачками. Вступая в самостоятельную жизнь, мы обыкновенно уже ничего не имеем наследственного, мы все переменили в пути – навыки, вкусы, потребности, идеи; редкий из нас даже остается жить в том месте, где провел детство, и почти никто – в том общественном кругу, к которому принадлежали его родители. Это обновление достается нам не дешево; мы как растения, пересаженные – и может быть, даже не раз – на новую почву, даем и бледный цвет, и тощий плод, а сколько гибнет, растеряв в этих переменах и здоровье, и жизненную силу! Я не знаю, что лучше: эта ли беспочвенная гибкость, или тирания традиции. Во всяком случае, разница между нами и теми людьми очевидна; в биографии современного деятеля часто нечего сказать о его семье, биографию же славянофила необходимо начинать с характеристики дома, откуда он вышел»<sup>18</sup>. К такому выводу пришел

---

<sup>18</sup> Гершензон М. О. Избранное. Т. 3. Образы прошлого. Москва – Иерусалим: Университетская книга, 2000. С. 78–79.

историк русской литературы и общественной мысли XIX века Михаил Гершензон в 1910 году. Что же тогда говорить о нас, живущих в 2020-м??.. Однако попробовать стоит!!.. Воссоздавать разумом образы прошлого занятие прелюбопытное:

Есть игры, сопряженные с усилием,  
Но то усилие тешит; труд иной  
Хоть низок, но по цели благороден,  
И бедных дел итог порой богат.  
Так этот труд мне мог бы в тягость быть;  
Но госпожа, которой я служу,  
Все мертвое волшебюно оживляет  
И делает работу мне отрадной<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Уильям Шекспир. Буря. Акт III. Сцена 1. Перевод М. Гершензона.

# Глава I. Род. Родители. Родня

## 1

22 марта<sup>20</sup> 1806 года в Москве у Василия Ивановича Киреевского и Авдотьи Петровны Киреевской, урожденной Юшковой, появился на свет их первенец, нареченный Иваном. Двумя годами позже, 11 февраля 1808 года, близ города Белева в селе Долбине (*крутой берег реки Вырки при впадении в нее Чермошны и Вязовни*) Лихвинского уезда Калужской области родился их второй сын, получивший при крещении имя Петр.

С рождением у Василия Ивановича и Авдотьи Петровны сыновей, Ивана и Петра, получили продолжение славные дворянские фамилии Киреевских, Юшковых, Тыртовых, Буниных... В свое время Петр Васильевич Киреевский составит свое *родовое древо*: «1. Василий Семенович – белёвский дворянин, в начале XVII века за осадное сиденье получил бывшее поместье своё, село Долбино, в вотчину. Женат был на Арине Охотниковой. Пожертвовал коня в белёвский Преображенский монастырь, где и похоронен. 2. У него: а) Иван Васильевич брал город Вильну (1655 г.) и участвовал в Чи-

---

<sup>20</sup> Все даты приводятся по старому стилю.

гиринском походе, также и в действиях против Стеньки Разина. Женат был на Анне Васильевне Сомовой. Скончался монахом в Кирилло-Белозерском монастыре; б) Тимофей Васильевич брал с братом своим Вильну, участвовал в Чигиринском походе и против Стеньки Разина. Был убит под Алатырем. От Тимофея Васильевича происходит род Киреевских, ныне живущих в Малоархангельском уезде Орловской губернии. 3. У Ивана Васильевича: а) Иван Иванович – стольник при царях Алексее, Феодоре и пр. <...> При царе Петре *И. И. Киреевский должен был сбрить бороду*. Женат на Марье Дмитриевне Яблочковой; б) Дмитрий Иванович. 4. Василий Иванович: при осаде Дерпта ему разрубили голову и нанесли еще две раны. Полк, в котором он служил, был раскассирован и отослан в Рижский гарнизон. Он умер в 1736 г. Женат был сперва на Хрущовой, с 1711 г. на Дарье Яковлевне Ржевской, которая оставила по себе память умной женщины. Она дала прекрасное образование сыну и внуку своему. 5. Иван Васильевич: под Грос-Егерсдорфом ранен картечью. Он был первый дворянский предводитель Козельского уезда Калужской губернии. Женат был на Елизавете Афанасьевне Тыртовой, которая умерла в 1773 г., родив сына. 6. Василий Иванович (1773–1812). У него сестра Аграфена Ивановна (сумасшедшая, она пережила его). Женат на А. П. Юшковой»<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Том 4. Материалы к биографиям. Воспоминания и оценка личности и

Василий Иванович Киреевский в традиции своих предков поступил на военную службу, выбрав себе Острогожский легкоконный полк, но в 1795 году при императоре Павле, двадцати двух лет от роду, вышел в отставку в чине секунд-майора. Поселился в родовом Долбине – имении, насчитывающем до пятидесяти дворовых изб, и занялся его серьезным переустройством: выстроил «огромный, на высоком фундаменте дом, с мраморной внутренней облицовкой стен, со множеством надворных строений»<sup>22</sup>, окруженных великолепным парком.

Как Долбино было типичным поместьем начала XIX века, так и В. И. Киреевский был типичным представителем просвещенного дворянства, достойно воплощающего в себе черты своих древних родов и несущего на себе определенный налет оригинальности и причудливости. Лучшие представители екатерининского века были чем-то похожи «на суворовских солдат. Что-то в них свидетельствовало о силе неистасканной, неподавленной и самоуверенной. Была какая-то привычка к широким горизонтам мысли, редкая в людях времени позднейшего»<sup>23</sup>. Василий Иванович «сохранил до конца жизни деятельность, привычную военной службе, и даже некоторые мелочные привычки своей первой моло-

---

творчества / сост., прим. и коммент. А. Ф. Малышевский. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. С. 23–24.

<sup>22</sup> Там же. С. 7.

<sup>23</sup> Лясковский В. Алексей Степанович Хомяков. М., 1897. С. 7.

дости: так, например, он не хотел изменить прическе, давно вышедшей из моды, и носил пучок на затылке»<sup>24</sup>. Знал пять языков, любил естественные науки, имел у себя лабораторию, занимался медициною и довольно успешно лечил; пребывая на смертном одре, наставлял своего старшего сына в необходимости заниматься химией и называл ее «божественной наукой». Много читал, пробовал заниматься литературной деятельностью, переводил повести и романы. Был англоманом – любил не только английскую литературу, но и английскую свободу. Вместе с тем был очень набожен, ненавидел французских энциклопедистов. Ненависть к материализму была в нем столь существенна, что он начал скупать в Москве сочинения Вольтера и жечь их.

О новых веяниях среди русского дворянства, которым был подвержен В. И. Киреевский, был прекрасно осведомлен А. С. Пушкин. Достаточно обратиться к первому абзацу его повести «Барышня-крестьянка», чтобы воочию ощутить особый психологизм отношений усадебной жизни того времени: «В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле. Хозяйствен-

---

<sup>24</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Том 4. С. 7.

ные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сюртук из сукна домашней работы; сам записывал расход, и ничего не читал, кроме “Сенатских Ведомостей”. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе,

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и сме-

лым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: “Да-с! – говорил он с лукавой усмешкою, – у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты”. Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом»<sup>25</sup>.

Пристрастия В. И. Киреевского к химии и англоманство не поколебали в нем патриархального духа и не заставили с пренебрежением отвернуться от исконного народного быта. В Долбине в неизменности сохранялся помещичий быт старого времени, всегда отличавшийся близостью барской усадьбы и деревни, открытостью господской жизни для крестьян. Вот что свидетельствуют об этом семейные предания: «Шутов и шутих, дураков и дур, сказочников и сказочниц при молодом барине не было. Видно, они перевелись еще при старом, ибо Василий Иванович, из сожаления к ним и уважения к отцу, не прогнал бы их... Но между дворовыми

---

<sup>25</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. VI. Л.: Издательство «Наука», 1978. С. 99–100.

в Долбине оставались еще арапка и гуслист. Гуслист настраивал фортепьяны и игрывал по святочным вечерам, на которые в барскую залу собирались наряженные из дворовых (кто петухом простым или индейским, журавлем, медведем с поводырем балагурным, всадником на коне, бабой-ягой в ступе с пестом и помелом и пр.). Нарядиться журавлем было проще всего: выворачивался тулуп, в рукав продевалась длинная палка, к концу ее и рукава наворачивалась из платка голова и привязывалась другая палка, представлявшая клюв; наряженный надевал тулуп себе на голову и спину и ходил сторбившись, держа свою шею в руках, то поклевывая по полу, то поднимая ее вверх, треща по-журавлиному, с прибаутками. Являлись и в замысловатых иногда личинах. Однажды камердинер Киреевского явился Эзопом и рассказывал наизусть басни Хемницера со своими прибаутками. Другой комнатный предстал в облачении архиерея и, поставив перед собою аналой, начал говорить проповедь, с шутивным, хотя приличным тоном и содержанием, но Василий Иванович его остановил и удалил из залы...

Из 15 человек мужской комнатной прислуги 6 были грамотны и охотники до чтения; книг и времени было у них достаточно, слушателей много. Во время домовых богослужений, которые были очень часто (молебны, вечерни, всенощные, мефимоны<sup>26</sup> и службы Страстной недели), они заменя-

---

<sup>26</sup> Мефимоны, нифимоны, ефимоны, ифимоны – на обыденном языке этим названием обозначается великое повечерие, совершаемое на первой неделе Вели-

ли дьячков, читали и пели стройно старым напевом: нового Василий Иванович у себя не терпел, ни даже в церкви. В летнее время двор барский оглашался хорowymi песнями, под которые многочисленная дворня девок, сенных девушек, кружевниц и швей водили хороводы и разные игры: в коршуны, в горелки, “заплетися, плетень, заплетися, ты завейся, труба золотая” или “а мы просо сеяли”, “я иду во Китай-город гуляти, привезу ли молодой жене покупку” и др.; а нянюшки, мамушки, сидя на крыльце, любовались и внушали чинность и приличие. В известные праздники все бабы и дворовые собирались на игрища то на лугу, то в роще крестить кукушек, завивать венки, пускать их на воду и пр. Вообще народу жилось весело, телесных наказаний никаких не было – ни батогов, ни розог. Главные наказания в Долбине были земные поклоны перед образом до 40 и более, смотря по вине, да стул (дубовая колода, к которой приковывали виновного цепью за руку). Крестьяне были достаточны, многие зажиточны. Доказательством тому служит следующее обстоятельство. Продавалась деревня Ретюнь, смежная с Долбином. Выборные из Ретюни пришли к Василию Ивановичу: “Батюшка, купи нас, хотим быть твоими, а не иных чьих каких”. “Братцы, – сказал им Киреевский, – увеличивать свои поместья я не желаю, а сделать это в удовольствие вам не могу: у меня нет столько наличных денег”. Через несколько дней ретюньские выборные пришли опять: “Добрый барин,

возьми нас в свои, а денег у тебя не достаёт – мы внесем тебе своих. Хотим быть твоими”. Василий Иванович купил Ретюнь. По вводе во владение крестьяне пригласили его к себе с молодой барынею и сделали великолепное угощение, на котором было даже мороженое. Повар с посудой был нанят поблизости из г. Белёва. Вожаком крестьян был крестьянин Дрыкин, который торговал пенькой...

Церковь села Долбина, при которой было два священника, славилась чудотворною иконою Успения Божьей Матери. К Успеньеву дню стекалось множество народу из окрестных сел и городов, и при церкви собиралась ярмарка, богатая для деревни. Купцы раскидывали множество палаток с красным и всяким товаром, длинные, густые ряды с фруктами и ягодами, не были забыты и горячие оладьи и сбитень. Но водочной продажи Василий Иванович не допускал у себя. Даже на этот ярмарочный день откупщик не мог сладить с ним и отстоять свое право по цареву кабаку. Никакая полиция не присутствовала, но все шло порядком и благополучно. Накануне праздника смоляные бочки горели по дороге, шедшей к Долбину, и освещали путь, а в самый день Успения длинные, широкие, высокие, тенистые аллеи при церкви были освещены площадками, фонариками, и в конце этого сада сжигались потешные огни, солнца, колеса, фонтаны, жаворонки, ракеты поодиночке и снопами, наконец, бурак. Все это приготавливал и всем распоряжался Зюсьбир (немец из Любека, управлявший сахарным заводом Киреевского). Несмотря на

все эти великолепия, постромки у карет, вожжи у кучера и поводья у форейтора были веревочные»<sup>27</sup>.

Портрет В. И. Киреевского дополняет еще один характерный факт его биографии: как-то заехал в Долбино губернатор Яковлев. С ним была не только многочисленная свита, но и известная всей губернии возлюбленная. Карета с несколькими бричками подкатили прямо к крыльцу барского дома. Василий Иванович не впустил «красавицу» в свой дом, не дав ей, как шутили тогда, «ни оправиться, ни поправиться», и губернатор, заминая возникшую неловкость, грозящую перейти в скандал и ненужные толки по всей округе, вынужден был уехать дальше искать ночлег.

Одно время В. И. Киреевский был в своем уезде судьей по выборам. Два раза в неделю он ездил по делам службы в Лихвин в кибитке, неизменно завертываясь в свой красный плащ, который по его цвету считал предохранительным от озноба и простуды. Одни подчиненные в суде его боялись, другие уважали за твердость воли и непреклонность убеждений, справедливость и строгость в суждениях и действиях, но большинство считали чудачком и за глаза посмеивались над его главным тезисом: «Нерадение в должности – вина перед Богом».

В Василии Ивановиче Киреевском было действительно много странного. При его военной выправке в глаза броса-

---

<sup>27</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 19–22.

лась чрезвычайная неряшливость. Он любил читать и читал очень много, затворившись в своей комнате, лежа на полу. Не позволял убирать в своем кабинете, подметать и стирать пыль. Во время запойного чтения на полу собиралось огромное количество грязной посуды. Гости, приезжавшие в Долбино, в один голос говорили, что единственный чистый предмет в доме – это хозяйка. В обыденных житейских обстоятельствах Василий Иванович был наивен как ребенок. Так, живя в Москве с молодой женой еще до ее первых родов, он уезжал с утра из дома, не оставив ей денег на расходы, и она не знала, как накормить свою многочисленную дворню, а он, засидевшись в какой-нибудь книжной лавке, возвращался поздно, с кучей книг, а иногда со множеством разбитого фарфора, до которого был большой охотник.

О характере В. И. Киреевского свидетельствуют и две трогательные заметки, оставленные им в своем дневнике. Он упрекает себя в несправедливости – раз по отношению к дворовому, которого разбранил, другой раз – к крестьянину, которому запретил ехать лугом. Сохранилось и его черновое прошение на имя государя, в котором Василий Иванович предлагал способы борьбы с повальными болезнями. Было ли оно отправлено на высочайшее имя или осталось в качестве наброска? Документального подтверждения у нас нет. Но то, что мы имеем дело с высоконравственным человеком, человеком долга и гражданской ответственности – это бесспорно. Последнее особо проявилось во время наше-

ствия Наполеона.

В 1807 году В. И. Киреевский вступил в ополчение и поставил от себя двадцать ратников. «Дело было зимой, и каждое утро ратники являлись, вооруженные пиками, в большую залу долбинского дома и маршировали по команде барина. “Чур, не робеть, ребята, когда дойдет до дела, – говорил он им, – смело идти за мной, хотя б в огонь вас повел! А меня убьют, другой командир будет; точно так же и его слушаться”. “Нет, барин, – отвечал ему раз какой-то невзрачный мужичок, – где твоя голова ляжет, там и мы головушки положим”. Этот ответ полюбился Василию Ивановичу, который приказал дать мужичку четверть ржи. По весне все ратники Калужской губернии должны были съезжаться в Мосальск. К назначенному времени поднялся и Василий Иванович со своими молодцами. Перед отъездом он приказал отпереть кладовую, где покоились под крепкими замками дедовские мундиры и наряды – с золотым шитьем, работы бабушек. Там же хранились чепрак и седло, низанные бирюзой и жемчугом. Эту богатую сбрую надели на боевую лошадь Киреевского. Когда все сборы были окончены, он сел в экипаж с женой, которая хотела проводить его до Мосальска, за ним вели его лошадь и шли ратники. Но вскоре караван возвратился домой: в Мосальске было получено известие о заключении Тильзитского мира»<sup>28</sup>.

События Отечественной войны 1812 года развернулись

---

<sup>28</sup> Там же. С. 8.

в непосредственной близости от долбинского поместья. Известие о вторжении Наполеона в пределы государства Российского «разбудило всех от сладкой полудремоты, неведение о дальнейших судьбах России сделалось настоящей пыткой... Но как быть, однако? Каждый прислушивался жадно к толкам, ходившим в народе, а доверяться им не смел. Известно было лишь то, что после смоленского дела Наполеон идет по московской дороге, но думает ли он о занятии столицы или повернет на юг? Последнее предположение казалось вероподобным, и калужане сильно встревожились»<sup>29</sup>. В. И. Киреевский переговорил со своими незамужними свояченицами, Анной и Екатериной, жившими в нескольких верстах от него, в своем имении Мишенском Белёвского уезда Тульской губернии, и было принято следующее решение: для безопасности следует уезжать. Однако как быть с родной теткой сестер Юшковых, Екатериной Афанасьевной Протасовой, поселившейся в орловском имении Муратово? Оставить ее одну с двумя молоденькими дочерьми, Александрой и Марьей, в такое опасное время было невозможно. Киреевские должны были поехать к Е. А. Протасовой, а Анна и Екатерина Юшковы – в Москву к другой своей тетке, Авдотье Афанасьевне Алымовой, для прояснения обстановки. «Время было дорого: уже наступила вторая половина августа. Живо закипели приготовления к отъезду, и оба семей-

---

<sup>29</sup> Там же. С. 9.

ства пустились с Богом, по разным дорогам»<sup>30</sup>.

Добравшись до Москвы, А. П. Юшкова и Е. П. Юшкова остановились на Девичьем поле, к безграничной радости А. А. Алымовой. «Тут они узнали, что лишь немногие оставили Москву, но большинство жителей не верят в возможность занятия столицы неприятелем, тем более что генерал-губернатор ручается за ее безопасность. Однако умы волновались, каждый день приносил новые беспокойства, на улицах и площадях останавливали друг друга и спрашивали, какие известия. Вдруг разнесся слух, что партия французских пленнх под русским конвоем остановилась на Поклонной горе. Все московское общество собралось их посмотреть. Улицы города превратились в место гулянья, цуги катились одни за другими, в открытых колясках сидели разряженные дамы»<sup>31</sup>. Пленные французы «собрались толпой около костра, разложенного в поле: мундиры их были в лохмотьях, из дырявых сапог торчала солома... Приезжие предлагали им свое сильное пособие, и они принимали деньги, приговаривая, каждый раз без малейшего смущения и с чувством достоинства: “Merci, madame”, или “monsieur”»<sup>32</sup>.

Однако Москва постепенно пустела. «Народ поглядывал с недоброжелательством на экипажи, теснившиеся у застав, и роптал против дворян, которые покидали столицу на пору-

---

<sup>30</sup> Там же. С. 9–10.

<sup>31</sup> Там же. С. 10.

<sup>32</sup> Там же.

гание нехристей»<sup>33</sup>. 26 августа со стороны Бородино до столицы стал доноситься гул пушечных выстрелов, приводя в ужас ее жителей. На другой день разнеслась весть о Бородинском сражении.

Один из родственников Юшковых, Охотников, пригласил Анну, Екатерину и старуху Алымову в свое рязанское имение, куда собирался сам с престарелой матерью и двумя сестрами. «Но отъезжающих тревожила новая забота: неудовольствие народа постоянно усиливалось, так что мужчины, покидавшие Москву, подвергались неприятностям и даже опасности. Что если Охотников будет задержан? Тогда придется шести женщинам и ребенку... совершить одним далекое и небезопасное путешествие. Оставалось единственное средство к устранению беды: уговорили Охотникова надеть женское платье.

За ночь все было уложено, и 28-го августа поутру путешественники уселись в два экипажа и выехали благополучно за заставу, благодаря шляпке с лентами и шали, которою Охотников прикрывал гладко выбритый подбородок. Но дальше они встретили толпу ратников, которые остановили их вопросом: “Куда едете?” “К себе в имение”, – отвечала Анна Петровна Юшкова. “Так уж, видно, все Москву покидают, – заговорили в толпе. – Видно, не жаль выдать ее врагу на разграбление!..” “Добрые люди, – возразила Анна Петровна, – ведь вы видите, мы женщины да ребенок с нами; мы помо-

---

<sup>33</sup> Там же.

щи никакой принести не можем”. “Да вас-то мы не держим, а этих нам оставьте”. Они указывали на кучеров и лакеев. “Как же нам кучера отдать? Кто ж на козлы сядет?” “А нам что за дело? Хоть сама полезай! Мы этих молодцов не отпустим”, – и все обступили коляску. “Пошёл!” – крикнула Анна Петровна. Кучер ударил по лошадям, добрая четверня двинулась, толпа расступилась, и экипажи покатались по мостовой»<sup>34</sup>.

Путешествие прошло без особых приключений, и вскоре сестры Юшковы, А. А. Алымова и семейство Охотниковых достигли желаемых предместий Рязани.

Екатерина же Афанасьевна Протасова наотрез отказалась покинуть Муратово. Более того, она уговорила Киреевских остаться в ее соседстве, во всем полагаясь на милость Господа. Василий Иванович Киреевский так и поступил, перевезя семью в свою орловскую вотчину – Киреевскую Слободку. Там, в достаточно скромной усадьбе, он поселился не только сам, но и устроил приют для семейств, спасавшихся от французов из Минска, Смоленска, Вязьмы и Дорогобужа. В самом же Орле Киреевский по собственному почину принял в свое заведование городской госпиталь, куда во множестве свозили раненых солдат, как русской, так и французской армии. В госпитале царили вопиющие неурядицы и злоупотребления. «Страдавшие заразительными болезнями не были отделены от прочих больных; раненые, которых привозили из нашей

---

<sup>34</sup> Там же. С. 11.

армии, лежали вповалку на полусгнившей соломе; одна палата казалась грязней другой; воздух был везде заражен»<sup>35</sup>. Не щадя сил и денег, всех подчиняя своей твердой воле, В. И. Киреевский улучшил содержание раненых, увеличил число кроватей, сам руководил лечением. На его попечении оказалось около девяноста русских и французских солдат. Дни и ночи Василий Иванович проводил в заботах о телесном и душевном здоровье своих подопечных. Все его знания в области естественных наук и медицины использовались для врачевания ран и недугов. «Он знал толк в медицине: мало того, что все предписанья медиков проходили через его контроль, он прописывал сам лекарства. Каждое утро его встречали в больнице как начальника и ожидали его приказаний. Раз аптекарь отпустил ревеню больному, которому следовало принять другое; Киреевский вышел из себя, потребовал виновного и приказал ему выпить большую склянку ревеню. Проглотивши половину, аптекарь просил помилованья, но Василий Иванович был неумолим»<sup>36</sup>. Но, как часто бывает, заботы о чужих болезнях не спасают от собственных. В конце октября В. И. Киреевский вернулся домой в сильном лихорадочном состоянии: медики объявили, что он заразился больничным тифом. Возможности его спасти не оказалось. 1 ноября 1812 года – в день Косьмы и Дамиана Ассийских – Василий Иванович Киреевский умер. Он был похоронен в

---

<sup>35</sup> Там же. С. 13.

<sup>36</sup> Там же.

Успенской церкви села Долбина.

Авдотья Петровна Юшкова – мать Ивана и Петра Киреевских – увидела свет 11 января 1789 года в родовом имении Петрищеве Белёвского уезда Тульской губернии. Ее отец Петр Николаевич Юшков занимал в царствование Екатерины II видное место в тульской губернской администрации и принадлежал к известной дворянской фамилии. Ее дядя, тайный советник Иван Иванович Юшков, служил московским гражданским губернатором во время эпидемии чумы 1771 года и был женат на Анастасии Петровне Головниной.

Мать Авдотьи Петровны, Варвара Афанасьевна, была дочерью богатого русского барина Афанасия Ивановича Бунина и Марьи Григорьевны Буниной, урожденной Безобразовой. Вся их жизнь проходила в благоустроенном поместье, в селе Мишенском, которое «благодаря живописным окрестностям... и близости к городу, владелец избрал постоянным местопребыванием для своего семейства и, по тогдашним обычаям, обустроил и украсил... роскошно. Огромный дом с флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садами, парком и садом придавал особенную прелесть этой усадьбе, а обстановка – дубовая роща, ручеек в долине, виды на отдаленные пышные луга и нивы, на близкое село с церковью – настраивала чувства обывателей к мирному наслаждению красотой природы. Растительность в этой стороне от-

личалась чем-то могучим, сочным, свежим, чего недостает южным черноземным полосам России. Весна, разрешающая природу от суровой зимы, радуется сердце человека. Нивы, славящиеся своими очень богатыми урожаями хлебов и плодов, приносят такие удовольствия, которые не могут быть испытываемы в более северном климате»<sup>37</sup>.

Там небеса и воды ясны!  
Там песни птичек сладкогласны!  
О родина! все дни твои прекрасны!  
Где б ни был я, но все с тобой  
Душой.

Ты помнишь ли, как под горою,  
Осеребряемый росой,  
Белелся луч вечернею порою  
И тишина слетала в лес  
С небес?

Ты помнишь ли наш пруд спокойный,  
И тень от ив в час полдня знойный,  
И над водой от стада гул нестройный,  
И в лоне вод, как сквозь стекло,  
Село?

Там на заре пичужка пела;

---

<sup>37</sup> Зедлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского по неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.

Даль озарялась и светлела;  
Туда душа моя летела:  
Казалось сердцу и очам —  
Все там!..<sup>38</sup>

А. И. Бунин, по отзывам современников, был человеком привлекательным и деятельным, а его жена, Марья Григорьевна, «соединяла с редкой добротой души и кротостью необыкновенный ум, и была притом женщина значительной для своего времени образованности и читала все, что печаталось тогда на русском языке, но никакого другого языка не знала»<sup>39</sup>.

У Буниных было четыре дочери: Авдотья, Наталья, Варвара, Екатерина и сын Иван, умерший в 1781 году, будучи студентом Лейпцигского университета. Две старшие дочери вышли замуж: Авдотья Афанасьевна за Дмитрия Ивановича Алымова, с которым уехала в Кяхту, взяв с собою младшую сестру Екатерину, а Наталья Афанасьевна – за Николая Ивановича Вельяминова. Таким образом, к началу 80-х годов XVIII века в усадьбе Буниных оставались только Афанасий Иванович с женою и средняя их дочь Варвара, впоследствии мать Авдотьи Петровны Юшковой.

Незадолго до этого в Мишенском разыгрались события, осложнившие семейную идиллию, но сыгравшие огромную

---

<sup>38</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. М.: Издание Товарищества И. Д. Сытина, 1902.

<sup>39</sup> Там же. С. VII.

роль в истории русской литературы и оказавшие непосредственное влияние на жизнь Авдотьи Петровны и ее сыновей, Ивана и Петра. В воспоминаниях запечатлелось следующее: «Еще в начале 70-х годов, когда один из крестьян села Мишенского отправлялся маркитантом в русско-турецкий поход, Афанасий Иванович шутя сказал ему: “Привези мне, братец, хорошенькую турчанку; видишь, жена моя совсем состарилась!” Крестьянин буквально исполнил желание барина, сказанное им в шутку, и вернулся в Мишенское с двумя турчанками, взятыми в плен под Бендерами: одна из них, Фатима, была ребенком 11 лет и вскоре умерла; другая, Сальма, была 16-летней вдовой: муж ее был убит во время штурма Бендер. Сальма понравилась Марье Григорьевне своею кротостью, ловкостью и привлекательной наружностью и была взята в господский дом нянчить тогда еще маленьких Варвару и Екатерину, а вскоре затем, выучившись русскому языку и русской грамоте, заняла место домоправительницы и стала заведовать домашним хозяйством Буниных, поселившись в одном из боковых строений усадьбы. В это время она была окрещена и при крещении названа Елизаветой Дементьевной. Афанасий Иванович увлекся красивой и кроткой молодой турчанкой и переехал из господского дома во флигель, где жила Елизавета Дементьевна. Эта связь очень тяготила Марью Григорьевну; она запретила дочерям ходить к Елизавете Дементьевне, а ей самой являться в господский дом, а когда замужние дочери уехали, жизнь Марьи

Григорьевны в опустелом большом доме стала еще грустнее.

Так, может быть, тянулось бы очень долго, если бы у Сальмы, после трех дочерей, вскоре умерших, не родился, наконец, 29 января 1783 года сын. С этих пор в семье Буниных вновь наступило согласие при следующих обстоятельствах.

В крестные отцы мальчику Бунин пригласил Андрея Григорьевича Жуковского, бедного дворянина, проживавшего в их доме, общего друга всех членов семьи, и просил его усыновить ребенка, а сам на время уехал из Мишенского.

Андрей Григорьевич попросил у Марьи Григорьевны позволить ее дочери, Варваре Афанасьевне, быть крестной матерью новорожденного. Она согласилась, и крещение мальчика состоялось в большом господском доме в ее присутствии. По воспоминаниям о собственном сыне, Марья Григорьевна с растроганным сердцем приняла живое участие в священном обряде и в самом младенце. Мальчик был назван Василием и получил отчество и фамилию от усыновившего его Андрея Григорьевича Жуковского. С этих пор в семье водворился мир, Афанасий Иванович переселился в большой дом, Елизавета Дементьевна глубоко привязалась к Марье Григорьевне. Ребенок же стал предметом самых нежных забот всего семейства»<sup>40</sup>. Это стало особенно важно после 1785 года, когда из Мишенского в Тулу после замужества уехала последняя дочь Буниных – Варвара Афанасьевна. Правда, одиночество Афанасия Ивановича и Марьи Гри-

---

<sup>40</sup> Там же. С. VII–VIII.

горьевны длилось недолго. На воспитание к дедушке и бабушке первоначально была направлена дочь Варвары Афанасьевны и Петра Николаевича Юшковых Анна, родившаяся слабым и хилым ребенком. После смерти родами Натальи Афанасьевны Вельяминовой Бунины забрала к себе еще трех своих внучек. В мае 1797 года умирает от чахотки В. А. Юшкова, и в Мишенском оказываются все ее дочери: Анна, Марья, Авдотья, Екатерина. К родственникам жены переселился также овдовевший П. Н. Юшков.

В скором времени в доме Буниных-Юшковых сложился особый детско-юношеский круг, доходивший в отдельные периоды до 17 и более человек: Василий Жуковский и выросшая с ним Анна Юшкова, ее три родные сестры и три двоюродные, «одна родственница Бунина, одна бедная дворянка – Сергеева, еще три девочки, и три взрослые девицы лет по 17, и один мальчик, сын доктора Риккера»<sup>41</sup>.

Для маленького Жуковского, находящегося в обстановке особой женской нежности, Афанасий Иванович, пытаясь проявить некоторую строгость, пригласил из Москвы учителя-немца Якима Ивановича. Бывший портной в качестве мер воздействия к избалованному и изнеженному мальчику стал применять розги и горох. Все попытки высечь ребенка или поставить его голыми коленями на горох сопровождались такими воплями, что Марья Григорьевна не выдержала, и в самое непродолжительное время учителя пришлось

---

<sup>41</sup> Там же. С. X.

отправить назад. Не случайно свое детство В. А. Жуковский вспоминал, как дни беспечного счастья и свободного, искреннего развития своих наклонностей, отмечая, что «беззаботное спокойствие... баловало его с колыбели»<sup>42</sup>. Большую часть времени, до 10-летнего возраста, ребенок проводил среди поэтической деревенской природы, в обществе бесконечно любящих его взрослых и сверстниц, над которыми он мудрил, как хотел: девочки ему вполне повиновались. Свободно отдаваясь своему воображению, он строил их в ряды, представлял себя полководцем, заставлял их брать укрепления, сажал под арест между креслами, даже наказывал линейкой. Целые дни бегал он со своими подругами в тенистом парке, в саду, на полном приволье.

И все же воспитанием детей в семье Буниных-Юшковых занимались с особой тщательностью. Немецкий язык и литература изучались со специально приглашенными учителями. Французский язык и аристократические манеры усваивались от гувернанток и гувернеров, эмигрировавших из Франции в период революции, в частности от *madame Dorer*. Занятия по русскому языку проводил заведующий тульским народным училищем Феофилакт Гаврилович Покровский – чрезвычайно образованный для своего времени человек. В «Политическом журнале» регулярно печатались его статьи о Белёвском уезде. По предложению министерства народного

---

<sup>42</sup> Там же. С. IX.

просвещения его сочинение «Философ горы Алаунской»<sup>43</sup> было напечатано, как тогда говорилось, «на казенный кошт» и, за вычетом издержек, отдано в его пользу.

Просвещение и добродетель! Таковы были для Феофилакты Гавриловича важнейшие предметы и цель истинного воспитания. Идеалом же его была невинная сельская жизнь. Лучшее для себя похвалою он считал, если его называли филантропом. В наказе Екатерины II Покровский особенно ценил слова относительно того, что лучше простить десять виновных, чем наказать одного неповинного. М. М. Херасков хвалил его мысли и чувства. Заветною мечтой Ф. Г. Покровского было улучшение правосудия в России. Не случайно он встретил вступление на престол императора Александра I торжественным пророчеством: «Что он (Александр I) победит их (свои народы) любовью, кротостью и милосердием. Весы правосудия не будут наклоняться по пристрастиям»<sup>44</sup>.

Ф. Г. Покровский был очень уважаем и у Буниных, и у Юшковых – ездил давать уроки детям в Мишенское, обучал молодежь в доме Юшковых в Туле, принимал большое участие в литературных вечерах Варвары Афанасьевны, на которые съезжалось избранное общество и где исполнялись музыкальные новинки при непосредственном участии радушной, образованной и талантливой хозяйки. Пелись сентиментальные романсы Нелединского, декламиро-

---

<sup>43</sup> Алаунские горы – Валдайская возвышенность.

<sup>44</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. IX.

вались только что вышедшие стихи Дмитриева, читались последние произведения Карамзина. 12-летний Жуковский выступил с постановкой своей трагедии «Камилл, или Освобождение Рима»: выбрал для себя роль героя пьесы, нарядил всех учениц домашнего пансиона, от 17-летнего возраста до трехлетней Екатерины Юшковой, в одежды римских консулов и сенаторов.

Еще при жизни Афанасия Ивановича Бунина (он скончался в 1791 году) был установлен особый порядок жизни: поздней осенью семья приезжала в Тулу, а ранней весной возвращалась в Мишенское. Зимы частенько Бунины проводили в Москве. В одну из таких зим Марья Григорьевна Бунина приняла решение выдать шестнадцатилетнюю внучку Авдотью Петровну, оставшуюся после смерти в 1803 году отца Петра Николаевича Юшкова полной сиротой, замуж за по сватавшегося к ней Василия Ивановича Киреевского. Жених был вдвое старше своей невесты, однако 16 января 1805 года свадьба состоялась.

В. И. Киреевский страстно любил свою жену и с усердием продолжил ее образование. Вместе они стали читать серьезные, в особенности исторические, книги, сформировавшие в Авдотье Петровне правдивость в суждениях, тонкость в восприятии, терпимость ко всякого рода взглядам.

После смерти мужа, Василия Ивановича Киреевского, двадцатитрехлетняя вдова была в отчаянии и с тремя детьми, Иваном, Петром и Марьей, родившейся 8 августа 1811 года, переехала на жительство к своей тетке Екатерине Афанасьевне Протасовой в Муратово. Е. А. Протасова и две ее дочери: Александра Андреевна, крестница В. А. Жуковского, вошедшая в русскую литературу в образе Светланы из его одноименной баллады, и Марья Андреевна, к которой поэт пронес нежную и глубокую любовь через всю свою жизнь, – встретили осиротевшее семейство с радостью. Свои услуги предложил племяннице и Жуковский. К этому времени Василий Андреевич окончил Благородный пансион Московского университета, куда его направили по решению домашнего совета, послужил по светской линии – в Московской конторе соляных дел – и по военной – в ополчении.

Пребывание В. А. Жуковского в Благородном пансионе занимает время от января 1797 до 1801 года. В важнейший для юноши период он находился под покровительством близкой Буниным семьи Тургеневых; глава этой семьи, Иван Петрович, был директором Московского университета. Здесь сложились и проявились первые литературные стремления Жуковского, здесь завязались и те дружеские отношения, которые остались не только неразрывными и са-

мыми лучшими в его жизни, но и определившими его последующее общественное положение. Впоследствии все это в полной мере скажется на детях А. П. Киреевской, в воспитании и образовании которых, социальном обустройстве, творческой и личной судьбе без Василия Андреевича не обошлось. Жизни самой Авдотьи Петровны и ее старших сыновей, Ивана и Петра, навечно связаны с именем выдающегося русского поэта. И не только по родству. Здесь имело место нечто большее... высшее... душевное... духовное...

Год учреждения благородного пансиона при Московском университете определяется по-разному: то относится к 1776 году, то к 1779. Сначала воспитанники пансиона посещали Дворянскую гимназию, располагавшуюся непосредственно в стенах Московского университета. Затем, когда число их разрослось, пансион был переведен в 1790 году на Тверскую улицу, в дом межевой канцелярии, пожалованной университету императором. В 1791 году инспектором пансиона был назначен его преподаватель естественной истории Прокопович-Антонский, и уже при нем и по его предложению пансион был преобразован в самостоятельное учебное заведение с новой программой, имевшей целью подготовить молодых людей к военной и гражданской службе. Антон Антонович Прокопович-Антонский был убежден, что «ум молодых людей преимущественно должно обогащать теми знаниями, кои больше имеют отношения к будущему их состоянию»<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Там же. С. XII.

Чертою времени были литературные и нравственные стремления воспитанников Благородного пансиона, поддерживаемые и в университетской среде. Не случайно в день годовщины Московского университета, в Татьянин день, 12 января 1801 года, бывшими студентами университета при активном участии воспитанников Благородного пансиона было основано «Дружеское литературное общество», имевшее целью литературное творчество и нравственное совершенствование. Здесь сошлись Жуковский и братья Тургеневы, Александр и Андрей, А. Ф. Мерзляков, будущий профессор Московского университета, граф Д. Н. Блудов и С. С. Уваров, будущий министр народного просвещения (оба не учились в Благородном пансионе, но получили солидное домашнее классическое образование). Позднее к Литературному обществу примкнул князь П. А. Вяземский.

Из Благородного пансиона В. А. Жуковский вышел первым учеником, награжденным всеми отличиями, но с довольно критическим отношением к своей образованности, о чем свидетельствуют записи в личном дневнике и письма: «Я не испорчен, но я нимало не образован» (Дневник за 1805 год)<sup>46</sup>; «Что мешало хорошо воспользоваться пансионом?» (Дневник за 1806 год)<sup>47</sup>, «Я совершенный невежда в истории... мне нужна будет какая-нибудь *краткая*, но хотя

---

<sup>46</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. С. 120.

<sup>47</sup> Там же. С. 133.

несколько сносная *русская историйка*... Ах, брат, сколько погубило времени!» (Письмо А. И. Тургеневу 7 ноября 1810 года)<sup>48</sup>; «Я, к несчастью, не ученый; посреди просвещенной Европы такой недостаток живо чувствителен» (Письмо П. И. Полетике 1821 года)<sup>49</sup>. 7 ноября 1816 года Василий Андреевич пишет из Дерпта Авдотье Петровне: «Для мужчины, в нынешний век, в котором от других отставать не должно, в этих науках (истории, географии, натуральной истории) нужно знание *фундаментальное* – я сам вам в этом пример! Мне часто приходится плохо от недостатка в этом фундаментальном знании! И я бы не желал, чтобы с детьми вашими было то же, что со мною», – и настоятельно советует подготовить ее сыновей, Ивана и Петра, не в Благородном пансионе Московского университета, а именно в университете (воспитанники, окончившие курс Благородного пансиона, теряли право поступать в сам университет), выражая уверенность, что «университет, не повредя бы их нравственности, приготовил бы их для деятельной жизни»<sup>50</sup>.

По окончании Благородного пансиона, по настоянию родных, восемнадцатилетний Жуковский поступил на службу в Московскую контору соляных дел, которую оставил менее чем через год. На известие о решении Василия Андреевича выйти в отставку ему ответила в письме Марья Григорьевна

---

<sup>48</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 440–442.

<sup>49</sup> Там же. С. XIII.

<sup>50</sup> Там же.

Бунина: «Я матушке твоей письмо не дала. Она очень грустить будет, а лучше сам приедешь, так и она спокойна будет, а твое письмо ты писал в горячке самой, то мог бы ее убить. Словом, тебе скажу, что всякая служба требует терпения, а ты его не имеешь. Теперь осталось тебе ехать ко мне и ранжировать свои дела с господами книжниками. Мадам едет наша в Москву, вот и лошади готовы. Если мало, то найми еще и приезжай. Посоветуйся со своими там милостивцами, как они тебе скажут. Я писала к Авдотье Афанасьевне<sup>51</sup>, чтобы тебя оставить, и паспорт дали порядочный, а то мне очень больно: у меня никто не знает про это, только Петр Николаевич<sup>52</sup> да Аня<sup>53</sup>. Ну, ранжируйся сам хорошенько. Прости, приезжай»<sup>54</sup>.

В Мишенском Жуковский снова погружается в обстановку любви и заботы. Он берется за перевод элегии Томаса Грея «Сельское кладбище» (*Elegy in a country churchyard*) и готовый текст направляет Н. М. Карамзину в «Вестник Европы». Вся молодая компания, населявшая дом Буниных, с тревогой ожидала, как отнесется знаменитый писатель к произведению их молодого кумира. К общему семейному торжеству, Карамзин не только напечатал перевод, но и снабдил его своим одобрительным замечанием.

---

<sup>51</sup> Авдотья Афанасьевна Алымова.

<sup>52</sup> Петр Николаевич Юшков.

<sup>53</sup> Анна Петровна Юшкова.

<sup>54</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. XVIII.

И все же ни добросердечность родственников, ни сельская идиллия не могли сломить в Василии Андреевиче тревожного чувства «священной меланхолии» и метущегося сознания, связанных с неопределенностью его положения. В сентябре 1805 года Жуковский обращается к А. И. Тургеневу: «Благодарю тебя, мой любезный Александр, за твое письмо. Оно меня тронуло до слез; нет ничего приятнее мысли: есть добрый, прекрасный человек, для которого я очень много значу и который будет моим помощником во всем добром, во всем прекрасном, и который удержит меня, если буду следовать какому-нибудь заблуждению, или ободрит, если что-нибудь приведет меня в уныние. Вот вещи, которые мне всего нужнее и которых, по несчастью, не имею. Иногда чувствую в себе какую-то необыкновенную живость, которая делает для меня свет прекрасным, и я воображаю вдали какую-то счастливую участь, которой ожидание волнует мою кровь. Иногда все это исчезает; те же самые чувства, которые меня радовали, приводят меня в уныние, самое тягостное, своею вялостью. Но теперь эти минуты вообще реже, гораздо реже. Мой ум получил какую-то особую твердость; по крайней мере, во многие минуты был очень ясен и деятелен. Тем тяжелее минуты бездействия. Хотел бы пробыть в одинаковом живом положении, и огорчаешься вдвое, когда оно прекращается. Вот для чего желал бы иметь вас, братцы, с собою. Как прекрасно быть хорошим человеком в глазах друзей! Это я теперь очень чувствую. Напротив, в глазах тех

людей, которые нас не понимают или имеют совсем другой образ чувств и мыслей, делаешься мертвым, сомневаешься в самом себе, теряешь свою свободу чувствовать и мыслить, теряешь самое желание быть деятельным, теряешь надежду – верную, единственную причину всякой деятельности. Вот для чего восхищаюсь необыкновенно вояжем: деятельность, свобода, разнообразие предметов, и друзья – свидетели моих чувств, и мои наставники, мои помощники. Какая прекрасная перспектива. Я буду очень несчастлив, если этот план не исполнится. *L'âme est un feu, qui s'éteint, s'il ne s'augmente*<sup>55</sup>, сказал Вольтер. Моя душа не имела еще пищи, не пробуждалась, это верно; воспитание или, лучше сказать, все то, что было со мною со времени моего младенчества (потому что я не имел воспитания), вместо того, чтобы образовать ее и усилить, только что ее усыпило; я был один совершенно, то есть в кругу множества людей, которых имел с собою, был некоторым образом отделен от всех. Одним словом, прекрасно бы было всем нам жить вместе, – я называю жить, не *дышать*, не *спать* и *есть*, но *действовать* и наслаждаться своею деятельностью; следовательно, эта деятельность должна вести к чему-нибудь высокому, иначе можно ли будет ею наслаждаться? Но я буду отвечать на твое письмо; отвечая, много скажу о самом себе, о моей цели и о том, что мы можем и должны сделать друг для друга...

Во-первых, я не думаю и не думал, чтобы мы холодели

---

<sup>55</sup> Душа есть пламя, которое гаснет, если не усиливается (*фр.*).

друг к другу. Этого нет; а я сказал тебе, в прошедшем моем письме, что мы вообще не были так тесно связаны, как бы мне этого хотелось. Это правда; может быть, этому причиною обстоятельства, которые нас так надолго разлучили; а разлука, согласишься сам, не усиливает дружбы, когда она не иное что, как простая связь, основанная на привычке быть вместе, сделанная обстоятельствами, приятная, но не такая необходимая, без которой бы нельзя было обойтись, которая бы составляла важную часть жизни (я разумею моральную жизнь). Такой связи между нами не было, согласишься сам, даже и теперь нет, но будет, должна быть, в этом я уверен: надо только увериться, что мы не просто друзья, не такие, которым только приятно встречаться, быть вместе, но такие, которым нужно быть друзьями, на которых дружба имеет то же влияние, которое должна иметь религия на всякую благородную душу, то есть самое благодетельное, святое, оживляющее, ободрительное. Нельзя сказать одним словом, мне тебе, тебе мне: я твой друг; мы должны вместе трудиться, действовать, чтобы после сделаться достойными дружбы и, следовательно, быть друзьями. Дружба есть добродетель, есть все, только не в одном человеке, а в двух (много в трех или четырех, но чем больше, тем лучше). Если скажут обо мне: он истинный друг, тогда скажут другими словами – он добродетельный, благородный человек, оживленный *одним* огнем вместе с другим, который ему равен, который его поддерживает собою, а сам поддерживается им. Я не спраши-

ваю, друзья ли мы? На этот вопрос ни ты, ни я, ни Марзляков<sup>56</sup>, никто из нас не может ответить *да!* Но как прекрасно соединиться для того, чтобы быть друзьями, действовать для самих себя, потом наслаждаться своим собственным делом; жить друг для друга, говорить себе во всяком случае. я делаю не для себя одного, есть свидетели моих дел, которых не боюсь, но которые составляют для меня самое верховное судилище! Видишь ли, что я говорю не так, как энтузиаст; что все, мною сказанное, не мечта, но может и должно исполниться, потому что согласно с целью Провидения, которое всему велит совершенствоваться. Только те вещи могут не удаваться, которые зависят от случая или посторонних обстоятельств; но все, что ни предлагаю, зависит от нас самих, неразлучно с нами, – как этому не исполниться! Я вам всем: тебе, Мерзлякову, Блудову<sup>57</sup>, – должен сказать откровенно, что не был никогда привязан к вам с отменной силою, так же, как и вы все ко мне (лучше это видеть, нежели не видеть, потому что, увидевши, узнаешь причину и поправишь). Мы все сходились вместе *случайно*, с удовольствием; но, я не знаю, во мне не было этого внутреннего, влекущего чувства, которое бы я желал иметь, будучи вместе с моими друзьями, одним словом, чего-то не было такого, что всего вернее в дружбе, – как это назвать, не знаю. Никого из вас, это разумеется, я не любил с такой *привязанностью*,

---

<sup>56</sup> Алексей Федорович Мерзляков.

<sup>57</sup> Дмитрий Николаевич Блудов.

как брата<sup>58</sup>, то есть, не будучи с ним вместе, я его воображал с сладким чувством, был к нему ближе, ему подавал руку с особенным, приятным чувством; я не знаю, как-то отменно весело было чувствовать его руку в моей руке; между нами было более сродства, по крайней мере, с моей стороны. Но что делать! Даже при жизни его мы не были то, что бы могли быть; в то время, когда он был со мною, в нас было больше (то есть во мне) ребяческого энтузиазма; потом мы расстались, потом все кончилось<sup>59</sup>; одним словом, моя с ним дружба была только зародыш, но я потерял в нем то, чего не заменю или чего не возвращу никогда: он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже покориться; он бы оживлял меня своим энтузиазмом. Но, братцы, мы можем быть друг для друга многим, очень многим, всем, со временем, разумеется, не вдруг. Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа всем тем, что есть высокого и великого? Одному этого сделать почти не можно. Будем же друзьями, то есть верными товарищами на пути к добру. Дружба есть добродетель, еще раз повторяю. Я забыл сказать о причине той малой привязанности (или, справедливее, не довольно сильной, малою ее нельзя назвать, потому что это будет неправда), которая была между нами. Я думаю, та причина, что вся наша дружба была не иное что, как ребячество,

---

<sup>58</sup> Речь идет об Андрее Ивановиче Тургеневе.

<sup>59</sup> А. И. Тургенев умер в 1803 году. Именно ему В. А. Жуковский посвятил элегию «Сельское кладбище».

как простая связь, не на твердом основании, без всякой цели, а сделанная случаем, так же, как и все светские дружбы и связи. Положим себе цель (какую знаешь), пойдём по ней вместе, не попереча друг другу, но помогая, но воспламеняя друг друга при всяком случайном ослаблении. Тогда не одна склонность соединить нас, но благодарность, почтение взаимное и даже чувство необходимости в такой связи, которая должна привести нас наверно к счастью. Все, что я к тебе теперь писал, все сказано без особенного натянутого чувства, а просто, с некоторым твердым и очень приятным уверением. Чувства очень меняются, потому что все на них имеет влияние; я говорю такие чувства, которые ни на чем не основаны, а вдруг, на время, тебя воспламеняют; но чувства спокойные, утвержденные умом, тверды и навсегда остаются, потому что, имевши их в спокойную, обыкновенную минуту, всегда можешь возобновить, не выходя из своего обыкновенного положения. Это я знаю по частному опыту. Очень нередко бывал я в отчаянии, не находя в себе того сильного чувства, которое в другое время имел; это только от того, что это сильное чувство, неестественное, или, лучше сказать, необыкновенное есть феномен, который не всегда возобновлять можешь свободно. Теперь дурное расположение, которое так часто прежде меня мучило, не имеет на меня влияния, я дерусь с ним умом и часто – *vive la raison!*<sup>60</sup> – побеждаю его.

---

<sup>60</sup> Да здравствует ум! (*фр.*)

Но я написал почти четыре страницы, а еще очень мало сказал о том, что думал прежде. Я заболтался, но, право, говорил то, что ты должен принять, и, кажется, все, сказанное мною, навсегда во мне останется, тем более, что я все думал, все говорил без моего прежнего энтузиазма, который так ветрен и переменчив. Из этого, однако ж, не должен заключить, что будто я хочу отказаться совсем от энтузиазма; напротив, я хочу его усилить, укоренить, только ушибить ему несколько крылья, сделать его спокойнее, постояннее: хочу, чтобы он меня освещал, а не ослеплял. И это даже должна сделать дружба: один будешь не так смел, а то, что воспламенит и будет воспалять многих в одно время, то покажется не пустою мечтою, а чем-то рассудительным, основательным. Видишь ли, что я хочу быть энтузиастом по рассудку: *C'est une rareté!*<sup>61</sup>

Оставляю до другой почты то, что я хотел тебе сказать о самом себе, то есть о своем характере, о моей цели в жизни, вообще моей частной жизни отдельно от нашей общей, которую должна нам дать дружба. Надобно об этом подумать еще; сверх того, я что-то устал; ведь не вдруг привыкнешь к продолжительному размышлению. Эта наука труднее всякой, особливо когда человек прожил 23 года на сем свете, не подозревая, чтобы можно было находить приятность в размышлении. Это отчасти мой жребий, но я знаю этому причину, следовательно, перемену это, с вашею помощью, мило-

---

<sup>61</sup> Это редкость (*фр.*).

стивые государи, друзья мои! Это будет отныне моим обыкновенным припевом»<sup>62</sup>.

Характерно и другое письмо Жуковского Тургеневу: «Сейчас получил твое письмо и сейчас на него отвечаю. Благодарю тебя, брат, любезный друг; ты меня душевно тронул, тронул тем, что мне захотел поверить свои чувства: это доказывает, что я тебе нужен и что ты точно хочешь любить меня. Признаюсь, я несколько боялся; думал почти, что я не совершенно важный человек для тебя, что тебе можно обойтись без меня. Тон твоего письма доказывает мне противное; он трогает меня душевно. Одним словом, нам надобно быть друзьями, товарищами в этой бедной жизни, в которой ничто не радует, по крайней мере, не радует продолжительно; одна мысль будет меня всегда восхищать, мысль о таком человеке, как ты, которого дружба должна быть для меня светильником. Я чувствую, брат, что я стал несколько способнее, против прежнего, быть человеком, то есть не двуножным животным без перьев, но человеком в твоём смысле, несколько способнее для дружбы. Но что делать! Здесь я один; почти все, что вокруг себя вижу, мне не отвечает, а мне нужна подпора. О, моя жизнь прошла не так, как бы должно было. Ты имел перед собой брата, батюшку – такие люди! Но я вечно прозябал, почти один, хуже, нежели один, потому что не был оставлен, не был брошен, следовательно, не имел нужды действовать, мог спать умом и телом, и спал и

---

<sup>62</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 430–432.

проснулся очень недавно, и по сию пору не умею владеть собою. Эта неподвижность, этот душевный паралич, который часто чувствую, приводит меня в отчаяние. Всякий раз, когда вспомню о брате, то живее чувствую цену его и потерю. Что бы он был для меня теперь? Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились. Я теперь больше чувствую самого себя, больше знаю цену настоящую жизни и больше понимаю, для чего я живу. Дружба его, как она ни была коротка и, как я ни был ничтожен в то время, когда его знал, оставила что-то неизгладимое в душе моей: весь энтузиазм к доброму, все благородное, что имею, все, все лучшее во мне должно принадлежать ему. Мне кажется, всякий раз, когда об нем вспомню, стать бы на колени, для чего — не знаю; но какое-то особое чувство меня к этому побуждает. Ах, брат, нам надобно жить на свете не так, как живут обыкновенно, жить возвышенным образом; но я один ничего не сделаю: мне необходима подпора. Я найду ее в дружбе, и в твоей дружбе. Дай руку, но только дай ее от всего сердца и не ожидай найти ничего слишком отменного: я должен еще быть образцом для дружбы; но кажется мне, если не ошибаюсь, теперь стал я зреее, несколько лучше. Нам надобно помогать друг другу, оживлять друг друга делами и мыслями. Бывают такие минуты, в которые жизнь кажется чем-то пустым, в которые самое добро кажется ничтожным, ничего не хочешь, ничего не считаешь нужным и важным; такие состояния души часто очень долго продолжаются; на-

добно, чтобы какая-нибудь неожиданность их уничтожила, и в такие-то минуты всего нужнее дружеская подпора. По твоему письму заключаю, что ты во все это время не был счастлив, страдал душевно; вообрази ж, что я почти завидую этому состоянию: душа твоя была, по крайней мере, не в бездействии. Я бы даже иногда желал, чтобы какое-нибудь потрясение меня разбудило, чтобы я мог с чем-нибудь бороться и, следовательно, напрягать все свои силы: либо пан, либо пропал! Всякое состояние имеет свою горечь. Излишнее спокойствие усыпляет, если оно не приобретено трудом, не есть отдых, а всегдашнее, постоянное состояние. Излишнее волнение изнуряет, следовательно, может быть также убийственно для души, которая, видя свою неспособность действовать, отказывается от деятельности и теряет бодрость. Мне кажется, ты был в последнем положении, а я часто бываю в первом. Иногда не вижу перед собою ничего, все задернуто каким-то густым туманом, сидел бы поджавши руки и закрыв глаза, больше ничего! Но это состояние оттого так тягостно, что не можешь его не чувствовать, что видишь, как оно низко, и не находишь в себе довольно сил, чтобы из него вырваться; оно хуже самого ничтожества, которое, по крайней мере, нечувствительно. Надобно, брат, и мне, и тебе назначить себе постоянную цель; видя ее вдали, по крайней мере, не будешь в нерешимости, будешь знать, чего хочешь, и следовательно, будешь стараться получить. Если минуты расслабления и случатся, то, конечно, не будут так продол-

жительны: взгляд на будущее, на тот предмет, который сам себе избрал, будет оживлять душу и возвращать ей прежнюю ее силу и бодрость. Так, брат, я понимаю и иногда чувствую, что ничто так не возвышенно, как иметь твердую, постоянную уверенность в бессмертии: это единственная цель наша. Как должна быть велика, чиста, непобедима та душа, в которой чувство бессмертия всегда живо и всегда присутственно! Вот все основания морали, и тот человек должен благословлять судьбу, кто смолоду напитан возвышенными понятиями о бессмертии: он не может не быть добродетельным, по крайней мере, никогда не будет дурным. С этой стороны счастливец. А я? Брат! Брат! Скажу тебе, как Карл Моор, который смотрит на ясное заходящее солнце и вспоминает о том, что он был прежде. Я не вспоминаю о прошедшем, потому что оно мало оставило на душе моей; но воображаю, что бы я был, когда бы прошедшее было не таково, каково оно было! В прошедшем не вижу ничего, кроме нескольких часов, проведенных вместе с братом; и те прошли почти неприметно: я был не в состоянии ничем пользоваться и в самом деле ничем не пользовался! Наша дружба была зародыш, который совершенно увянул при своем начале; теперь ничего не воротить! Воспользуемся тем, что можем иметь. Мы, кажется, двое много можем. По крайней мере, я вместе с тобою! Ты должен быть согревателем моей души, должен поддерживать во мне чувство бессмертия. Если оно укоренится в душе нашей, то жизнь наша пройдет не даром. Глав-

ное, единственное, что мы друг для друга делать можем, есть взаимное старание возвышать нашу душу; все прочее само собою делается. Кто дал себе высокие чувства, тот дал себе все. В свете должен казаться странным тот человек, который имеет свою целию бессмертие, совершенство; но нашей цели должен никто ни знать, ни видеть: она должна быть сокрытою; взгляд света может ее обезобразить в собственных наших глазах. По крайней мере, я за себя не совсем ручаюсь, и для того-то требую подпоры, защиты против самого себя: я не приучен ни к какой деятельности, ни к душевной, ни к телесной, следовательно, не уверен, могу ли с чем-нибудь бороться и что-нибудь победить. Я живо себе представляю, какое блаженство должна давать прямая религия; она возносит человека выше всего, выше самой его личности; но я только представляю это: я в себе не нахожу того сильного, внутреннего, неизгладимого чувства, которое должно быть твердейшим основанием религии. Все, что я видел вокруг себя по сию пору, должно было если не отвращать, то, по крайней мере, поселять во мне совершенное равнодушие к религии: я видел христиан на словах, которые не имеют понятия о возвышенности чувств христианских, о бессмертии и пр.; несогласие чувств и дел с правилами и словами, всегда замечаемое мною с колыбели, должно было произвести во мне это неуважение и равнодушие. Я должен теперь, если можно, победить привычку, уничтожить старое, чтобы поселить в себе что-нибудь хорошее; сверх того необходимо нужно

что-нибудь такое, что бы сильно меня к этому подвигнуло, а этой-то побудительной причины недостает. Дай мне понятие о религии твоего батюшки. Она не должна быть обыкновенною, и если ты в ней уверен, то почему я не могу быть уверен? Эти вещи самые важнейшие, потому что на них должно основываться все наше бытие, должны быть между нами общими, по крайней мере, столько общими, сколько это возможно. Весело и прекрасно иметь побудительную причину во всех случаях жизни; по крайней мере, одна только побудительная причина у всех и быть может: искание совершенства. И что же дружба, когда она не будет пособием в этом искании? Друг, жена – это помощники в достижении к счастью, а счастье есть внутренняя, душевная возвышенность.

Wem der *grosse Wurf* gelungen  
Eines Fremdes Freund zu sein,  
Wer ein holdes Weib errungen...<sup>63</sup>

Эти стихи я нынче очень чувствую. И как много такого, что прежде пропускал мимо ушей, теперь сделалось важным и значащим! Но я все говорю о себе, а еще не сказал ни слова о тебе. Ты описываешь мне свое душевное уныние, а не говоришь ни слова о том, что произвело его. Что такое? Или не лишние ли мои вопросы? Но с тобою должно было что-

---

<sup>63</sup> Кому выпал великий жребий быть другом друга, кто добыл себе милую жену (нем.).

нибудь случиться. Если тебе тяжело рассказывать, то не рассказывай. Я бы хотел быть с тобою. Это бы, может быть, полезно было бы для тебя, или хотя несколько облегчительно, и для меня также полезно; но две причины меня здесь удерживают. Первая то, что мне совершенно не с кем приехать; вторая та, что я должен и хочу заплатить самый важный долг до своего отъезда в чужие края: следовательно, принужден работать. Я и здесь лениво работаю, потому что иногда, правда, ничто нейдет в голову, а в Москве и подавно буду лениться и не иметь времени. Итак, видишь, что мне необходимо нужно здесь остаться, хотя и желал бы в Москву. Сверх того построен дом<sup>64</sup>; я уезжаю надолго, надобно все оставить без себя в порядке, чтобы матушка не имела хлопот, и эти совсем не поэтические занятия часто меня бесят. Одним словом, я должен пробыть здесь всю весну и лето; в конце лета располагаюсь ехать. Думаю, вместо вояжа и переезда из места в место, остаться в каком-нибудь университете, и именно в Ене<sup>65</sup>, где, говорят, очень дешево жить и который малым чем уступит Геттингену. Мне описывал эти места один немец, который учился в Ене у Нимейера и который хочет мне дать рекомендательные письма. Путешествовать, в теперешних обстоятельствах, не совсем будет способно. Лучше

---

<sup>64</sup> Жуковский занимался строительством небольшого дома в Белёве, что значительно увеличило его долги.

<sup>65</sup> Йена (нем. *Jena*) – город в Германии (Тюрингия); знаменит своим университетом, открытым в 1558 году.

учиться. С тремя тысячами, которые дает мне Антонский<sup>66</sup>, могу прожить без нужды довольно времени в Ене. Ученье теперь мне всего нужнее, потому что я совсем ничего не знаю, а кажется, время что-нибудь знать. Что ж Николай<sup>67</sup>? Поедет ли он, если я поеду? Или не раздумала ли матушка<sup>68</sup>? Признаюсь, эта мысль меня радует быть ему товарищем: мы бы вместе стали трудиться. Он, мне кажется, человек будет не пустой. Что такое он написал для акта? Нельзя ли прислать? Уверь его, пожалуйста, что он во мне найдёт самого верного товарища. Я для себя и для него ожидаю величайшей пользы от путешествия. Опытность, познания, деятельность – все можно получить в это время. Путешествие должно положить основание всей моей будущей жизни; теперь еще не знаю, что я, следовательно, не знаю, на что гожусь; но тогда, конечно, узнаю. К тому же мне необходимо надобно учиться, самому никак нельзя во всем успеть, особливо одному; мне хочется непременно сделать из себя все то, что теперь осталось мне возможным, все лучшее, полезное: кто это имеет целью, тот, по крайней мере, не сделает ничего дурного. Еще раз повторяю: будем помогать друг другу, будем оживлять друг друга словами, делами, всем. Напиши ко мне больше о себе; о своем плане жизни; обо мне; о том, что нам делать обоим; как мы можем быть полезны друг для друга. Мне бы хотелось

---

<sup>66</sup> Антон Антонович Прокопович-Антонский.

<sup>67</sup> Николай Иванович Тургенев.

<sup>68</sup> Екатерина Семеновна Тургенева.

знать твои мысли о счастье, какое тебе возможно и какого нам обоим можно искать. Что ты думаешь о моем вояже и что мне советуешь делать, если не поеду? В будущем письме буду писать о том, какое счастье я себе воображаю и какое мне возможно. Но все это похоже на воздушные замки, и тебе должны казаться смешными мои вопросы. Однако же, ты должен на них отвечать. Не правда ли, однако ж, что я о твоём и своём счастье хочу рассуждать, как будто о какой-нибудь философической задаче? И в самом деле, неужели об этой материи надобно рассуждать в горячке и быть всегда мечтателем? Надобно сделать для себя какой-нибудь основательный план, не химерический, но утверждённый на возможности; нам надобно друг другу сообщать свои намерения и чувства, друг другу помогая, сделать что-нибудь хорошее, утвердиться на чем-нибудь постоянно. Итак, напиши мне о себе всё, не поленись, будь моим путеводителем или, по крайней мере, советником. — Что делает Мерзляков? Он забыл меня совершенно: я не получил от него ни строки; не знаю, что он делает и что наше с ним путешествие. Я сам к нему почти ничего не писал, но все писал и в твоём письме, и один раз особенно. Напомни ему обо мне. За что нам друг от друга отдаляться? Признаюсь, мне обидно слышать, что ты с ним редко видишься: кому ж бы друг друга поддерживать и искать, как не вам двум! Что ж значит это отдаление? Не знаю, как это назвать; но мне кажется, что Мерзляков (хотя с ним мне всегда было весело быть вместе, потому что он

человек необыкновенный) не был со мною таков, каким бы я желал его видеть; например, между нами не было искренности; если мы и говорили друг с другом, то вообще всегда говорили о посторонних материях; одним словом, мне всегда казалось, что я мало для него значу, и от этого он мало на меня имеет влияния. Может быть, этому причиною и то, что он не хотел иметь влияния: по крайней мере, я по сию пору еще его не знаю; он никогда мне не открывался, даже в самых безделицах, в своих сочинениях, не только в мыслях и чувствах. Между нами не было ничего общего; я не могу от него ничего требовать; нет ничего тяжелее и скучнее, как насилие и принужденность. Но он не имел причины мне показывать обманчивой наружности; следовательно, я имею все права верить тому, что он мне показывал, и теперь верю; только мне кажется, что все было таково, каким бы должно было быть между нами. Отчего такая слабая связь, такое равнодушие между нами? Нас должно оживлять одно, поддерживать одно! Одним словом, наша жизнь должна быть *cause commune*!<sup>69</sup> А мне кажется, что он меня забыл и всегда искал меня меньше, нежели я его. Или не вздор я написал, и не похоже ли это на прицепки? Скажи ему обо мне полслова и напиши об нем что-нибудь. Нам надобно жить связно и жить друг для друга. Я признаюсь перед вами, любезные друзья, что я сам был что-то не то, но нам надобно быть образователями друг друга. Не забывайте меня; я здесь имею в вас нуж-

---

<sup>69</sup> Делом общим (*фр.*).

ду, может быть, больше, нежели вы во мне. — Но прости, брат, на будущей почте буду писать еще: то есть, получив от тебя ответ. Теперь некогда, мне мешают. — Пришли мне свое путешествие<sup>70</sup>. Я теперь занимаюсь собранием русских поэтов; скажи Мерзлякову, чтоб он прислал мне лучшие свои стихи, не будет ли чего для помещения в это собрание<sup>71</sup>? Неужели искреннее суждение дружбы не будет для тебя приятно? Все мои сочинения увидят не прежде свет, как с пропуском и благословением моих друзей.

А rporos. Пожалуйста, прочти Виландова Агатона. Святая книга! Я начинаю больше уважать немецких авторов. Ради Бога, пришли мне что-нибудь хорошее в немецкой философии: она возвышает душу, делая ее деятельнее; она больше возбуждает энтузиазм. Этому причина, конечно, то, что большая часть немецких философов живут в совершенном уединении, следовательно, больше угадывают людей, видят их издали и больше применяют к себе. Французские все играют роль в большом свете, все подчинены хорошему тону, менее глубокомысленны и меньше имеют живости в чувствах, которые обыкновенно притупляются светскою жизнью. Один Руссо может быть исключением, но Руссо жил всегда в уединении. Итак, пришли мне какого-нибудь немца-энтузиаста. Мне теперь нужен такой помощник, нужна

---

<sup>70</sup> Речь идет о заграничном путешествии Александра Ивановича Тургенева.

<sup>71</sup> Собрание русских стихотворений, в пяти частях, было издано Жуковским в 1810–1811 годах.

философия, которая бы оживила, пробудила мою душу. Если есть Schiller's kleine prosaische Schriften<sup>72</sup>, присылай. Не забудь поздравить от меня батюшку с Новым годом; напиши об нем, об Иване Владимировиче<sup>73</sup>. О последнем буду говорить с тобою много, но не теперь: спешу, мешают, торопят писать! Прости, брат! Что Андрей Сергеевич<sup>74</sup>? Знаешь ли, что мне приходит в голову с ним поближе сойтись. Нам надобно составить отдельное общество. Но после, после!»<sup>75</sup>

Жуковский жаждал пробуждения, его душа рвалась к возвышенному. Романтические настроения искали выхода в деятельности. Однако в какой именно, Василий Андреевич не знал. Хозяйственные работы его «бесили». Постройка дома в Белёве показала его общее неумение обращаться с делами и лишь увеличила его прежние долги.

Среди всех этих бросающихся в глаза метаний и угасающего энтузиазма, на который В. А. Жуковский возлагал большие надежды, нельзя не отметить постоянного искания благоприятных условий для свободной духовной жизни, для нравственного совершенствования, для возможности литературной деятельности; из-под его пера регулярно стали появляться то оригинальные, то переводные лирические стихотворения и, в частности, Дон Кихот Пьера Клариса де Фло-

---

<sup>72</sup> Небольшие прозаические записки в шиллеровском стиле (нем.).

<sup>73</sup> Иван Владимирович Лопухин.

<sup>74</sup> Андрей Сергеевич Кайсаров.

<sup>75</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 432–435.

риана.

Между тем, в личной жизни Жуковского в это время появились и новые обстоятельства, еще более осложнившие ему пребывание в родных краях...

В 1805 году овдовела младшая дочь Марьи Григорьевны Буниной, Екатерина Афанасьевна, жившая до этого времени со своим мужем Андреем Ивановичем Протасовым в Орловской губернии, в усадьбе Муратово. Состояние, расстроенное ее мужем, не дало ей возможности остаться в родовом имении супруга. Чтобы расплатиться с долгами, оставшимися ей в наследство, Е. А. Протасова решила вести скромную жизнь и с этой целью переехала с двумя дочерьми, двенадцатилетней Марьей и десятилетней Александрой, в Белёв. В молодости живая, веселая, насмотревшись в Сибири на тяжелую жизнь своей сестры Авдотьи Афанасьевны Алымовой, которую она еще девицей сопровождала, и испытав немало тяжелого в замужестве, Екатерина Афанасьевна производила впечатление, как тогда говорили, дамы с большим характером и суровым нравом. В. А. Жуковский ее побаивался, и ввиду разницы в возрасте (Екатерина Афанасьевна была старше его на 13 лет) называл ее не сестрой, а «тетушкой», иногда «маменькой», и говорил ей «вы», между тем как она всегда к нему обращалась на «ты».

В. А. Жуковский с воодушевлением вызвался помочь Е. А. Протасовой и предложил себя в качестве учителя ее дочерей. Был составлен обширный план занятий для юных пле-

мянниц, одобренный Екатериной Афанасьевной, после чего Жуковский принялся ежедневно ходить за три версты из Мишенского в Белёв.

Предметом преподавания стали: история, философия, изящная словесность, языки, теология, эстетика и нравственность. Василий Андреевич с наслаждением делился со своими ученицами результатами своей собственной работы над немецкими писателями, которых изучал в это время. Размышляя в ходе уроков над тем, чем был сам непосредственно увлечен, Жуковский невольно увлекал в процесс собственного познания Марью и Александру, да и Екатерину Афанасьевну, которая, по собственному ее признанию, присутствуя на уроках, восполняла пробелы собственного образования. К слову сказать, девочки не всегда понимали своего восторженного преподавателя, не всегда могли почувствовать ту поэзию, которую он невольно вносил в свои уроки. Что говорить о юных душах, когда и сам учитель не до конца мог разобратся в нахлынувших чувствах. И вдруг как откровение Василий Андреевич 9 июля 1805 года делает запись в своем дневнике: «Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл. Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершен-

стве! Вижу ее не такую, какова она теперь, но такую, какова она будет тогда, и с некоторым нетерпением это себе представляю. Это чувство родилось внутри вдруг – не знаю; но желаю, чтобы оно сохранилось. Я им наполнен, оно заставляет меня мечтать, воображать будущее с некоторым волнением; если оно усилится, то сделает меня лучшим, надежда или желание получить это счастье заставит меня думать о усовершенствовании своего характера; мысль о том, что меня ожидает дома, будет поддерживать и веселить меня во время моего путешествия. Я был бы с нею счастлив, конечно. Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастья и не захотела бы светской рассеянности. Но может ли это быть? К. А.<sup>76</sup>, если не ошибаюсь, дала мне что-то предчувствовать... Неужели для пустых причин и противоречий гордости К. А. пожертвует моим и даже ее счастьем, потому что она, конечно, была бы со мной счастлива: моя первейшая цель есть наслаждение семейственною жизнью; я бы нашел или стал бы искать средства ею наслаждаться; я бы не стал терять в суетных, ничтожных исканиях драгоценной жизни: литература была бы моим занятием, любовь жены и любовь к ней, самая нежная и спокойная, отдохновением; спокойствие и счастье окружающего меня счастьем, наградою. Родные меня, конечно, бы не отяготили; я бы стал жертвовать им малейшею частию своего времени, и то для рассеяния. Я бы был счастлив дома, с моей женою, с К.

---

<sup>76</sup> Екатерина Афанасьевна Протасова.

А., с моими ближайшими: тогда бы деятельность моя увеличилась, я имел бы тесные связи, я знал бы, что любим прямо и имею право на любовь сию, то есть могу считать ее не милостью, но ответом на мою любовь, последствием моей любви. Мне кажется, что я ревнив; это есть следствие подозрительности в характере, эгоизма, который все к себе относит. Научившись любить жену для нее, не исключительно для себя, отучусь от ревности: любя жену, будешь любить и все ее удовольствия, следовательно, не ограничишь ее одним беспрестанным к себе вниманием, дашь ей свободу, видя, что всегда и всему предпочтешь ее. Все, что на минуту отвлекает ее мысли от тебя, не есть ни холодность, ни измена, но простая, всем естественная, рассеянность, простое желание всем пользоваться. Неужели всякую минуту можно занимать кого-нибудь собою? Итак, должно один раз навсегда увериться, что любим искренно и перед всем предпочтительно, и быть спокойным. Удерживать жену принуждением, когда не мог привязать ее к себе любовью, почитаю безумством. Доверенность, совершенная доверенность и уважение своему другу, вот главные подпоры супружеских связей: излишние требования их ослабляют, потому что делают их тягостными; они производят притворство или, по крайней мере, принуждение. Ревнивый любит только для себя; он хочет всякую минуту занимать собою, всякую минуту быть присутственным, что не натурально и не может не быть тягостным, если сделается принужденным. Ревность причи-

няет то, чего боится. Как же отучить себя от ревности? Я понимаю здесь неосновательную ревность. Та, которая имеет причину и оправдывается поступками любимого человека, есть натуральное следствие любви и неотвратима. Я говорю о той, которая происходит от беспокойного, подозрительного характера, который все увеличивает или представляет в черном виде. Думаю не иным чем отучить, как размышлением, как искоренением самым скорым всякого беспокойного чувства при его рождении, как беспрестанным уверением себя в любви милого человека, неспособного быть вероломным, как беспрестанным желанием и старанием сделаться еще любезнее, доверенностию и откровенностию. Упреки и укоризны отдаляют; присмотр и подозрение тягостны; требования возбуждают принужденность; беспокойство и мнительность бесполезны, когда нет зла, и конечно отвратят его, когда оно должно быть. Люби, чтобы быть любимым, и будь совершенно спокоен, ибо ничто не отвратит несчастья, когда любовь его отвратить не в состоянии. Итак, самое лучшее средство против женской неверности есть любовь и желание нравиться. А лекарство от ревности есть уверение, что она совершенно бесполезна и что мучительна. Надобно быть только уверенным, что все сделал для приобретения любви»<sup>77</sup>.

Марья Андреевна Протасова, чувство любви к которой вызвало у В. А. Жуковского такую бурю страстей, станет

---

<sup>77</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. С. 122–124.

вечной его печалью, граничащей с отчаянием. Но об этом несколько позже. А пока дневник Василия Андреевича пополняется мечтами о семейном счастье, религиозными рассуждениями, мыслями о бессмертии души. С этих пор собственные занятия Жуковского идут рассеянное, глаза его частенько наполняются слезами, уроки же в доме Протасовых, бывшие источником воодушевления, причиняют истинное горе, выплескиваемое на страницы дневника: «Что мне вам сказать? Желал бы все так точно сказать, как чувствую, но думаю, что уметь не буду. Я ушел от вас с грустью и, признаюсь, с досадою. Тяжело и не спокойно смотреть на то, что Машенька беспрестанно плачет; и от кого же? От вас, своей матери! Вы ее любите, в этом я не сомневаюсь. Но я не понимаю любви вашей, которая мучит и терзает. Обыкновенно брань за безделицу, потому что Машеньку, с ее милым ангельским нравом, нельзя бранить за что-нибудь важное. Но какая ж брань? Самая тяжелая и чувствительная! Вы хотите ее отучить от слез; сперва отучитесь от брани, сперва приучите себя говорить с нею, как с другом. Мне кажется, ничто не может быть жесточе, как бить человека и велеть ему не чувствовать боли. Ваша брань тем чувствительнее, что она заключается не в грубых, бранных словах, а в тоне голоса, в выражении, в мине; ребенка надобно уверить, что он сделал дурно, заставить его пожелать исправить дурное, а не огорчать бранью, которая только что портит характер, потому что его раздражает, а будучи частою, и действует

на здоровье. Можно ли говорить Машеньке: *ты не хочешь сделать мне удовольствия, ты только дразнишь меня*, тогда, когда она написала криво строку, и тогда, когда вы уверены, что для нее нет ничего святее вашего удовольствия? Что вы делаете в этом случае? Возбуждаете в ребенке ропот против несправедливости и лишаете его надежды угодить вам, следовательно, делаете робким, а ничто так не убивает характера, как робость, которая отнимает у него свободу усовершенствоваться и образоваться, потому что не дает ему действовать или обнаруживаться. Об этом буду говорить еще; напишу к вам особенно. Я не умею говорить языком о том, что чувствую сильно. Вы опытом это извели. Прочту несколько книг о воспитании; сравню то, что в них предписано, с тем, что вы делали, воспитывая детей, и приложу вам свое мнение о том, что осталось делать»<sup>78</sup>. Иногда Василий Андреевич был удручен поступками уже самой любимой им племянницы: «Я сердит на Машу. Но моя досада имеет ли основание, или есть одна только привязка? Не сержусь ли я больше за себя, нежели за то, что она сделала; больше за пренебрежение моих слов, нежели за самый проступок? Но хочется ли мне сердиться? Ее непослушание, может быть, не иное что, как ветренность без всякого намерения; в таком случае не за что сердиться, и можно только ей дать об нем заметить. Если же она захотела не послушаться, если ее непослушание есть каприз и пренебрежение, то, призна-

---

<sup>78</sup> Там же. С. 130–131.

юсь, очень досадно. Конечно, все это не может быть доказательством недостатка дружбы, но показывает дурную сторону характера: своенравие или ветреность. Кого любишь, того и слушаешь во всем с удовольствием, хотя не всегда бываешь одинаково расположен. Но я не ожидал найти в Маше своенравия или такой ветрености. Не хотеть пожертвовать таким вздорным удовольствием. Найти больше удовольствия в собаке, нежели в исполнении просьбы того человека, которого любишь! Это мне досадно, и не потому, чтобы мне хотелось видеть ее мне покорною, а потому, что это показывает или ее невнимание ко мне, или ее своенравность, или ветреность. Хотя она ребенок, но мне бы чрезвычайно было приятно исполнять всякое ее желание; того же бы хотел и от нее! Говорил ли с нею? В последний раз! Посмотрим, как примет. *Non, Marie, je ne veux pas être votre tyran, je ne veux pas que vous exécutiez aveuglement ce que je dis, car je n'exige de vous rien qui soit déraisonnable, mais je suis votre ami, je vous aime audessus de tout au monde, je voudrais que vous vous souveniez toujours de ce que je vous dis, que vous aimiez á me faire plaisir même dans les petites choses, et c'est précisément parce que je suis sûr que chacune de vos volontés, quelle qu'elle soit, sera sacrée pour moi et que je sentirai toujours un grand plaisir dans son exécution. C'est ce plaisir là qui est une marque certaine d'une vraie amitié*<sup>79</sup>. Надобно, чтобы друж-

---

<sup>79</sup> Нет, Мария, я не хочу быть вашим тираном, я не хочу, чтобы вы выполняли в ослеплении то, что я говорю, так как я не требую от вас ничего, что было

ба видна была во всем, и в безделках, потому что в безделках можно ежедневно ее доказывать, а важные случаи редки. Кто любит, для того все свято и важно. Итак, в последний раз буду говорить с Машею. Не должно быть похитителем чужого права, не должно никого обременять своею любовью. Может наскучить. А для меня всего тяжелее отягощать собою других, особливо тех, кого стремишься любить всею душою. Дружба требует взаимности; я требую от тебя того, что сам всегда готов для тебя сделать. Всякое, самое бездельное невнимание отменно больно. Я разумею невнимание с намерением. Но Боже меня избави от желания видеть друзей моих со мною осторожными. Притворное внимание несносно и мучительно, оно не может быть вместе с дружбою, которая всегда и внимательна, и непринужденна. Ты будешь это читать, моя милая Маша. Если я ошибся, если ты вчера сделала одну только ветренность, а не поступила так по своему нраву и капризу, чего я очень желаю, то, пожалуйста, не забудь, что первое удовольствие должно состоять в доставлении удовольствия своим друзьям; что забывать всякую минуту просьбы своих друзей или, что еще хуже, пренебрегать ими или жертвовать ими самому пустому

---

бы безрассудным, но я ваш друг, я вас люблю больше всего на свете, и я хотел бы, чтобы вы помнили всегда о том, что я вам говорю, что вы любили бы мне доставлять удовольствие даже в пустяках, и все это потому, что я уверен, что каждое из ваших желаний, какое бы оно ни было, будет высшим для меня и что я буду чувствовать всегда большое удовольствие в его выполнении. Именно это удовольствие и есть несомненная мера настоящей дружбы (*фр.*).

удовольствию есть совершенно непростительная ветреность. Твой поступок вчерашний, как он ни безделен, очень меня тронул; мне вчера и нынешнее утро было досадно на тебя и вместе грустно. Как можно в ту самую минуту, когда я тебе напомнил о твоём обещании, опять забыть об нём или (что для меня очень больно) дать мне почувствовать, что ты не хочешь об нём помнить и не уважаешь мою просьбу! Не значит ли это другими словами, что ты не хочешь, чтобы я чего-нибудь от тебя требовал? Носить собаку на руках не грех; но когда тебя просят, чтобы ты ее не носила, когда тебе скажут резон, то как можно для удовольствия нянчиться с Розкою, делать неудовольствие тому человеку, который тебя так любит! Это непростительная ветреность! Что ж, если это не ветреность, а каприз и упрямство? Я этого не желаю; но уверен, что ты мне прямо откроешь свое чувство. Твоя искренность дороже мне всего. Я имею право от тебя требовать дружбы и всех доказательств дружбы, потому что сам люблю тебя больше всего и от всей души. Может быть, ты и не заметила моей досады и очень удивишься, услышав мою претензию. Боюсь, чтобы я не показался тебе слишком взыскательным; но я уверен, что ты будешь со мною искреннею и что, конечно, во всем со мною согласишься. Я не желаю видеть тебя ни малодушною, ни ветреною, ни своенравною; всякий твой недостаток удивляет меня потому, что я ценю тебя отменно много. Очень желаю, чтобы ты мне казалась точно такою, какова ты есть в самом деле, и чтобы я в тебе

не обманулся. Обманываться очень больно»<sup>80</sup>.

Общее состояние духа, материальные затруднения и полная неопределенность желаний приводили Жуковского к депрессии. В такие минуты Василий Андреевич возвращался к мысли о службе. В декабре 1806 года он пишет «любезным друзьям», А. И. Тургеневу и Д. Н. Блудову: «...Я приехал было в Москву с тем, чтобы целый год посвятить порядочному учению, пройти историю и философию, и потом уже, имея относительные знания, приняться за что-нибудь важное и полезное; но теперешние обстоятельства, кажется, не позволят заняться науками. Я не знаю, на что решиться, и желал бы знать ваше мнение об этом, братцы. Теперь всякий обязан идти в службу, и я чувствую свою обязанность: но служить надобно для того, чтобы принести пользу. Вы знаете мои способности; скажите, что мне делать? А я не желал бы остаться в бездействии тогда, когда всякий должен действовать, но желал бы действовать так, чтобы принести пользу. Ожидаю вашего ответа, по крайней мере, твоего, Тургенев: ты не так ленив, как Блудов, в котором одна страсть<sup>81</sup> поглотила все другие способности, склонности и пр. и пр. <...> Отвечай мне скорее: что я должен делать и что могу сделать? Об этом ты можешь сказать что-нибудь решительное. Если

---

<sup>80</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. С. 136–137.

<sup>81</sup> Увлечение княжной Анной Андреевной Щербатовой, на которой Д. Н. Блудов позднее женился.

надобно будет идти, то нельзя ли будет получить такое место, где бы я мог употребить в большую пользу свои способности, а именно, нельзя ли будет найти случая втереться в штат какого-нибудь из главнокомандующих областных для письменных дел, и не можешь ли ты для меня этого сделать? Я стал бы работать и душой, и телом. Впрочем, и во фронт идти не откажусь, если нужно будет идти, хотя за способности свои в этом случае не отвечаю. Подумай за меня хорошенько, любезный друг; сообщи мне свои мысли немедленно. Я, между тем, буду с другими советоваться, но ни на что решительное, без твоего мнения, не отважусь. Теперь всякий желающий может быть хотя несколько полезен, но чем больше, тем лучше; итак, надобно искать места по способностям. Похлопочи обо мне: в этом случае полагаюсь на тебя совершенно...»<sup>82</sup>. 17 января 1807 года в письме А. И. Тургеневу снова читаем: «...Что же касается до последнего твоего письма и до службы, то я, право, не знаю, на что решиться. Как мне приехать в Петербург, не зная, зачем я приеду? Для чего ты не написал, какого рода служба меня ожидает? Нужны выгоды. А не очень буду доволен, если меня определят куда-нибудь, на первую открывшуюся должность. Сверх того, чем меньше зависимость, тем было бы лучше. Нет ли у вас, например, какого-нибудь библиотечарского места с хорошим жалованьем, и вообще, я бы желал места по части просвещения. Ты, право, не очень должен спешить: я теперь

---

<sup>82</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 436–438.

занят своими лекциями, следовательно, ничего не потеряю, если и через год войду в службу. Прости, любезный друг, буду ожидать твоего письма с нетерпением. <...> Мне пришла идея! Что, если бы меня сделать каким-нибудь директором училища, и именно в Москве? Я, может бы, мог быть и полезен. Но об этом еще надобно подумать и узнать, что за должность. По-настоящему, если бы нашлась хорошая должность в Москве, с хорошим жалованьем, то мне бы выгоднее остаться в Москве; мои родные все здесь и, сверх того, моя матушка могла бы жить со мною...»<sup>83</sup>.

По просьбе московских друзей Жуковского к начинающему писателю проявил сочувствие Н. М. Карамзин и предложил ему редактировать журнал «Вестник Европы», от которого в то время решил отказаться М. Т. Каченовский. В ноябре 1807 года, подготовив несколько статей для журнала, Василий Андреевич переехал в Москву. Елизавета Дементьевна, видя увлечение сына новым делом, писала: «*Вестник* очень меня беспокоит в рассуждении твоего здоровья. Я боюсь, что ты будешь слишком прилежен. Береги себя»<sup>84</sup>.

С приходом В. А. Жуковского «Вестник Европы» заметно выиграл в художественном отношении: выбор поэтических произведений становится удачнее, появляются иллюстрации знаменитых картин, статьи общего характера поднимают нравственные и эстетические проблемы времени.

---

<sup>83</sup> Там же. С. 438–439.

<sup>84</sup> Там же. С. XX–XXI.

Что касается общественно-политических вопросов, то журнал занимается ими все меньше. Если в начале своей редакторской деятельности Жуковский еще просит у А. И. Тургенева заграничных новостей из Тильзита, то в 1809 году пишет своему другу в иных выражениях: «Я уже отпел панихиду политике и нимало не опечален ее кончиною. Правда, она отымет у моего журнала несколько подписчиков, но так тому и быть. Это ничуть не умалило моего рвения; напротив, чувствую желание сделать журнал мой из дурного, или много-много посредственного, хорошим»<sup>85</sup>. И что-то Василию Андреевичу, безусловно, удалось. Он сумел задать журналу свой умеренный тон, который соответствовал распространённому вкусу читателей. Успех имели и поэтические произведения редактора. Однако все, что выходило за пределы литературного образования и творческих способностей, Жуковскому давалось с трудом. Он так и не приобрел умения вступать в деловые отношения с людьми, то есть заниматься повседневной рутинной хозяйственной деятельностью. В «Вестнике Европы» стали обостряться отношения и нарастать проблемы, что подвигло Василия Андреевича к мысли об уходе из журнала. Осенью 1809 года Жуковский перебирается в Мишенское и лишь формально числится в редакции. Временами, очень ненадолго, он еще приезжает в Москву, но большей частью просто присылает для опубликования свои стихи. В 1810 году в «Вестник Европы» снова возвра-

---

<sup>85</sup> Там же. XXI.

щается М. Т. Каченовский, что дает возможность Василию Андреевичу окончательно выйти из редакции, что и происходит в 1811 году.

Уже 64-летним стариком Жуковский в письме к декабристу Александру Федоровичу фон дер Бриггену назовет себя «жалким издателем “Вестника Европы”»<sup>86</sup>. О характере жизни Василия Андреевича в период его разочарований в возможности преобразовать вкус читающей публики лучше всего выясняется из письма, отправленного из Белёва А. И. Тургеневу 7 ноября 1810 года: «Письмо твое от 31 октября получил, мой милый Миллер<sup>87</sup>; благодарю тебя за присылку книг, которых еще у меня нет, и еще раз повторяю просьбу мою доставить мне все остальные, а чтобы узнать, какие они, прочитай все прежние письма и отложи свою обыкновенную, досадную беспечность, которая одна мешает мне в полноте восхищаться тобою.

Ты спрашиваешь, на что мне нужен Герен и в каком отношении? Я уже писал к тебе об этом в моем последнем несколько сердитом письме, но написал коротко. Теперь пишу попросторнее. Но в предисловии объясню, для чего не писал к тебе так долго, и отчего могут и впредь случиться некоторые промежутки в нашей переписке. Причиною этому Миллер, или, лучше сказать, одно из его прекрас-

---

<sup>86</sup> Там же. С. 556.

<sup>87</sup> Так стал называть Жуковский А. И. Тургенева, увлекшись чтением переписки Карла Бонстеттена и Иоганна Миллера.

нейших правил: Constantiam et gravitatem warden Sie nicht eher erlangen, bis alle Ihre Stunden wie im Kloster regelmässig ausgetheilt sind<sup>88</sup>. Этому правилу стараюсь последовать со всею точностию трудолюбивого немца. Часы разделены. Для каждого особенное непременно занятие. Следовательно, есть часы и для писем. Обыкновенно ввечеру, накануне почты, пишу письма, и таких эпох у меня две в неделе. Но я должен часто писать в типографию; два раза в неделю непременно должен отправить корректуру моего собрания стихотворцев, которого еще ни один том не отпечатан; первый готов, но еще нет предисловия (следовательно, ты и не мог получить его); наконец, случаются и другие письма. Все эти дела положено исправлять у меня в понедельник и пятницу, по вечерам, отчего и случается иногда совершенная невозможность тебе писать; а в этом порядке непременно хочу быть педантом: в противоположном случае, что ни делай, все будет неосновательно. Прибавь еще к тому и то, что иногда в час, определенный для переписки, в голове моей сидит геморрой, от которого душа как мертвая, а я хочу угощать тебя живою душою; хочу, чтобы рука писала от сердца. Но как писать, когда голова в споре с сердцем?

Итак, поговорим о Герене и братии. Entre nous soit dit<sup>89</sup>, я совершенный невежда в истории. Неправда ли, что в этом от-

---

<sup>88</sup> Постоянство и твердость не могут быть достигнуты до тех пор, пока все ваше время не будет распределено так же правильно, как в монастыре (нем.).

<sup>89</sup> Между нами говоря (лат.).

ношении наша переписка несколько далека от Миллеровой с Бонстеттенем? Он в двадцать лет предвидел политические перемены мира. Но я хочу получить об истории хорошее понятие; не быть в ней ученым, ибо я не располагаюсь писать историю, но приобрести философический взгляд на происшествия в связи. История из всех наук самая важнейшая; важнее философии, ибо в ней заключена лучшая философия, то есть практическая, следовательно, полезная. Для литератора и поэта история необходимее всякой другой науки: она возвышает душу, расширяет понятия и предохраняет от излишней мечтательности, обращая ум на существенное. Я хочу прочесть всех классиков-историков; но для того, чтобы извлечь из них всю возможную пользу и чтобы идея об истории была не смутная, а ясная, хочу предварительно составить себе общий план всех происшествий в связи. Для этого и начинаю Гаттерером и Гереном. Вот моя метода, несколько трудная и продолжительная, но для упрямой памяти моей необходимая. Прочитать статью в Гаттерере, имея перед глазами Габлеровы таблицы, откладывая книгу и потом составляя несколько карт (*á la Schlötzer fils*<sup>90</sup>) того времени, о котором читал, на картах в хронологическом и вместе синхронистическом порядке изображаю главнейшие происшествия, это оставляет в голове чрезвычайно ясную идею о переменах и их последствиях. Кончив этот труд, пишу из головы общее обозрение происшествий прочитанного периода. Так

---

<sup>90</sup> А-ля Шлёцер сын (*фр.*).

составится у меня целый курс всеобщей истории. Подробностей знать не буду; но теперь они мне еще и не нужны. Я хочу иметь один план, с которым можно было бы не заблудиться посреди бесчисленных подробностей. Составив этот план, мне уже будет весьма легко после заниматься чтением классиков, из которых ни один не написал обо всем, а избрал для себя какую-нибудь важнейшую часть. Эти важнейшие части будут мне известны подробно; а связи между ними сохранит мое предварительное чтение Гаттерера и Герена. Русская история, однако, будет другого рода занятием. Тут уже нечего думать о классиках, а надобно добираться самому до источников. Но и для русской истории, прежде нежели погрузюсь в океан летописей, намерен я составить такой же точно план, для которого мне нужна будет какая-нибудь краткая, но хотя несколько сносная русская историйка. Не знаешь ли чего-нибудь в этом роде? “Владимир” будет моим фаросом; но чтобы плыть прямо и безопасно при свете этого фароса, надобно научиться искусству мореплавания. Вот это я теперь и делаю. Ах, брат и друг, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта каким-то туманом *недеятельности душевной*, который ничего не дает мне различить в ней. А теперь, друг мой, эта самая деятельность служит мне лекарством от того, что было прежде ей помехою. Если романтическая любовь может спасти душу от порчи, зато она уничтожает в ней и деятельность, привлекая ее к одному предмету, который удаляет ее от всех других. Этот

один убийственный предмет, как царь, сидел в душе моей по сие время. Но теперешняя моя деятельность, наполнив душу мою (или, лучше сказать, *начиная* наполнять), избавляет ее от вредного постояльца. Если бы он ушел сам, не уступивши места своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только переменяла свое направление и, признаться, к совершенной своей выгоде. Эту выгоду я очень чувствую, и ты скоро, может быть, получишь от меня *Послание о деятельности*, о благодетельности этого святого гения, которому посвящаю жизнь мою, которым будет храниться все мое счастье. Не забудь, однако, что этот гений всегда рука в руку с гением дружбы. Пускай же они будут моими ангелами-хранителями. В эту минуту желал бы иметь тебя перед собою, чтобы подать тебе руку, прижать тебя к сердцу, не сказать, может быть, ни слова, но зато все выразить своим молчанием. Не думай, однако, чтобы моя мысль о действии любви была *общеею* мыслию, а не моею; нет, она справедлива и неоспорима, но только тогда, когда будешь предполагать некоторые особые обстоятельства; она справедлива в отношении ко мне. Надобно сообразить мои обстоятельства: воспитание, семейственные связи и двух тех, которые так много и так мало на меня действовали<sup>91</sup>. Об этом хорошо говорить на словах, и я надеюсь говорить об этом с тобою в каком-нибудь московском уголку, в котором мы будем двое вспоми-

---

<sup>91</sup> С определенной долей уверенности можно предположить, что Жуковский имеет в виду Андрея Ивановича и Ивана Петровича Тургеневых.

нать о прошедшем и располагать будущее, возобновляя душевный обет навсегда, навсегда быть добрыми спутниками в счастья и несчастья. Так, брат, – и в несчастья! Видя, как все рушится, иногда приходит мне в голову мысль, что, может быть, впереди готовит для нас судьба что-нибудь ужасное. Я часто хотел писать к тебе об этом. Милый друг! Никогда не теряй из головы мысли, что нам надобно помогать, помогать друг другу переносить бурю; что несчастье должно соединить нас, что нам непременно должно быть вместе, когда начнется это испытание. Какое оно – не знаю. Но подумай о том, что были многие эмигранты, рассыпанные по всему свету революцией; взгляни на то, что происходит около нас, и вообрази возможности. И эти-то возможные времена должны соединить нас, если они настанут. Для двух несчастье не ужасно; двое могут иметь одну общую непоколебимую твердость, которой каждый из них *один*, может быть, и иметь не способен; в глазах и в руке друга – надежда и сила. Признаюсь тебе, иногда мысль о будущем приводит меня в уныние. Что, если предпринятая мною деятельность будет бесплодна? Но в этом случае надобно забывать будущее не верное, а только возможное; и я всегда говорю себе: настоящая минута труда уже сама по себе есть плод прекрасный. Так, милый друг, деятельность и предмет ее: польза – вот что меня теперь одушевляет. Первая же моя недеятельность происходила, может быть, и от мысли, что я не могу быть деятельным. Теперь начинаю верить противоположному, ибо я на-

хожу удовольствие даже и в том, чтобы учить наизусть примеры из латинского синтаксиса, воображая, что со временем буду читать Вергилия и Тацита. Теперь главные занятия мои составляют: история всеобщая, как приготовление к русской и к классикам, и языки, пока латинский, а через несколько времени и греческий. В «Вестник»<sup>92</sup> буду посылать переводы, ибо это необходимо для кармана. Между тем, чтобы не раззнакомиться с Музами, буду делать минутные набегии на Парнасскую область с тем, однако, чтобы со временем занять в ней выгодное место, поближе к храму Славы. Три года будут посвящены труду приготовительному, необходимому, тяжелому, но улаждаемому высокою мыслию быть прямо тем, что должно. Авторство почитаю службою Отечеству, в которой надобно быть или отличным, или презренным: промежуток нет. Но с теми сведениями, которые имею теперь, нельзя надеяться достигнуть до первого. Итак, лучше поздно, нежели никогда. Тебе, как доброму другу моему, надобно желать одного: чтобы обстоятельства, по крайней мере, в эти приготовительные годы, были благоприятны мне и не столкнули меня с дороги. А труд, который был для меня прежде тяжел, становился для меня любезен час от часу более. Я уверен теперь, что один тот только почитает труд тяжким, кто не знает его; но тот именно его и любит, кто наиболее обременен им. Вот мысль Горация, которая привела меня в восхищение, ибо теперь с отменною живостию чувствую исти-

---

<sup>92</sup> В «Вестник Европы».

ну, в ней заключенную:

Et ni

Posces ante diem librum cum lumine, si non  
Intendas animum studiis et rebus honestis,  
Invidia vel amore vigil torquebere<sup>93</sup>.

Не подумай, однако, чтобы я хотел хвастать знанием своим латинского языка. Я прочитал это в переводе, а для тебя, как для латинуса, выписываю в оригинале.

Переписанных моих сочинений нельзя тебе скоро иметь: милая переписчица<sup>94</sup> улетела в Москву пленять все, что ей ни встретится, следовательно, и переписывать ей некогда. А переписчика здесь нет. Терпение, милый друг. Что-нибудь подоспеет новое, тогда вдруг все получишь. Между тем, мое Послание очень вертится у меня в голове, и я бы давно написал его, если бы не был рабом моего немецкого порядка, и восхищению стихотворному назначен у меня час особый, свой. Но это восхищение как-то упрямо и не всегда в положенное время изволит ко мне жаловать. Между прочим скажу тебе, чтобы поджечь твое любопытство, что у меня почти готова еще баллада, которой главное действующее лицо – диавол, которая вдвое длиннее Людмилы и гораздо ее луч-

---

<sup>93</sup> Если ты до рассвета дневного, с возженной свечою, не будешь ощущать потребности в книге; если не будешь упражнять душу умственными и честными трудами, то в бессоннице одолеет тебя зависть или любовный жар (*лат.*).

<sup>94</sup> Александра Андреевна Протасова.

ше<sup>95</sup>. И этот диавол посвящен будет милой переписчице, которая сама некоторым образом по своей обольстительности — диавол.

Но пора кончать. Надобно еще написать письмо к Блудову, который зовет, и напрасно, к сожалению моему, зовет меня в Москву. Я буду в Москве не прежде, как в конце декабря, и то на короткое время, и ты непременно в ней быть должен. В противном случае, милый мой Миллер, мы можем опять не увидеться, а это будет для меня очень грустно. Постарайся расположить дела свои так, чтобы тебе непременно приехать в Москву около Нового года.

В заключение письма две просьбы: первая, непременно увидеться с Севериным<sup>96</sup> и попросить его для меня самым усердным образом об ответе на мое письмо. Он жалуется на мое молчание, а сам пренебрегает отвечать мне, когда бы надобно было тотчас, без всякого замедления, отвечать; ибо я, по-прежнему в моей с ним приятельской связи, просил его об услуге, в точном уверении, что ему приятно будет для меня ее сделать. Его молчание для меня непостижимо и, признаюсь, несколько обидно. Можно ли таким образом переменитьсь? Покажи ему эти строки и попроси его, чтобы он объяснил мне, что я должен подумать о его молчании? Антонский советует мне ехать в Петербург и пользоваться слу-

---

<sup>95</sup> Двенадцать спящих дев.

<sup>96</sup> Дмитрий Петрович Северин.

чаем нашего министра юстиции<sup>97</sup>. Нет, я не поеду; не сделаю той глупости, которую вздумал было в начале последнего года сделать. Все уверяет меня, что наш министр и для своих приятелей министр. Он не имеет того расположения в дружбе, чтобы воспользоваться силою для добра тех, которых он ласкал и называл своими во время оно, и сделать это, избавив от жестокого труда или, лучше сказать, от мучения, выкланивать себе выгоду и предупредив их своим добрым желанием и приноровив свое об них попечение к их собственным желаниям и способностям. Он не Муравьев<sup>98</sup>, который два раза, не зная меня совсем в лицо, присылал у меня спрашивать, не может ли он мне быть полезен, и которого я не могу вспомнить без благодарного чувства... Но basta!

Зная теперь, как мне время дорого, ты должен без всякого отлагательства прислать мне латинскую грамматику и греческую. И ты много, много одолжил бы мне, если бы снабдил меня и Эйхгорном<sup>99</sup> и *Histoire de la diplomatie*<sup>100</sup>. На книги твои позволяю себе иметь полное право, и ты должен снабжать меня всеми, какие имеешь. Покупать их не могу, ибо я бедняк, а тебе должно быть приятно помогать мне в нужде. Это же так легко. Только не медли!»<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Ивана Ивановича Дмитриева.

<sup>98</sup> Михаил Никитич Муравьев.

<sup>99</sup> Речь идет об исторических сочинениях Иоганна Готфрида Эйхгорна.

<sup>100</sup> История дипломатии (*фр.*).

<sup>101</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 440–442.

Два довоенных года В. А. Жуковский прожил в особом подъеме духа; работа у него кипит, и даже любовь отступила перед трудолюбием; растет уверенность в своих силах. Характерно в этом отношении для Василия Андреевича, что когда в начале 1811 года С. С. Уваров, в то время попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, предложил ему должность профессора Педагогического института, Жуковский ему ответил: «...Предложение это почитаю отменно для себя выгодным, но также почитаю необходимым объяснить с вами искренно; может быть, искренность моя покажется вам странной – так и быть. Я совершенно не готов к тому званию, на которое вы меня определяете; мои сведения всеобщие весьма еще несовершенны и не приведены в порядок. Для того, чтобы их несколько усовершенствовать, нужна свобода; занявшись должностью, для меня важною и по моей неготовности весьма для меня трудною, я не буду иметь возможности использовать это намерение: одно исключительное занятие отвлечет меня от других необходимых для меня занятий, которых я ни за что не хотел бы оставить...

Хотите ли мне сделать истинное добро? Дайте мне время, нужное для приговорительного, ученического труда и, между тем, позвольте мне иметь надежду, что я, по совершении своего курса, на который, по крайней мере, употребить надобно года два, найду в вас первое прибежище и что вы тогда не откажетесь доставить мне средство употребить

способности мои на общую пользу. Эта надежда меня совершенно успокоит: без всякой заботы о будущем посвящу себя упражнению и стану заранее наслаждаться мыслию, что выгодами жизни обязан буду тем людям, к которым прилеплен чувствами дружбы. Такая мысль и самый труд сделает для меня сладким. Напротив, если теперь возьму на себя такую должность, к которой не готов, то она будет для меня только источником самых неприятных ощущений: беспрестанно буду воображать себя не на своем месте, и с выгодами состояния не получу того, что делает всякое состояние приятным, то есть спокойствия внутреннего и довольства самим собою. Одним словом, прошу от вас только одной надежды, то есть позвольте мне быть уверенным, что я в свое время найду в вас нужную мне помощь. Более ничего теперь не требую и не имею права требовать.

Желал бы, если бы это было возможно, быть теперь просто привязанным к С.-Петербургскому университету, не получая никакого жалованья, а только при нем считаться. Также весьма бы желал знать заранее, к какой особенной должности надлежит мне особенно себя приготовить. Я говорил с вами искренно, ибо говорил не с таким человеком, от которого ожидаю только выгод, но с человеком, к которому хочу быть привязан чувством дружбы без всяких посторонних видов. Хотя несколько приятных часов, проведенных мною с вами в Москве, и не дают мне на это полного права, но ва-

ше давнишнее знакомство с Тургеневым<sup>102</sup> и меня сделало вашим давним знакомцем...»<sup>103</sup>.

Письмо датировано 4 мая 1811 годом. Через 8 дней, 13 мая, не станет Марьи Григорьевны Буниной и вскоре вслед на ней Елизаветы Дементьевны. Потеря двух своих матерей было настоящим горем для Жуковского; от хорошего настроения не останется и следа. Только к концу года Василий Андреевич вернет себе чувство бодрости и удовлетворенности от дел.

Между тем Протасовы переехали в Муратово, где Екатерина Афанасьевна начала строиться. Жуковский поселился в это время по соседству в деревне Холм в своем небольшом имении, которое М. Г. Бунина, по кончине супруга своего А. И. Бунина, по его завещанию, закрепила за ним, и продолжил принимать самое непосредственное участие в жизни сестры и ее дочерей.

Так шло время до лета 1812 года, когда военная служба превратилась из сословной традиции в патриотическое дело. В. А. Жуковский не мог не отдаться общему настроению, вызванному вторжением неприятеля в пределы Отечества. Еще в 1806 году Василий Андреевич собирался в «милицию», был у него и детский не совсем удачный опыт общения к военному делу: в 1795 году 12-летний «Васенька» был доставлен майором Дмитрием Гавриловичем Пост-

---

<sup>102</sup> Александр Иванович Тургенев.

<sup>103</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 519–520.

никовым в Кексгольм в Нарвский пехотный полк (по обычаю того времени мальчик со дня рождения был записан по месту бывшей службы отца), где прожил около 4 месяцев и, обстриженный «вгладь», вернулся домой. Судя по его письмам из Кексгольма к матери, жизнь его в крепости вовсе не была приучением к фрунтовой жизни: «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна! Я весьма рад, что узнал, что вы, слава Богу, здоровы; что ж касается до меня, то и я также, по его милости, здоров и весел. Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако, по дружбе одного из офицеров, ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем. Впрочем, прося вашего родительского благословения и целуя ваши ручки, остаюсь навсегда ваш послушный сын Васенька. 20 ноября 1795 года». «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна! Имею честь вас поздравить с праздником и желаю, чтоб вы оный провели весело и здорово. О себе честь имею донести, что я, слава Богу, здоров. Недавно у нас был граф Суворов, которого встречали пушечною пальбой со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я также пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович<sup>104</sup>. Впро-

---

<sup>104</sup> Дмитрий Гаврилович Постников.

чем, желая всякого благополучия, остаюсь ваш послушный сын Васенька. 1795 года, декабря 20 дня»<sup>105</sup>.

Как бы то ни было, 12 августа 1812 года Жуковский вступил в ополчение, о котором впоследствии отзовется весьма скептически. «Мог ли бы ты вообразить, – писал Василий Андреевич А. И. Тургеневу 9 апреля 1813 года, – чтобы я когда-нибудь очутился во фрунте и в сражении? Происшествия нынешнего времени делают все возможным. Впрочем, не воображай, чтобы я сколько-нибудь был знакомее прежнего с военным ремеслом. Вся моя военная карьера состоит в том, что я прошел от Москвы до Можайска пешком; простоял с толпою русских крестоносцев в кустах в продолжение Бородинского дела, слышал свист нескольких ядер и канонаду дьявольскую; потом, наскучив биваками, перешел в главную квартиру, с которою по трупам завоевателей добрался до Вильны, где занемог, взял отпуск бессрочный и теперь остаюсь в нерешимости: ехать ли назад, или остаться? Мне дали чин<sup>106</sup>, и наверное обещали Анну на шею, если я пробуду еще месяц. Но я предпочел этому возвращение, ибо записался под знамена не для чина, не для креста и не по выбору<sup>107</sup> собственному, а потому, что в это время всякому

---

<sup>105</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 384.

<sup>106</sup> Штабс-капитана.

<sup>107</sup> В. А. Жуковский делает собственноручно примечание: «Это не значит, однако, чтобы я был выбран от дворянства. У нас в Орле не было милиции; я сам записался в московскую».

должно было быть военным, даже и не имея охоты; а так как теперь война не внутри, а вне России, то почитаю себя вправе сойти с этой дороги, которая мне противна и на которую могли меня бросить одни только обстоятельства»<sup>108</sup>.

Болезнь, о которой упоминает в письме Жуковский, была жестокой горячкой, заставившей его 13 дней вылежать в постели. В это время он уже не служил во фрунте, но, вследствие ходатайства М. С. Кайсарова, был переведен в походную канцелярию.

Ко времени пребывания Жуковского в ополчении относится его знаменитое стихотворение «Певец в стане русских воинов», вполне отвечающее общему настроению после сдачи Москвы и перед сражением при Тарутине. Императрица Мария Федоровна прочитала «Певца», поднесенного ей И. И. Дмитриевым, и пожелала иметь экземпляр, переписанный рукой автора. Исполняя волю государыни, Василий Андреевич осмелился к желаемому списку присоединить свое «Послание к императрице»:

Мой слабый дар царица одобряет;  
Владычица в сиянии венца  
С улыбкой слух от гимнов преклоняет  
К гармонии безвестного певца...  
Могу ль желать славнейшие награды?  
Когда сей враг к нам брань и гибель нес,  
И русские воспламенялись грады,

<sup>108</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 450–451.

Я с трепетом зрел ангела небес,  
В сей страшной мгле открывшего пучину  
Надменному успехом исполину;  
Я старца зрел, избранного царем;  
Я зрел славян, летящих за вождем  
На огонь и меч, и в каждом взоре  
И гением мне было восхищенье, —  
И я предрек губителю паденье,  
И все сбылось, – губитель гордый пал!..  
Но, ах, почто мне жребий ниспослал  
Столь бедный дар?.. Внимаемый царицей,  
Отважно б я на лире возгремел,  
Как месть и гром несущий наш орел  
Ударил вслед за робкою станицей  
Постигнутых смятением врагов,  
Как под его обширными крылами  
Спасенные народы от оков  
С возникшими из низости царями  
Воздвигнули свободы знамена;  
Или, забыв победные перуны,  
Твоей хвалой воспламенил бы струны;  
Ах, сей хвалой душа моя полна!  
И где предмет славнее для поэта?  
Царица, мать, супруга, дочь царей,  
Краса цариц, веселие полсвета...  
О, кто найдет язык, приличный ей?  
Почто лишен я силы вдохновенья?  
Тогда б дерзнул я лирою моей  
Тебя воспеть, в красе благотворенья

Сидящую без царского венца  
В кругу сих дев, питомцев Провиденья.  
Прелестный вид! – их чистые сердца  
Без робости открыты пред тобою;  
Тебя хотят младенческой игрою  
И резвостью невинной утешать;  
Царицы нет, – они ласкают мать;  
Об ней их мысль, об ней их разговоры,  
Об ней одной мольбы их пред Творцом,  
Одну ее с Небесным Божеством  
При алтаре поют их сладки хоры.  
Или мечтой стремясь тебе во след,  
Дерзнул бы я вступить в сей дом спасенья,  
Туда, где ты, как ангел утешенья,  
Льешь сладкую отраду в чашу бед.  
О, кто в сей храм войдет без умиленья?  
Как божество невидимое, ты  
Там колыбель забвенной сироты  
Спасительной рукою оградила;  
В час бытия отверзлась им могила —  
Ты приговор судьбы перервала,  
И в образе небесные надежды  
Другую жизнь отверженным дала.  
Едва на мир открыли слабы вежды —  
Уж с Творческим слиянный образ твой  
В младенческих сердцах запечатлели;  
Без трепета от тихой колыбели  
Они идут в путь жизни за тобой.  
И в бурю бед ты мощный им хранитель.

Вотще окрест их сени брань кипит, —  
На их главы ты свой простерла щит,  
И задрожал свирепый истребитель  
Пред мирною невинностью детей,  
И не дерзнул пожар внести злодей  
В священную сирот твоих обитель.  
И днесь, когда отвсюду славы гром,  
Когда, сражен полуночным орлом,  
Бежит в стыде народов притеснитель, —  
О, сколь предмет высокий для певца!  
Владыки мать в величестве царицы  
И с ней народ, молящие Творца,  
Да под щитом всеильные десницы  
Даст мир земле полсвета властелин.  
Так, к небесам дойдут твои молитвы;  
Придет, придет, свершив за правду битвы,  
Защитник царств, любовь царей, твой сын,  
С венчанными победою полками.  
О, славный день, о, радостный возврат!  
Уже я зрю священный Петроград,  
Встречающий спасителя громами;  
Грядет, грядет, предшествуем орлами,  
Пленяющий величеством, красотой!  
И близ него наш старец, вождь судьбины,  
И им во след вождей блестящий строй  
И грозные славянские дружины.  
И ты спешишь с супругою младой,  
В кругу детей, во сретенье желанных...  
Блаженный час! в виду героев бранных,

Прославленной склоняется главой  
Владыка-сын пред матерью-царицей,  
Да славу их любовь благословит, —  
И вкупе с ним спасенный мир лежит  
Перед твоей священной десницей.

Оставив по причине болезни службу в ополчении, В. А. Жуковский в декабре 1812 года возвращается на родину.

Прибыв со своими детьми к Е. А. Протасовой в Муратово, Авдотья Петровна Киреевская вошла в круг привычного и нового для нее общества. А дело было в том, что «наши помещики принимали охотно к себе пленных, и несколько французов жило у Протасовых. Все старались облегчить участь этих несчастных, многие с ними сдружились; часто природная их веселость брала верх над горькими обстоятельствами, и они оживляли общество своими разговорами и остротами. Из числа тех, которых приютило Муратово, двое постоянно вели междоусобную войну. Один был Мену, племянник известного генерала того же имени, который принял в Египте начальство над армией по смерти Клебера, перешел в исламизм, чтоб угодить мусульманам, женился на мусульманке, был разбит англичанами и по возвращении во Францию принят с почетом Наполеоном и назначен губернатором в Пьемонте. Племянник гордился незавидной славой дяди и был ярым бонапартистом. Политический его враг, генерал Бонами, получивший под Бородином двенадцать ран штыком, не скрывал, наоборот, своей ненависти к Наполеону и предсказывал, что “этот самозванец” загубит окончательно Францию. Раз за обедом, на который Екатерина Афанасьевна пригласила многих соседей, предложили тост за здоровье императора Александра. Бонами выпил молча, но Ме-

ну встал и сказал, подымая свой бокал: “Je bois à la santé de l'empereur Napoléon”<sup>109</sup>. Эта вызывающая выходка сильно подействовала на присутствующих. Все сочли себя оскорбленными, слышались с разных сторон раздраженные голоса, мужчины окружили Мену. Дело приняло бы, вероятно, неблагоприятный оборот, если б в него не вмешался вечный примиритель – Жуковский: он напомнил всем о снисхождении, которое заслуживало положение пленных, находившихся под русским кровом, и успокоил раздраженных»<sup>110</sup>.

События Отечественной войны развивались стремительно. В январе 1813 года кампания перешла в «Заграничный поход русской армии»: боевые действия переместились на территорию Германии и Франции. Жизнь российского дворянства возвращалась, что называется, в привычные берега. А. П. Киреевская вернулась из Муратова в Долбино, где все напоминало ей покойного супруга. По собственному ее выражению, пребывать она стала «в четырех стенах», переезжая «из Мишенского в Долбино, из Долбина в Мишенское, из Мишенского в Игнатьево, из Игнатьева в Мишенское, из Долбина в Володьково, из Володькова в Долбино, из Долбина в Чернь, из Черни домой»<sup>111</sup>.

«Dolbino, – писала Авдотья Петровна 22 апреля 1813 го-

---

<sup>109</sup> Пью за здоровье императора Наполеона (*фр.*).

<sup>110</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 14–15.

<sup>111</sup> Там же. С. 87.

да Жуковскому, – c'est le nom de la campagne que j'habite et que j'ai l'honneur de recommander au très cher cousin, dont la mémoire me parait en effet un peu sujette à caution. Je crois que j'ai eu le bonheur de vous entendre nommer plus de 20 fois Dolbino par son véritable nom qui lui a été donné depuis une vingtaine de siècles, – et maintenant<sup>112</sup>, кто же бы мне сказал, что вы забудете даже имя той деревни, где все вас так без памяти любят. Господи помилуй! И батюшки светы, худо мне жить на свете! Нет, сударь! Не только Долбино зовут мою резиденцию, но и самый холодный край на свете называется Долбино, столица галиматы называется Долбино, одушевленный беспорядок в порядке – Долбино! Вечная дремота – Долбино! И пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр. Неужели вы и после этого забудете Долбино?»<sup>113</sup>.

В Мишенском весной 1813 года, прожив несколько месяцев в рязанском поместье Охотниковых, остановились вместе со своей теткой А. А. Алымовой Анна и Екатерина Юшковы. Авдотья Афанасьевна наотрез отказалась ехать в Муратово к сестре Екатерине Афанасьевне Протасовой, с которой у нее была серьезная размолвка. Вскорости Алымова тя-

---

<sup>112</sup> Долбино – название деревни, где я живу и которую имею честь рекомендовать дражайшему кузену, память которого, по-видимому, действительно ненадежна. Мне кажется, я более двадцати раз имела счастье слышать, как вы называли Долбино его настоящим именем, данным ему столетий двадцать тому назад, – и теперь (*фр.*).

<sup>113</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 86.

жело заболела и умерла.

Игнатьево стало местом жительства молодых супругов: Екатерины Петровны Юшковой и Василия Андреевича Азбукина.

Усадьба Чернь принадлежала Александру Алексеевичу Плещееву – сыну сестры Андрея Ивановича Протасова, следовательно, двоюродному брату Марьи Андреевны и Александры Андреевны Протасовых. Именно в его орловском доме располагался госпиталь, находившийся под попечением Василия Ивановича Киреевского.

А. А. Плещеев «был человек богатый, славился хлебо-сольством, мастерством устраивать *parties de plaisir*<sup>114</sup> в великолепном селе своем Черни, держал музыкантов, фокусников, механиков, выстроил у себя театр, сформировал из своих крепостных труппу актеров и обладал сам замечательным сценическим искусством. Он не мог жить без пиров и забав: каждый день общество, собиравшееся в Черни, каталось, плясало и играло в *Secrétaire*<sup>115</sup>. Отличившийся особенным остроумием был провозглашаем: *le roi ou la reine du Secrétaire*<sup>116</sup>. Королевская роль выпадала чаще всего на долю Анны Петровны Юшковой. Лишь только ее избрание

---

<sup>114</sup> Развлечения (*фр.*).

<sup>115</sup> Игра секретаря состоит в следующем: все играющие садятся около стола, каждый пишет, какой ему вздумается, вопрос на клочке бумаги, который свертывает потом трубочкой. Эти записки кладутся в корзину или ящик; всякий берет, наудачу, которую-нибудь из них и пишет ответ на предложенный вопрос.

<sup>116</sup> Королем или королевою секретарей (*фр.*).

было решено общим советом, она надевала самый лучший свой наряд, и остальные члены общества обращались в ее придворных. Они принимали ее приказания, вели ее торжественно к обеду и носили на себе надписи, означавшие их должности: тут были телохранители, пажи и пр. Француз *mr. Visard*, гувернер маленьких Плещеевых, играл обыкновенно роль хранителя печатей (канцлера), и на его груди красовалась надпись: *Garde des sots*, вместо *sceaux*; каламбур относился к его воспитанникам<sup>117</sup>, с которыми он не умел ладить»<sup>118</sup>.

Александр Алексеевич был очень талантлив, но не красив, смугл, с толстыми губами; В. А. Жуковский в письмах называл его «черная рожа», «мой негр». Его жена Анна Ивановна, урожденная графиня Чернышова, была, напротив, истинной красавицей. Она с удовольствием принимала участие в литературно-музыкальных вечерах своего супруга, исполняя романсы на его музыку. А. А. Плещеев во всем старался угождать супруге, что, правда, не мешало ему ухаживать за другими.

Дни рождения А. И. Плещеевой, 3 августа, превращали Чернь в единое театральное представление. Об одном из таких художественных пиршеств сохранилось даже устное

---

<sup>117</sup> *Sceaux* и *sots* произносятся одинаково по-французски, но первое значит «печати», а второе «дураки», и надпись, которую француз носил на груди, значила: хранитель дураков.

<sup>118</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 16.

предание: «После обедни, на которую съехались ближние и дальние соседи, хозяин предложил прогулку. Пошли на лужайку, где, к общему удивлению, стояла выросшая за ночь роща. Когда виновница пира к ней приблизилась, роща склонилась перед ней и обнаружился жертвенник, украшенный цветами, возле него стояла богиня, которая приветствовала Анну Ивановну поздравительными стихами. Потом богиня и жертвенник исчезли, и на место их явился стол с роскошным завтраком. По выходе из-за стола Плещеев спросил у жены и гостей, расположены ли они воспользоваться хорошей погодой, и привел их к канавке, за которой возвышалась стена. Вход в ворота был загорожен огромной женской статуей, сделанной из дерева. “Madame Gigogne, voulez-vous nous laisser entrer?”<sup>119</sup> – закричал хозяин. Но негостеприимная madame Gigogne размахивала руками вправо и влево и кивала грозно головой. Тогда явился монах и стал творить над ней заклинанья, разумеется, по-французски. Победенная madame Gigogne упала во весь рост через канаву, и спина ее образовала мост. С своей стороны монах превратился в рыцаря и приглашал гостей войти. Когда они перешагнули за ворота, целый город представился их взорам. Тут возвышались башни, палатки, беседки, качели. Между ними стояли фокусники с своими снарядами и сновали колдуньи, которые предсказывали каждому его будущность. Под звук военной музыки маневрировал полк солдат. На их знаменах и киве-

---

<sup>119</sup> Мадам Жигон, позволите ли нам войти? (*фр.*).

рах стояла буква *H*, так как Плещеев звал жену свою Ниной. Лавочники приглашали посетителей взглянуть на их товары и подносили каждому подарок. Для крестьян были приготовлены лакомства всякого рода. У одной из башен стоял молодец, который зазывал к себе гостей. “Voulez-vous entrer, mesdames et messieurs, – кричал он, – voulez-vous entrer: nous vous ferons voir de belles choses”<sup>120</sup>. В башне была устроена камера-обскура: все входили и глядели поочередно сквозь стеклышко, вставленное в ящик, на портрет Анны Ивановны, вокруг которого плясали амуры. (Этот фокус был устроен очень искусно: на отдаленном лугу был начерчен круг, и крестьянские дети, превращенные в амуров, плясали около него, а портрет был поставлен так, что занимал пространство круга).

Обед был, разумеется, роскошный; потом общество получило приглашение на спектакль. Давали “Филоктета”, трагедию Софокла, переложенную на французский язык, потом трагедию-фарс, под заглавием: “Le Sourd, ou l’äuberger pleine”<sup>121</sup>. На этом представлении отличался сам Плещеев, который дополнил комедию своими остротами, уморил со смеху публику. За спектаклем следовали иллюминация, танцы и ужин.

Но этот день, посвященный таким блестящим забавам,

---

<sup>120</sup> Не угодно ли вам войти, милостивые государыни и государи, не угодно ли вам войти, мы вам покажем прекрасные вещи (*фр.*).

<sup>121</sup> «Глухой, или Наполненная гостиница» (*фр.*).

чуть не навлек неприятностей на амфитриона. Из числа его гостей нашлись люди, которым показалась сомнительною буква *Н*, стоявшая на знаменах и киверах солдат, маневрировавших в импровизированном городе. В этой злосчастной букве прочли не имя Нины, а Наполеона. Насчет Плещеева стали ходить такие неприятные слухи, что губернатор счел долгом пригласить его к себе. Плещеев объяснил ему дело – и обещался быть осторожнее»<sup>122</sup>.

Помимо топонимически очерченного А. П. Киреевской круга родственников, с которыми она в то время общалась, нельзя не упомянуть и ее хороших знакомых: барона и баронессу Черкасовых; в их имении Володьково Авдотья Петровна отдыхала душой.

Некоторые из перечисленных лиц вошли в так называемые Долбинские стихотворения В. А. Жуковского<sup>123</sup>, относящиеся к 1814 году:

Добрый совет  
(в альбом В. А. Азбукину)  
Любовь, надежда и терпенье —  
На жизнь порядочный запас.  
Вперед, без страха, в добрый час,  
За все порука Провиденье.  
Блажен, кому вослед

---

<sup>122</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 17–18.

<sup>123</sup> Там же. С. 66–85; Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 87–97.

Она веселье в жизнь вливает,  
И счастья радугу являет  
На самой грозной туче бед.  
Пока заря не воссияла —  
Бездушен, хладен, тих Мемнон;  
Заря вошла – и дышит он,  
И радость в мраморе взыграла.  
Таков любви волшебный свет,  
Великих чувств животворитель,  
К делам возвышенным стремитель;  
Любви нет в сердце – жизни нет!  
Надежда с чашею отрады  
Нам добрый спутник – верь, но знай,  
Что не земля, а небо рай;  
Верней быть добрым без награды.  
Когда ж надежда улетит —  
Взгляни на тихое терпенье,  
Оно утехи обольщенье  
Прямую силой заменит.  
Лишь бы, сокровище святое,  
Доброта сохранилась нам;  
Достоин будь – а небесам  
Оставь на волю остальное.

Записочка в Москву к трем сестрицам<sup>124</sup>

Скажите, милые сестрицы,  
Доехали ль, здоровы ль вы,  
И обгорелые столицы  
Сочли ли дымные главы?  
По Туле много ли гуляли?  
Все те же ль там – завод, ряды,  
И все ли там пересчитали  
Вы наших прежних лет следы?  
Покрытая пожарным прахом,  
Москва, разбросанный скелет,  
Вам душу охладила ль страхом;  
А в Туле прах минувших лет  
Не возродил ли вспоминанья  
О том, что было в оны дни,  
Когда вам юность лишь одни  
Пленительные обещанья  
Давала на далекий путь.  
Призвав неопытность в поруку,  
Тогда, подав надежде руку,  
Не мнили мы, чтоб обмануть  
Могла сопутница крылата,  
Но время опыт привело,  
И многих, многих благ утрата  
Велит сквозь темное стекло  
Смотреть на счастье земное,  
Чтобы сияние живое

---

<sup>124</sup> Возможно, что «три сестрицы» – это жена барона Петра Ивановича Черкасова и ее сестры.

Его пленительных лучей  
Нам вовсе глаз не заслепило...  
Друзья, что верно в жизни сей?  
Что просто, но что сердцу мило,  
Собрав поближе в малый круг  
(Чтоб взор наш мог окинуть вдруг),  
Мечты уступим лишь начавшим  
Идти дорогою земной  
И жребия не испытавшим,  
Для них надежда – сон златой,  
А нам будь в пользу пробужденье.  
И мы, не мысля больше вдаль,  
Терпеньем подсластим печаль,  
Веселью верой в Провиденье  
Неизменяемость дадим.  
Сей день покоем озлатим,  
Красою мыслей и желаний  
И прелестью полезных дел,  
Чтоб на неведомый предел  
Сокровище воспоминаний  
(Прекрасной жизни зрелый плод)  
Нам вынести из жилища праха  
И зреть открытый нам без страха  
Страны обетованной вход.

Расписка Маши<sup>125</sup>

Что ни пошлет судьба, все пополам!  
Без робости, дорогою одною,  
В душе добро и вера к небесам,  
Идти тебе вперед, нам за тобою!  
Лишь вместе бы, лишь только б заодно,  
Лишь в час один, одна бы нам могила!  
Что, впрочем, здесь ни встретим – все равно!  
Я в том за всех и руку приложила.

В альбом баронессе Елене Ивановне Черкасовой  
Где искренность встречать выходит на крыльцо  
И вместе с дружбой угощает;  
Где все, что говорит лицо,  
И сердце молча повторяет,  
Где за большим семейственным столом  
Сидит веселая свобода  
И где, подчас, когда нахмурится погода,  
Перед блестящим камельком,  
В непринужденности живого разговора  
Позволено дойти до спора —  
Зашедши в уголок такой,  
Я смело говорю, что я зашел домой.

---

<sup>125</sup> Марье Андреевне Протасовой.

Записка к баронессе Черкасовой  
И я прекрасное имею письмецо  
От нашей долбинской Фелицы<sup>126</sup>.  
Приписывают в нем и две ее сестрицы<sup>127</sup>;  
Ее же самое в лицо  
Не прежде середи увидеть уповаю;  
Итак, одним пораньше днем  
В володьковский эдем  
Во вторник быть располагаю —  
Обедать, ночевать,  
Чтоб в середу обнять  
Свою летунью всем собором  
И ей навстречу хором  
«Благословен грядый» сказать.  
Мои цыпляточки<sup>128</sup> с Натальею-наседкой  
Благодарят от сердца вас  
За то, что помните об них, то есть об нас.  
Своею долбинскою клеткой  
(Для рифмы клетка здесь) весьма довольны мы:  
Без всякой суетной чумы  
Живем да припеваем.  
Детята учатся, подчас шалят,  
А мы их унимаем,  
Но сами не умней ребят.

---

<sup>126</sup> Авдотья Петровна Киреевская.

<sup>127</sup> Анна Петровна и Екатерина Петровна.

<sup>128</sup> Дети А. П. Киреевской: Иван, Петр, Марья.

По крайней мере, я – меж рифмами возиться  
И над мечтой,  
Как над задачей, трудиться...  
Но просим извинить: кто в праве похвалиться,  
Что он мечте не жертвует собой?  
Все здесь мечта – вся разница в названье,  
Мечта – веселье, мечта – страданье,  
Мечта и красота;  
И всяк мечту зовет, как Дон Кихот принцессу,  
Но что володьковскую баронессу  
Я всей душой люблю... вот это не мечта.

P. S.

Во вторник ввечеру  
Я буду (если не умру  
Иль не поссорюсь с Аполлоном)  
Читать вам погребальным тоном,  
Как ведьму черт унес<sup>129</sup>,  
И напугаю вас до слез.

К А. А. Плещееву  
Ну, как же вздумал ты, дурак,  
Что я забыл тебя, о, рожа!  
Такая мысль весьма похожа  
На тот кудрявый буерак,

---

<sup>129</sup> Очевидно, имеется в виду «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне и т. д.».

Который, или нет, в котором,  
Иль нет опять, а на котором...  
Но мы оставим буерак,  
А лучше, не хитря, докажем,  
То есть простою прозой скажем,  
Что сам кругом ты виноват,  
Что ты писать и сам не хват;  
Что неписание и забвеньё  
Так точно то же и одно,  
Как горький уксус и вино,  
Как вонь и сладкое куренье.  
И как же мне тебя забыть?  
Ты не боишься белой книги!  
Итак, оставь свои интриги  
И не изволь меня рядить  
В шуты пред дружбою священной.  
Скажу тебе, что я один,  
То есть, что я уединенно  
И не для собственных причин  
Живу в соседстве от Белёва  
Под покровительством Гринёва<sup>130</sup>,  
То есть, что мне своих детей  
Моя хозяйка поручила  
И их не оставлять просила,  
И что честное слово ей  
Я дал и верно исполняю,  
А без того бы, друг мой, знаю,  
Давно бы был я уж в Черни.

---

<sup>130</sup> Управляющий в Долбине.

Мои уединенны дни  
Довольно сладко протекают.  
Меня и музы посещают,  
И Аполлон доволен мной,  
И под перстом моим налой  
Трещит – и план и мысли есть,  
И мне осталось лишь присесть  
Да и писать к царю посланье.  
Жди славного, мой милый друг,  
И не обманет ожиданье.  
Присыпало все к сердцу вдруг.  
И наперед я в восхищенье  
Предчувствую то наслажденье,  
С каким без лести в простоте  
Я буду говорить стихами  
О той небесной красоте,  
Которая в венце пред нами,  
А ты меня благослови,  
Но, ради Бога, оживи  
О Гришином выздоровленье  
Прекрасной вестию скорей,  
А то растает вдохновенье,  
Простите. Ниночке моей  
Любовь, и дружба, и почтенье,  
Прошу отдать их не деля,  
А Губареву<sup>131</sup> – киселя!

---

<sup>131</sup> Товарищ Жуковского по Благородному пансиону.

Послание к А. А. Воейковой<sup>132</sup>

Сашка, Сашка!

Вот тебе бумажка,

Сегодня шестое ноября,

И я, тебя бумажкой даря,

Говорю тебе: здравствуй,

А ты скажи мне: благодарствуй.

И желаю тебе всякого благополучия,

Как в губернии маркиза Паулучия<sup>133</sup>,

Так и во всякой другой губернии и уезде,

Как по приезде, так и по отъезде,

Избави тебя Бог от Грибовского,

А люби и почитай господина Жуковского.

К Букильону

*(управляющему Плещеева)*

De Vouquillon

Je vais chanter la fête;

Je creuse donc ma tête,

Mais je me sens trop bête

Pour célébrer la fête

---

<sup>132</sup> Александра Андреевна Воейкова, урожденная Протасова.

<sup>133</sup> Речь идет о генерал-губернаторе Лифляндии, Эстляндии и Курляндии Филиппе Осиповиче Паулуччи.

De Bouquillon.  
Cher Bouquillon,  
Je suis trop téméraire,  
Je devrais bien me taire;  
Mais comment ne pas braire,  
Que la fête m'est chère,  
Cher Bouquillon.  
Pour Bouquillon  
Invocons donc la rime!  
Et grimpons sur la cime  
De l'Olympe sublime.  
La muse nous anime  
Pour Bouquillon.  
O, Bouquillon!  
Ce jour qui va paraître,  
Il t'a vu déjà naître,  
Mais il me fait connaître  
Que tu n'es plus à naître,  
O, Bouquillon!  
Par Bouquillon  
S'embellit la nature!  
Son âme est bon et pure,  
Je dis sans imposture,  
Je l'aime, et je le jure  
Par Bouquillon<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> Тебе, Букильон,Пою, Букильон,Твой день велик,Мой глас так тих.Для тебя, Букильон,Виват, Букильон!Я слишком смел,Но я посмел,Не смог стерпеть:Хочу воспетьТебя, Букильон,Виват, Букильон!И муза мояПоднимет меняНа вершину Олимпа,Тебе моя рифма,Друг Букильон,Виват, Букильон!

Ему же  
(отрывок)  
Был на свете Букильон  
И поэт Жуковский,  
Букильону снился сон  
Про пожар московский.  
Видел также он во сне,  
Что Пожарский на коне  
Ехал по Покровской.  
О, ужасный, грозный сон!  
Знать, перед кручиной!  
Вот проснулся Букильон,  
Чистит зубы хиной.  
Пробудился и поэт  
И скорехонько одет  
Он в тулуп овчинный...

Записка к Свечину<sup>135</sup>

Извольте, мой полковник, ведать,

---

Сей день настает:Светлый праздник грядет!О, радости час,Прижми к себе нас,Дорогой Букильон,Виват, Букильон!Ликует природа!Тебе моя ода,Добрый, чистый душой(Не лукавит стих мой),Наш друг Букильон,Виват, Букильон!

<sup>135</sup> Супруг Марьи Николаевны Свечиной, урожденной Вельяминовой – дочери Натальи Афанасьевны Вельяминовой, урожденной Буниной.

Что в завтрашний субботный день  
Я буду лично к вам обедать,  
Теперь же недосуг. Не лень,  
А Феб Зевесович мешает...  
Но буду я не ночевать,  
А до вечерни поболтать,  
Да выкурить две трубки,  
Да подсластить коньяком губки,  
Да сотню прочитать  
Кое-каких стишонок,  
Чтоб мог до утра без просонок  
Полковник спать.

В октябре 1813 года русское общество праздновало разгром Наполеона в битве под Лейпцигом. Победный дух нации, патриотизм – вот что было на устах у всех... Нового года ждали как этапа очередных свершений и побед, которые были не за горами (в апреле 1814 года Наполеон отречется от трона Франции, а в мае произойдет подписание Парижского мирного договора).

Конец декабря 1813 года в Муратово отмечали настоящим весельем. Екатерина Афанасьевна Протасова «разослала много приглашений по соседству, Жуковский приготовил стихи. Увеселенья начались с фокусов и жмурок. Бегая друг за дружкой, молодые люди поглядывали, в ожидании сюрприза, на таинственный занавес, прикрепленный между двух колонн, поддерживавших потолок залы. В данную минуту

занавес поднялся, и перед зрителями явился Янус. На его затылке была надета маска старика; голову окружала бумага, вырезанная короной, над лбом было написано крупными буквами число истекавшего года 1813; над молодым лицом стояла цифра 1814. Обе надписи были освещены посредством огарка, прикрепленного к голове римского бога. Его роль исполнял один из крепостных людей, которому приказано было переносить, не морщась, боль от растопленного воска, если он потечет на его макушку. Старик Янус поклонился обществу и промолвил:

Друзья, мне восемьсот —  
Увы! — тринадцатый,  
Весельем не богатый  
И очень старый год.

Потом он обернулся к публике молодым своим лицом и продолжал:

А брат, наследник мой,  
Четырнадцатый родом,  
Утешит вас приходом  
И мир несет с собой.

В ответ на слова Януса прозвучала полночь, выпили шампанское и сели за ужин»<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех

Все шло своим чередом и развивалось так, что, как отмечала А. П. Киреевская, «постороннему взору и приметить перемены какой-нибудь невозможно»<sup>137</sup>. Однако именно 1813–1814 годы для муратовского общества были самыми напряженными. На глазах родных и близких шла мучительная борьба В. А. Жуковского за руку Марьи Андреевны Протасовой. Киреевская не только знала о глубоком чувстве Василия Андреевича к Марье Алексеевне и его страстном желании жениться, но и принимала в том живое участие. Впрочем, не только она...

Первоначально у Жуковского была крепкая надежда на возможность брака с М. А. Протасовой, которая отвечала ему взаимностью. Так продолжалось приблизительно до середины 1812 года, когда Василий Андреевич открыл свои намерения Екатерине Афанасьевне, но здесь неожиданно для себя встретился с решительным отказом: Е. А. Бунина ссылалась на устав церкви, который, по ее убеждению, запрещает браки между близкими родственниками. Жуковскому было строго запрещено говорить кому бы то ни было и о его любви, и о своем решении. Между тем 3 августа 1812 года в доме Плещеевых праздновался очередной день рождения хозяйки. Был концерт, на котором в присутствии многочисленных окрестных помещиков, в том числе и Протасовых, В. А. Жуковский с большим воодушевлением исполнил своего

---

томах. Т. 4. С. 15.

<sup>137</sup> Там же. С. 87.

«Пловца», положенного на музыку А. А. Плещеевым:

Вихрем бедствия гонимый,  
Без кормила и весла,  
В океан неисходимый  
Буря челн мой занесла.  
В тучах звездочка светилась;  
«Не скрывайся!» – я взывал;  
Непреклонная сокрылась;  
Якорь был – и тот пропал.

Все оделось черной мглою;  
Всколыхались валы;  
Бездны в мраке предо мною;  
Вкруг ужасные скалы.  
«Нет надежды на спасенье!» —  
Я роптал, уныв душой...  
О безумец! Провиденье  
Было тайный кормщик твой.

Невидимую рукою,  
Сквозь ревущие валы,  
Сквозь одеты бездны мглою  
И грозящие скалы,  
Мощный вел меня хранитель.  
Вдруг – все тихо! мрак исчез;  
Вижу райскую обитель...  
В ней трех ангелов небес.

О спаситель-Провиденье!  
Скорбный ропот мой утих;  
На коленах, в восхищенье,  
Я смотрю на образ их.  
О! кто прелесть их опишет?  
Кто их силу над душой?  
Все окрест их небом дышит  
И невинностью святой.

Неиспытанная радость —  
Ими жить, для них дышать;  
Их речей, их взоров сладость  
В душу, в сердце принимать.  
О судьба! одно желанье:  
Дай все блага им вкусить;  
Пусть им радость – мне страданье;  
Но... не дай их пережить<sup>138</sup>.

Е. А. Протасова увидела в этой песне намек на чувства исполнителя к своей дочери и на свой отказ в их свадьбе; Екатерина Афанасьевна объявила дочери о невозможности брака между дядей и племянницей, а Жуковскому о запрете посещать Муратово.

Чувство одиночества и покинутости охватило В. А. Жуковского. Никакие гражданские устремления в год военного лихолетья не могли заглушить чувство личного несчастья. Даже из действующей армии, как только возникла оказия,

<sup>138</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 46.

он вырвался на два дня в Муратово, чтобы, по возможности, сгладить возникшие неприязненные отношения. Но Екатерина Афанасьевна Протасова продолжала обращаться с Жуковским сурово, особо подчеркивая свою набожность, что еще больше раздражало Василия Андреевича. «Говеть не значит: есть грибы, в известные часы класть земные поклоны и тому подобное, – писал он в своем дневнике 25–26 февраля 1814 года, – это один обряд, почтенный потому только, что он установлен давно, но пустой совершенно, если им только и ограничится говенье. Оно имеет для меня совсем другое значение. В эти дни более, нежели в другие, должно быть в самом себе, обдумать прошедшую жизнь, рассматривать настоящее и мыслить о будущем и все это в присутствии Бога. Вот что есть пост. И так только, а не иначе, можно себя приготовить к священному таинству исповеди и причастия».

И далее о своей неизлечимой грусти: «Смотря на прошедшее вообще (частные, мелкие недостатки и проступки в сторону), я не имею причины упрекать себя ни в чем таком, чтобы оставляло на всю жизнь раскаяние; но и только. Всю прошедшую жизнь мою можно назвать потерянною – для меня потерянную; я мог бы быть совсем не то, что я теперь. Начинать быть новым теперь поздно; можно бы быть лучшим – вероятно, что и то не удастся. Но при всей бесплодности прошедшего мое будущее могло бы быть прекрасно. Если я ничем не воспользовался в жизни, то по крайней мере ничто во мне не испорчено – я готов жить и жить прекрасно.

Вот мне тридцать лет – а то, что называется истинною жизнью, мне еще незнакомо. Я не успел быть сыном моей матери – в то время, когда начал чувствовать счастье сыновнего достоинства, она меня оставила; я думал отдать права ее другой матери, но эта другая дала мне угол в своем доме, а отделена была от меня вечным подозрением; семейственного счастья для меня не было; всякое чувство надобно было стеснять в глубине души; несмотря на некоторые признаки дружбы я сомневался часто, существует ли эта дружба, и всегда оставался в нерешимости, чрезмерно тягостной: сказать себе, дружбы нет! я не мог решительно, этому противилось мое сердце; сказать себе, что она есть, – этому многое, слишком многое противилось. На что было решиться? Скрывать все в самом себе, и терпеть, и даже показывать вид, что всем доволен – принуждение слишком тяжелое при откровенности моего характера, который однако от навыка сделался и скрытным. Причина всему этому одна – приди все в порядок, и все переменится, искренность и доверенность сами собою возобновятся; унылость исчезнет – останется думать только о том, как бы жизнь была спокойна и сообразна с волею Промысла. И эта одна причина... должен ли я ее стыдиться? Могу ли себя упрекать? О, нет! Я теперь сужу себя беспристрастно! Совесть моя спокойна: я не желаю ни невозможного, ни непозволенного. В этом никто не переубедит меня – исполнится ли то, что одно может быть мне счастье, это, к несчастью, зависит не от меня, а от других; но для меня

останется, по крайней мере, уверение, что я искал его не в низком, не в том, что противно Творцу и человеческому достоинству, а в лучшем и благороднейшем; я привязывал к нему все лучшее в жизни – не будет его, не будет и прочего; не моя вина. Останется дожить как-нибудь положенный срок, который, вероятно, будет и не долог. Жаль жизни – такой, как я ее представляю, тихой, ясной, деятельной, посвященной истинному добру; но того, что обыкновенно называют жизнью, того совсем не жаль – и чем скорее, тем лучше. Тогда бы мог я упрекать себя за прошедшее, когда бы употреблял непозволенные средства исполнить свои надежды – нет! я хотел и хочу счастья чистого. Я берег одну надежду. Покорностию и терпением думал купить себе исполнение. И это исполнение было бы не дорого куплено, хотя во все последние годы не помню дня истинно счастливого; сколько же печального! а все вместе – удел незавидный. Мысль, что все может перемениться, что настоящее заменится прекрасным будущим, была моею опорой, – но эта мысль не помешала мне приобрести совершенного равнодушия к жизни, которое, наконец, сделалось главным моим чувством: чувство убийственное для всякой деятельности. Как хотеть быть добрым в жизни, считая и самую жизнь ненужною? Самая вера не ослабевает ли при таком равнодушии. Другим нужно несчастье, чтобы привести в силу их душевные качества. Мне, напротив, нужно счастье – то счастье, которое может быть моим, ибо нет общего для всех счастья. В нем одном

вижу свое преобразование.

Такое мое прошедшее. Что же в настоящем? Все еще одна надежда. Но должно ли этому так остаться? Нет! Необходимо выйти из нерешимости. Но доказательством, что моя надежда не есть виновная, служит то действие, которое производит душе моей вероятность ее исполнения. Ею пробуждаются лучшие чувства и, не знаю, какая-то живая, сладостная вера, необходимость любить Провидение и на него полагаться. Как был счастлив для меня тот день – не помню лучшего во всей жизни – в который я решился говорить с Иваном Владимировичем<sup>139</sup>. Во мне было уверение, что он оправдает мою привязанность. А это представило мне вероятность, что я буду счастлив: чувство точно воскресительное для моей души. Я видел перед собою не одно исполнение желания – этого было бы мало, и счастье не в том; нет, я видел перед собою новую жизнь, видел себя тем, чем бы я желал быть – не автоматом, напрасно живущим в Божием свете. Сердце у меня билось, когда смотрел на чистое небо, и я мысленно делал клятву быть достойным своею жизнью Божества, обещающего мне такое счастье в своем мире: я чувствовал необходимость более любить его, к нему все относить, ибо в нем видел крепость своего счастья. Религия есть благодарность. В эту минуту твердая вера представлялась мне ясно нужнейшею потребностью человеческого сердца. Это живое чувство не обмануло меня; я уверен, что оно есть голос Бо-

---

<sup>139</sup> Иван Владимирович Лопухин.

жий – Иван Владимирович одобрил меня. С тех пор на душе у меня спокойнее. Я уверен в чистоте моей надежды, и в настоящем ничто не пугает меня.

Но будущее! Оно пугает меня одною своею неизвестностью. Я могу здесь дать себе отчет в одних только намерениях. Их исполнение не в моей власти. Но мои намерения моя собственность, и здесь всякое постороннее право исчезает. Здесь может судить один только Тот, Кто читает в глубине сердца. Пускай же читает Он в моем. Я не боюсь Его взора и то, чего желаю, Его достойно, есть лучшее, что могу принести Ему в жертву. Истинное достоинство человека в его мыслях и чувствах. Они невидимы для других, но известны Сердцеведцу. То, что желаю, не сделало ли бы мою жизнь лучшею? Следственно, не есть ли оно невинно и свято? Какие мои намерения? Иметь драгоценнейшие связи; их сохранению посвятить свою жизнь; спокойствие души, усовершенствование сердца, деятельность, им свойственная, самая религия – все для меня в одном! Как же не желать его всеми силами души! Что иное может мне быть заменою. Не желай невозможного, скажут. Но чтобы перестать желать того, что сделало бы жизнь счастливою, подлежит увериться в его невозможности. Я ее здесь не вижу, не видал и никогда видеть не буду. Сам бросить своего счастья не могу: пускай его у меня вырвут, пускай его мне запретят; тогда, по крайней мере, не я буду причиною своей утраты. Жертвовать собою не значит еще соглашаться, что жертва необходима и угодна

Богу, которому ее насильно приносят. Он дал мне совесть. От чего же эта совесть спокойна, когда я рассматриваю желания своего сердца и рассматриваю их в уверении, что у меня есть строгий свидетель; отчего, представляя исполненными свои намерения, чувствую в себе самую чистую радость, вижу себя лучшим? Неужели это доказательство, что мои намерения дурные? А какое другое правило вернее в суждении о самом себе. Я не один; прекрасные люди, истинные христиане, одобряют меня; а мнение, противящееся мне, само по себе сомнительно и для тех, которые его имеют. Если бы человеку, совершенно равнодушному, надлежало произвести приговор, что бы он сказал? Одно мнение поддерживает истинный христианин, но оно разрушает счастье; другое, ему противное мнение, также истинный христианин защищает, и оно дает счастье – которое справедливо?.. Без сомнения то, на которой стороне счастье, ибо оно им оправдывается. Так бы должен был решить беспристрастный, но наш судья, мать.

Мои намерения достойны моего Творца и моя молитва к нему: чтобы он исполнением их дал мне единственный способ его удостоиться в жизни, или чтобы скорее взять от меня обратно жизнь, совершенно бесплодную. Вот вся моя исповедь»<sup>140</sup>.

О душевном состоянии В. А. Жуковского была прекрас-

---

<sup>140</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. С. 142–145.

но осведомлена А. П. Киреевская, о чем свидетельствует ее письмо, датированное 1813 годом: «...Сердцу друга надобно бы взглянуть на внутрь, но это милое сердце, может стать, само имеет нужду в утешении, а на сегодня все бессмертные посетители спрятались в туман, гремят одни цепи и не пускают к милому краю родины, итак – courage et persévérance<sup>141</sup>! Будущее и настоящее – все сердцу неизменного друга – и позвольте помолчать, пока хочется квакать, т. е. жаловаться или быть недовольной. У меня новых синонимов тьма, Жуковский! Все ваши альбомчики записывались! А счетных книг довольно и старых! В природе хорошего мало, итог с тех пор, как мы расстались, редко подводится, разве под расходом счастья! Ну, ежели это тоска перед радостью? Ну, ежели вы скажете: “Ура, поймал!” Скорей сказывайте мне, что там с вами делается, признаюсь, порядочно наши с вами души мучаются.

Mais le Purgatoire laisse du moins un Paradis à espérer, si vous me parlez de votre bonheur, me voilà tout de suite aux Elysées. Du reste, c'est pour me tromper moi-même que je fais semblant de prendre mon agitation pour le pressentiment du bonheur, – cher ami, je n'espère rien! Ni les têtes couronnées, ni les coeurs amis, ni les persuasions raisonnables ne peuvent rien quand il s'agit de conscience! Vous ne voudrez pour vous-même d'un bonheur qui lui coûterait son repos, et qui par là même ne serait plus un bien pour aucun de vous. Pour vous avouer

---

<sup>141</sup> Храбрость и отвага (фр.).

franchement, je suis fâchée même de ces nouveaux efforts, de ces nouvelles espérances, qui ne servirent qu'à tourmenter votre coeur, – combien de fois faudra-t-il renoncer, se désespérer, revenir à se contenter de la simple belle vertu et puis se jeter de nouveau à corps perdu dans tous les orages d'une mer agitée, dont toutefois les vagues bienfaisantes vous portent contre votre gré sur le rivage? Pardon, mon cher ami, que Dieu nous garde ce que nous avons, qu'il vous conserve votre amie charmante, vos vertus, et qu'il remplisse votre Coeur de tout le bonheur de son amour. Abandon! Et foi! Et aimons sans mesure! À Dieu!<sup>142»</sup><sup>143</sup>.

Годы 1813–1814 были для В. А. Жуковского временем страшных терзаний и мучительных переходов от надежды на счастье к полному отчаянию. Он обращался за содействи-

---

<sup>142</sup> Но чистилище, по крайней мере, оставляет надежду на рай, если вы говорите мне о вашем счастье – вот я и на Елисейских полях. Впрочем, это чтобы обмануть самое себя, я принимаю свое волнение за предчувствие счастья, дорогой друг, я ни на что не надеюсь! Ни коронованные особы, ни дружеские сердца, ни уговоры разума не могут ничего в делах совести! Вы сами не захотите счастья, которое будет стоить ей покоя и которое уже поэтому не будет благом ни для кого из вас. Признаться откровенно, я даже недовольна этими новыми усилиями, этими новыми надеждами, которые только измучили ваше сердце – сколько раз еще надо будет отказываться, отчаиваться и опять довольствоваться простой и прекрасной добродетелью, а потом снова бросаться очертя голову во все бури взбаламученного моря, благодарные волны которого помимо нашей воли выносят вас на берег? Простите, мой дорогой друг, да сохранит нам Бог то, что мы имеем, сохранит вам вашу милую подругу, ваши добродетели и наполнит ваше сердце всем счастьем ее любви. Отдадимся течению! И будем верить! И любить без меры! С Богом! (*фр.*)

<sup>143</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 87–88.

ем к друзьям, к родным, к духовенству, чтобы разубедить Е. А. Протасову в ее взгляде на препятствия к браку. Ничего не помогало, и всякие новые попытки вызывали для Жуковского только новые тяжелые сцены объяснений с Екатериной Афанасьевной и увещеваний с ее стороны, заставлявшие страдать и ее, и его, и Марию Андреевну Протасову.

Вся напряженность момента прекрасно видна из переписки Жуковского. Так, 15 декабря 1813 года он пишет своей племяннице Авдотье Николаевне Арбеновой, дочери Натальи Афанасьевны Вельяминовой, урожденной Буниной: «Не могу изъяснить вам, моя милая и истинный друг, как мне жаль, что я – бедная, безденежная тварь; а каким бы было для меня наслаждением отдать вам последнюю копейку! Для чего черти нынче не то, что были в старину; я заложил бы первому черту, по примеру моего приятеля Громобоя, душу, взял бы у него неистощимый кошелек и посыпал бы из него червонцами во имя ваше до тех пор, пока бы вы не закричали: “Стой, довольно!” И уверен, что причина, для которой погубил бы душу, была бы спасением: кто жертвует собой для дружбы, тому никогда райская дверь закрыта не будет. Шутки в сторону. Вот вам положение дел моих *in naturalibus*. Капиталу у меня верного всего-навсего есть 2500, и те отданы. Есть у меня еще деревнишка; я ее продаю и должен получить за нее 12 000. Для чего продаю, спросите вы. Вот для чего. Тетушка Екатерина Афанасьевна продала деревню Меньково за 33 500, из коих 1000 уже употреблены на упла-

ту казенного долга; следовательно, ей остается 32 500; в то же время купила она другую деревню за 50 000; прибавьте к этому 1000 на пошленные расходы, на купчую, выйдет 51 000. Вот на ней долгу 8500; да еще собственного долгу имеет она 9000, всего 17 500. Это побудило меня разделаться со своею деревнею и отдать ей свои 12 000; почему видите, милая, что из этой суммы не могу вам дать ничего. Мне быть должною для нее нетяжело; напротив, всякому другому долг был бы для нее отяготителен. В иные минуты ничего бы так не желал, как всемогущества (безделица!). Но я из него сделал бы прекрасное употребление: я употребил бы его на счастье моих друзей. И как бы вы были счастливы тогда! Говорю это от полноты сердца и признаюсь с горем, воображая, как я беден и как ничтожны одни желания. А люблю вас более, нежели когда-нибудь, люблю как сестру, которой мое счастье дорого и, думая от вас, всегда сердце у меня разгорячается. Еще о многом надобно мне говорить с вами; я намерен вам открыть свою душу и, может быть, вам назначено иметь величайшее влияние на судьбу целой моей жизни. Теперь скажу только одно, что я, при всей возможности пользоваться истинными благами жизни, чувствую одну только тяготу жизни, что большая часть ее проходит для меня в желании ее прекращения; все бы могло для меня перемениться, и ничто не меняется. Все это для вас загадки или, может быть, полузагадки. Погодите, милый друг, милая сестра; я с вами объясняться теперь еще не могу, но ско-

ро получите от меня предлинное письмо. Уверен только в том, что в вашем сердце найду сильнейшего моего заступника; ваше сердце богато истинною чувствительностию и выше всех ничтожных предубеждений, разрушителей всякой чувствительности. En attendant<sup>144</sup>, любите меня. Об наших скажу, что они теперь все здоровы. Не пишут к вам, потому что теперь нет времени. Мы говорим об вас часто, и тот, кто говорит, у того сверкают глаза и рад бы прижать к сердцу тех, кто его слушает и понимает. Но прошу вас, милая, в ваших письмах к ним не упоминать об моем и не говорить со мною ни об каких объяснениях. То, что теперь я к вам писал, принадлежит нам одним. У меня еще сидит в голове и стихотворное к вам послание:

К Авдотье Николаевне Арбеновой

(племяннице)

«Рассудку глаз! другой воображенью!» —

Так пишет мне мой стародавний друг.

По совести, такому наставленью

Последовать я соглашусь не вдруг.

Не славно быть циклопом однооком!

Но почему ж славнее быть косым?

А на земле, где опытом жестоким

Мы учены лишь горестям одним,

Не лучший ли нам друг воображенье?

И не оно ль волшебным фонарем

---

<sup>144</sup> Ожидая (фр.).

Являет нам на плате роковым  
Блестящее блаженства привиденье?  
О друг мой! Ум всех радостей палач!  
Лишь горький сок дает сей грубый врач!  
Он бытие жестоко анатомит:  
Едва пленил мечты наружный свет,  
Уже злодей со внутренним знакомит...  
Призрак исчез – и грация – скелет.  
Оставим тем, кто благами богаты,  
Их обнажать, чтоб рок предупредить;  
Пускай спешат умом их истребить,  
Чтоб не скорбеть от горькой их утраты.  
Но у кого они наперечет,  
Тому совет: держись воображенья!  
Оно всегда в печальный жизни счет  
Веселые припишет заблужденья!

А мой султан – султанам образец!  
Не все его придворные поэты  
Награждены дипломами диеты  
Иль вервием... Для многих есть венец.  
Удавка тем, кто ищет славы низкой,  
Кто без заслуг, бескрылые, ползком,  
Вскарабкались к вершине Пинда склизкой —  
И давит Феб лавровым их венком.  
Пост не беда тому, кто пресыщенья  
Не попытал, родясь бедняком;  
Он с алчностью желаний незнаком.  
В поэте нет к излишнему стремленья!

Он не слуга блистательным мечтам!  
Он верный друг одним мечтам счастливым.  
Давно сказал мудрец еврейский нам:  
«Все суета!» Урок всем хлопотливым.  
И суета, мой друг, за суету —  
Я милую печальной предпочту:  
Под губельной Сатурновой косою  
Возможно ли нетленного искать?  
Оно нас ждет за дверью гробовую;  
А на земле всего верней мечтать.

Пленительно твое изображение!  
Ты мне судьбу завидную сулишь  
И скромное мое воображение  
Высокою надеждой пламенишь.  
Но жребий сей, прекрасный в отдаленье,  
Сравнится ль с тем, что вижу пред собой?  
Здесь мирный труд, свобода с тишиной,  
Посредственность, и круг друзей священный,  
И муза, вождь судьбы моей смиренной!  
Я не рожден, мой друг, под той звездой,  
Которая влечет во храм Фортуны;  
Мне тяжелы Ареевы перуны.  
Кого судьба для славы обрекла,  
Тому она с отважностью дала  
И быстроту, и пламенное рвенье,  
И дар: ловить летящее мгновенье,  
«Препятствия в удачу обращать  
И гибкостью упорство побеждать!»

Ему всегда в надежде исполнение,  
Но что же есть подобное во мне?  
И тени нет сих редких дарований!  
Полжизни я истратил в тишине;  
Застенчивость, умеренность желаний,  
Привычка жить всегда с одним собой,  
Доверчивость с беспечной простотой —  
Вот все, мой друг; увы, запас убогий!  
Пойду ли с ним той страшною дорогой,  
Где гибелью грозит нам каждый шаг?  
Кто чужд себе, себе тот первый враг!  
Не за своим он счастьем помчится,  
Но с собственным безумно разлучится.  
Нельзя искать с надеждой не обрести.  
И неуспех тяжеле неисканья.  
А мне на что все счастья даянья?  
С кем их делить? Кому их в дар принести?..

«Полезен будь!» – Так! польза – долг священный!  
Но мне твердит мой ум не ослепленный:  
Не зная звезд, брегов не покидай!  
И с сильным вслед, бессильный, не держай!  
Им круг большой, ты действуй в малом круге!  
Орел летит отважно в горный край!  
Пчела свой мед на скромном копит луге!  
И, не входя с моей судьбою в спор,  
Без ропота иду вослед за нею!  
Что отняла, о том не сожалею!  
Чужим добром не обольщаю взор.

Богач ищи богатства быть достойным,  
Я обращу на пользу дар певца —  
Кому дано бряцаньем лиры стройным  
Любовь к добру переливать в сердца,  
Тот на земле не тщетный обитатель.  
Но царь, судья, и воин, и писатель,  
Не равные степенями, равны  
В возвышенном к прекрасному стремленье.  
Всем на добро одни права даны!  
Мой друг, для всех одно здесь Провиденье!  
В очах сего незримого Судьи  
Мы можем все быть равных благ достойны;  
Среди земных превратностей спокойны  
И чистыми сберечь сердца свои!  
Я с целью сей, для всех единой в мире,  
Соединю мне сродный труд певца;  
Любить добро и петь его на лире —  
Вот все, мой друг! Да будет власть Творца!

*(16 июля 1812 года)*

...но стихи пишутся тогда только, когда на душе ясно; а на моей душе часто и очень часто сумерки. Поцелуйте за меня детей, а вихря-атамана дважды»<sup>145</sup>.

7 марта 1814 года Жуковский обращается из Муратова к Авдотье Николаевне Арбеневой и ее родной сестре Марье Николаевне Свечиной: «По несчастью, ваше письмо получил я поздно, милая Марья Николаевна (это письмо для вас

<sup>145</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 386.

обеих, мои добрые сестры). Я отвечал к вам на ваше последнее маленькое, которое написали вы вместе. Но это, на которое теперь отвечаю, получено мною гораздо после. О, почта, почта! Очень досадно мне такое замедление. Несмотря на то, что вы говорите мне в своем письме о том человеке<sup>146</sup>, которого не знаю и которого мнение должно быть так для меня решительно, я все боюсь. Боюсь его образа мыслей; боюсь предрассудка, которым могут быть определены эти мысли; боюсь влияния, которое могут они иметь на ваши собственные, которых согласие с моими так для меня важно, потому что на вас более, нежели на ком-нибудь, основаны мои надежды. По всему вижу, что никто не может принять с таким жаром мое счастье, наше счастье к сердцу, как вы. Что же, если и ваше мнение сделается ему противным? Для меня самого сомнения нет; но что же я? Бедный бессильный невольник, которому оставлена свобода только беситься на свой жребий. Все мое лучшее в чужих руках. Жаль очень, что ваше письмо получено поздно. Я бы вас предупредил и представил вам другой способ, такой же точно, как и ваш, но, мне кажется, более успешный. Впрочем, и теперь еще время не ушло. Вот в чем дело. Удивляюсь только, как это средство не пришло мне в голову гораздо прежде. Все бы, может быть, давно уже было решено. Я сам имею здесь челове-

---

<sup>146</sup> Здесь имеется в виду, вероятно, иеромонах Московского Новоспасского монастыря Филарет.

ка<sup>147</sup>, который с самой нежной молодости мною любим, который был благодетелем лучших моих друзей, уважавших его, как отца, и теперь к нему привязанных, который был бы другом лучших людей нашего времени, истинного христианина, но христианина не суевера. Я говорил с ним искренно, говорил с ним, как с отцом, – это имя останется ему теперь навсегда. Он меня одобрил, он меня благословил, он сказал мне, что на месте тетушки ни минуты не колебался бы сделать наше счастье. Такое одобрение меня ободрило. Тетушка его знает, имеет величайшую доверенность к его правилам и большое уважение к его характеру, – этому имею несомненное доказательство. Мнение такого человека было бы решительно, если бы оно было поддержано вашим, милая Авдотья Николаевна. Сколько для нее убеждения! С одной стороны, одобрение человека, которого христианство несомнительно; с другой стороны, ваше согласие и, что всего важнее – счастье ее детей, и с ним собственное ее счастье. Положим, что тот, с кем вы советовались, противоречит нам своим образом мыслей. Я со своей стороны представляю вам другого, которого правила с этой стороны тверды, которого жизнь и мнения всегда были основаны на чистом христианстве. Вот два разных мнения. Которое же из этих двух мнений справедливо? Но как же сомневаться? Конечно, то мнение, которое делает счастье, а не то, которое его разрушает. Здесь могу напомнить вам, милая Марья Николаевна, еще

---

<sup>147</sup> Иван Владимирович Лопухин.

о том, что я от вас же самих слышал. Ваш отец был истинный христианин, но какие же были его намерения? Кого готовил он вашим мужем? И что, если бы его планы исполнились, – не были бы вы сто раз счастливее? Нет, никогда не могу оскорбить Создателя своего мыслию, что то, что производит настоящее счастье – спокойствие души, привязанность к жизни, деятельность, даже веру, было противно его закону. Согласен: тетушка, с одной стороны, права. Не разбирая справедливости ее мнения, она слепо считала его соответствующим с законом Божиим и на нем основывалась. Теперь дело в том, чтобы решить, что важнее: мнение или счастье милых ей людей? Не должно ли это счастье быть побуждением, чтобы разобравшись: нет ли ошибки во мнении, ибо здесь ошибка ужасна. Можно ли иметь привязанность ко мнению, слепую и даже жестокую? Если это мнение уничтожает истинное счастье – не есть ли уже это почти доказательство, что оно ложное? Бояться смерти одного из нас, как наказания свыше за преступление! Кто дал ей право на такую боязнь, и на чем может быть она основана? Есть суеверы, которые от просыпанной солонки ожидают несчастья. Итак, мне стоит вообразить себе всякую нелепицу и на этой нелепице основывать свои поступки, и потом освятить их еще мнением закона. Где же понятие о Боге? Бояться нашей смерти и, чтобы избавиться себя от этого несчастья, самой готовить ее и давать преждевременную, настоящую смерть счастья, уничтожающую не физическую, но моральную жизнь! Прежде,

нежели она уверена, что Бог накажет преступление, она уже заступает его место, и наказание предупреждает преступление. А преступления нет и не будет.

“Если тебе надобно принести великую жертву, – пишете вы, – то принесешь ее Отцу Небесному”. Правда, принесу великую жертву, но совсем не Отцу Небесному; не хочу и оскорблять его такую жертвою. Она ему противна. Я в этом уверен. Буду уверен до конца жизни. Я принесу жертву какому-то чудовищу, которое называют Богом, а не моему Богу, который в моем сердце. Принесу жертву, как связанный человек, который соглашается, чтоб его зарезали и в глазах его зарезали лучшего его друга; соглашается, потому что не может перервать цепей своих. Тут нет покорности, и я не считаю такого счастья ни для кого нужным. Великодушия оставить всякое земное чувство, быть ей братом, быть тетушке сыном, как пишете вы, я иметь не могу, потому что здесь и иметь его будет не можно. Это могло бы сделаться прежде, если бы с одной стороны была доверенность; но я не имел и того, на что имел права. Теперь этого иметь и не надеюсь. Я не предполагаю себе никакого счастья возможным в доме тетушки. Уверен, что она была бы мною истинно счастлива с одним только условием; без этого условия мы должны навсегда расстаться, и на это я готов. Прошедшее есть для меня образец будущего: что было прежде, то будет и вперед. Как же снести такую жизнь? Прежде, по крайней мере, оставалась у меня надежда на перемену; она давала мне силу;

счастье будущее (и то счастье было бы истинным) украшало для меня все печальное в настоящем; но без этой надежды я не могу сносить того, что было сносить довольно легко. Быть только терпимым, иметь только приют от холоду и голоду там, где я хотел бы жить. Можно ли на это согласиться? Быть разрушителем спокойствия Маши, сносить подозрения и даже пренебрежения без всякой надежды, чтобы это было во что-нибудь вменено, – это все выше меня. Да это же было бы противно и счастью Маши. Ее спокойствие должно быть правилом моих поступков. Если не буду иметь возможности дать ей счастья, то, по крайней мере, хотя не отнимать того, что ей останется. Когда-нибудь и тетушка будет жалеть; но такое сожаление ужасно! Оно будет и позднее, и бесполезное.

12 февраля, день, в который я поехал к Ивану Владимировичу<sup>148</sup>, если уже надобно его назвать, был для меня одним из счастливейших в жизни. Неужели надежда, которая тогда наполнила мою душу, есть обман! Эта надежда была чистая; могу ли не почитать ее тайным голосом одобряющего Божества? Я в эту минуту живо и ясно чувствовал, что можно быть счастливым в жизни. Такого сильного чувства еще не помню. Я не молился, то есть никаким выражением не объяснял то, что стеснялось в моей душе; но то, что было в моей душе, – была клятва, которую давал и Богу удостоиться того счастья, которое мне в этой надежде изображалось. К этому

---

<sup>148</sup> Иван Владимирович Лопухин.

присоединялась для меня еще другая, лучшая мысль: я видел в будущем не одно счастье, не одно исполнение надежды; нет, я видел там самого себя, не таким, каков я теперь, но лучшим, новым, живым, а не мертвым. Вдали, как будто сквозь тень, представлялось мне совсем новое существование: спокойствие, душевная тишина, доверенность к Провидению, словом все, что составляет настоящее бытие человека. До этого времени, признаюсь, я замечал какую-то холодность к религии – предрассудки ее слишком для меня были убийственны; но в эту минуту, с живою надеждою, оживилось во мне живейшее чувство ее необходимости. О, как она нужна для того, чтобы счастье было просто и чисто! Я еще не могу себе представить этого счастья ясно; все это есть не иное что, как предчувствие чего-то необыкновенно приятного. Вижу тихую и вместе самую деятельную жизнь: тихую, потому что она ограничится самым тесным кругом, из которого ни шагу; деятельную, потому что вся обратится на себя. Столько чувств, которые во мне погибали даром, вдруг получили бы свободу! Вдруг иметь все святейшие связи, о которых я имел одно только понятие, но понятие грустное, потому что оно только давало мне чувствовать их недостаток; и, сверх всего этого, вера живая, идущая из сердца вера, не на словах, не на обрядах основанная, но вера, радость души, ее счастье, ее необходимая подпора, ее жизнь: чувство, доселе совсем почти незнакомое мне, убитое одиночеством, заглушенное непривязанностию к жизни. Что сравнить с та-

ким приобретением, и как не быть привязанным более чем к жизни к тому, кому был бы им обязан? А это – она! Верить вместе с нею благому Провидению и ему вручить с ней всю жизнь свою и все свои надежды! Повторяю опять: я чувствовал до сих пор одно только отдаление от религии; она казалась мне убийцею моей жизни; уважать ее значило для меня соглашаться с предрассудком, разрушителем моей надежды. Но теперь в каком новом свете она представляется моему сердцу и как считаю ее нужною для истинного счастья! Вместе с таким милым товарищем искать в вере прямого блага – это было бы для меня новою наукою, которой бы скоро я выучился, ибо она необходима для жизни. Вместе с нею готовиться здешнюю жизнь для будущей и в этом одном заключить свою жизнь: иметь одну эту цель, не заботясь о постороннем. Здесь, право, не вмешивается никакая мечтательность. Все это для меня в будущем, и все это возможно! Такое счастье было бы твердо, ибо оно было бы нашею пищею; мы имели бы его в глазах нашей матери, им счастливою. Такая жизнь, непонятная для большей части претендентов на счастье, была бы нашею без раздела, тихою, скрытою от ненужных свидетелей; она не призрак, но она только внутри сердца существовать может. И целая прошедшая жизнь меня к ней приготовила. Я даже рад бы был благодарить Провидение за все прошедшие потери и горести; они – достойная цель за такое счастье. Без них можно бы было его страшиться. Но оно будет купленное и дорого.

Я точно теперь похож на такого человека, который видел один только сон жизни, прекрасный, восхитительный, но знал, что это сон и что он видел его в горячке и им не наслаждается, и вдруг чувствует, что к нему приближается ангел, чтобы его разбудить, и говорит: проснись, чтобы жить. И он готов встать с полным понятием о жизни, с полною готовностью ею воспользоваться, как человек слепой от рождения, знавший только по слуху о красотах мира и вдруг получающий зрение. Для меня в жизни все еще будет новым, но я приготовлен к нему лишениями. Довольно!

Скажу вам в заключение, милые мои друзья: сделайте со своей стороны все, что можете, чтобы дать нам это счастье. В Иване Владимировиче будете иметь сильного помощника; только не откажите с ним вместе действовать. Я уверен, что все вместе вы перемените образ мыслей тетушки. Я уверен, что она сама обрадуется случаю от него отказаться. Сделаем все, что от нас зависит; остальное предоставим Провидению. Простите»<sup>149</sup>.

А вот еще одно муратовское послание В. А. Жуковскому, датированное 16 апреля 1814 года. «Здравствуйте, милая моя сестра, новая знакомка и старый друг, – обращается он к А. П. Киреевской. – Вы мне дали на дорогу добрый запас размышлений и чувств. Месяца за два я бы не вообразил, что мне будет можно поехать с грустью из Долбина в Муратово – бедные мы люди! Думаем о бессмертии, о горнем, отдален-

---

<sup>149</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 387–389.

ном счастье, а под носом не видим того, что может нас утешать и делать довольными. Наше путешествие сделало и моему сердцу большое добро: оно помогло ему найти находку – доверенность к дружбе, прежде смешанную с сомнением, потом почти совсем разрушенную, обратить в веру – не есть ли это находка? И не везде ли видно доброе Провидение? Отымая с одной стороны, оно всегда заменяет с другой. С полною доверенностью я сунулся было просить дружбы там, где было одно притворство, и меня встретило предательство со всем своим отвратительным безобразием – от вас не думал ничего требовать, и все само сделалось. Эта мена ничуть не убыточная, а вместе с нею и добрый урок.

Вот вам моя реляция. Поехав от вас, я думал ночевать в Черни. Но в Болхове узнал, что Плещеев<sup>150</sup>, мой добрый негр, который белых книг не страшится, приехал один из Ельца. Я скорей в Чернь, но его не застал – он уехал в Муратово. Переменив лошадей, скачу за ним. Ночь и страшная грязь не выпустили меня из Козловки, и я ночевал у Марии Николаевны<sup>151</sup>. Она сказала мне официальную новость: свадьба<sup>152</sup> назначена 2 июля, а после свадьбы едут в Дерпт. Я поглядел на своего спутника – вы его знаете. Больная, одер-

---

<sup>150</sup> Александр Алексеевич Плещеев.

<sup>151</sup> Марьи Николаевны Свечиной.

<sup>152</sup> Речь идет о свадьбе Александры Андреевны Протасовой и Александра Федоровича Воейкова, который тогда был назначен в дерптский университет профессором русской словесности. Свадьба состоялась позднее.

жимая подагрою надежда, которая, скрепя сердце, тащится за мною на костылях и часто отстает.

– Что скажешь, товарищ?

– Что сказать? Нам недолго таскаться вместе по белу свету. После второго июля – что бы ни было – мы расстанемся! Или покину тебя одного, и бреди, как хочешь! Или оставлю тебе свою сестрицу, которая лучше меня, и гораздо лучше (но только для добрых) – исполнение. С нею дурной человек становится хуже, а добрый гораздо добрее. Она приготовит тебя к тому обетованному краю,

Где вера не нужна, где места нет надежде,  
Где царство вечное одной любви святой!

– А если останусь один?

– Тогда готовься, как умеешь, сам к переселению в этот край! Но едва ли удастся получить пропускной билет!

Разве чудо путь укажет  
В сей прелестный край чудес!<sup>153</sup>

– Но ждать чуда? Кто его дождется!

– И я тоже думаю!

– Что же делать?

– Не знаю! А для меня верно только то, что мы расстанемся!

---

<sup>153</sup> Строки из перевода В. А. Жуковского стихотворения Шиллера «Желание».

Вот вам слово в слово весь наш разговор.

Поутру рано приезжаю. Плещеев здесь по делам. У них все идет лучше: Вадковская<sup>154</sup> стала поздоровее, и весной ее перевезут в Орел. А сами Плещеевы возвратятся в Чернь недели через две. Я принят был по-обыкновенному, но, давая мне руку, смотрели на Плещеева. А мой подагрик шепнул мне на ухо: “Терпи! Тебя будут любить, когда получишь свободу быть тем, каким быть хочешь и можешь”. И сердце скрепилось. Но было ли оно довольно так, как бывает довольным у человека, возвратившегося в тот круг, где его счастье, где его настоящая жизнь?.. Нет! Нет! Сиротство и одиночество ужасно в виду счастья и счастливых! Гораздо легче быть одиноким в лесу с зверями, в тюрьме с цепями, нежели подле той милой семьи, в которую хотел бы броситься и из которой тебя выбрасывают. Благодаря моему подагрику, это все еще для меня сносно. Но когда он от меня отковыляет в дальнюю, неизвестную сторону, тогда быть совсем выброшенным будет даже утешительно – можно разбиться вдребезги. Плещеев уехал во втором часу. У Воейкова заболела голова – его положили в кабинете: сами подкладывали ему под ноги, под голову подушки; я сидел спичкою, и на меня поглядывали с торжествующим, радостным видом – в самом деле торжество и радость. Я посматривал исподлобья: не найду ли где в углу христианской любви, внушающей сожаление, пощаду, кротость. Нет! Одно холодное же-

---

<sup>154</sup> Речь идет о сестре жены А. А. Плещеева Екатерине Ивановне Вадковской.

стокосердие в монашеской рясе с кровавою надписью на лбу “должность” (выправленную весьма неискусно из слова “суеверие”) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами. И мне стало страшно, и я ушел к себе отведать ничтожества, то есть как-нибудь заснуть – и заснул, и проснулся, к утешению, к вашей записке, которая и всегда бы меня обрадовала, а тут утешила... Голос друга послышался в пустыне. В ней стоит: “Милый брат мой!” Это слово имеет совсем иной смысл в минуту тяжелого горя. Да это же слово прилетело с родины, где было много моего, собственного! Было и нет.

Опять слова два об вашей записке! “Ce voyage a fait tant de bien à mon coeur”<sup>155</sup>, – пишете вы! И моему сердцу это путешествие большой благодетель. Нельзя изъяснить, что такое значит доверенность к искреннему участию, к дружескому сожалению. Я не верил вашей привязанности к Маше<sup>156</sup>, а теперь ей верю. Так говорить об ней, как мы говорили, нельзя, не любивши ее нежно. Теперь знаю, что вы будете понимать друг друга не одним молчанием, которое иногда может быть и непонятно. А ей так часто бывает нужно говорить без закрышки. Весь век таиться в самой себе ужасно. Свобода – жизнь души, а тюрьма душевная гораздо страшнее той, в которой мы можем играть хотя цепями.

Возвратимся к своей реляции. Еще очень много осталось

---

<sup>155</sup> Это путешествие принесло столько добра моему сердцу (*фр.*).

<sup>156</sup> Марье Андреевне Протасовой.

вам сказать. После обеда приехала Марья Николаевна, а ввечеру получены три письма от Авдотьи Николаевны<sup>157</sup>, и между ними одно большое, в котором она рассказывает тетушке о моих к ней письмах, об угрозах Филарета<sup>158</sup>, об Иване Владимировиче<sup>159</sup> (которого производит в мартинисты). Я не знаю его содержания, рассказываю вам, что слышал. Но подивитесь же. Мне об этом письме ни слова, даже я не заметил почти никакой к себе перемены. И, по-видимому, оно ничего слишком дурного не произвело. Итак, если оно не испортило, то поправило, потому что приготовило. Был после разговор об Иване Владимировиче. Тетушка сказала, что ей хотелось бы с ним познакомиться! Познакомиться тогда, когда знает, что он мое мнение оправдывает. Это весьма важно. Милая, может быть, он подействует на ее мысли. И тут Провидение! Оно назначило, может быть, вашему Ванечке<sup>160</sup> быть моим ангелом-хранителем. Родясь на свет, он принес, может быть, мое счастье: он своею жизнью сделал между нами связь, которая может сделаться причиною и здешнего, и будущего моего счастья – я их не разлучаю! Одно необходимое следствие другого. Но подумайте ж о поступке Авдотьи Николаевны. Пока дружба было одно слово, которое стоило

---

<sup>157</sup> Авдотьи Николаевны Арбеновой.

<sup>158</sup> Здесь имеется в виду, вероятно, иеромонах Московского Новоспасского монастыря Филарет.

<sup>159</sup> Иван Владимирович Лопухин.

<sup>160</sup> Речь идет о сыне А. П. Киреевской – Иване.

только произнести или написать и которое ни к чему не обязывало, до тех пор она ею меня прельщала! Понадобилось сделать опыт – прощай, дружба! Я ведь не требовал от нее нарушения правил – я только себя ей вверил! В первую минуту показала она живое участие. Вдруг все переменялось. И вместо того, чтобы мне прямо сказать свои мысли, она с каким-то каменным равнодушием не отвечала ни слова ни на одно из писем моих и прямо все открыла тетушке. Я не мог требовать от нее того, что, по ее образу мыслей, могло казаться ей или непозволенным, или невозможным, но имел право требовать прямоты, участия, внимания, потому что меня приманили дружбою на доверенность. И эти люди называют себя христианами. Какое же понятие имеют они о самых простых должностях, предписываемых совестью и религиею, которая есть та же совесть, но только более возвышенная и определенная? Что это за религия, которая учит предательству и вымораживает из души всякое страдание! Эти люди, эгоисты под святым именем христиан, смотрят на людей свысока: одним несчастным более или менее в порядке создания! Какое дело! Режь во имя Бога и будь спокоен! Но дело не об том! Я презираю ее от всей души и с тою ложною религиею, которую она так пышно выдает за истинную! Жаль только, что обманулся! Ее чувствительность есть не иное что, как искра, которая таится в кремне, иногда из него выскакивает при сильном ударе, но всегда оставляет его и холодным, и жестким. Еще не все испорчено. Вам

много можно сделать. Поговорите с Марьей Алексеевной <sup>161</sup>. Теперь ее мнение великий сделало бы перевес. Тетушка знает, что Иван Владимирович со мною согласен. Машино чувство ей также известно, хотя она и хочет себя уверить, что оно не существует. Если можно, упросите Марью Алексеевну написать к ней. Только бы мнение ее было согласно с нашим – писать и сказать его искренно не будет стоить для нее никакого усилия. Боже мой! Она за нас молилась! Неужели человеку будет сказать ей труднее то, что она говорит Богу! Дело идет о целой жизни двух добрых тварей, – она может им дать на всю жизнь самое важное, благодарное об ней воспоминание! Быть причиною счастья – какое святое дело для христианина.

Я думал писать к ней сам, но считаю это неприличным! Не имею на это права. Но посылаю вам то письмо, которое я давно приготовил тетушке – в той мысли, что она захочет со мною объясниться. Объяснения не было. Но я все-таки отдам его ей непременно, когда будет надобно. Покажите его Марии Алексеевне. Если сочтете нужным, покажите и это. Еще посылаю вам тот листок <sup>162</sup>, который я написал тотчас по возвращении моем от Ивана Владимировича, говея, я хотел показать вам в Долбине, но не нашел. Все это вы мне возвратите.

Я уверен, что Марья Алексеевна много для нас сделать

---

<sup>161</sup> Марьей Алексеевной Черкасовой.

<sup>162</sup> Очевидно, выписка из дневника.

может. Скажите ей, что, узнавши о ее участии, о том, что она за меня молилась, я привязался к ней, право, сыновнею благодарностию. Такую нежную доброту в редком сердце встретишь. Она сама по себе уже есть благодеяние»<sup>163</sup>.

Во второй половине мая 1814 года Жуковский пишет из Черни А. И. Тургеневу: «Я получил твое письмо, бесценный друг. Оно утешит всякое горе<sup>164</sup>. Иметь такого человека, как ты, своим другом есть богатство, неотъемлемое никакою судьбою. Одна только просьба: не упреди! Спешу ответить тебе в немногих словах. Ты, верно, уже получил мое письмо, посланное с эстафетой, в котором прошу о письме к Досифею<sup>165</sup>. И теперь повторяю ту же просьбу. Но не знаю, будет ли какая-нибудь польза, захотят ли с ним советоваться и примут ли его совет. Не один фанатизм против меня вооружается. Есть много нечувствительности и упрямства<sup>166</sup>. Если нельзя дойти до сердца, то рассудок убедить трудно; а при слабом, нерешительном характере едва ли и возможно. Я сам с твоим мнением согласен: монахов вводить в это дело опасно. Но если уже нельзя будет избежать от них, то хотя

---

<sup>163</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 89–94.

<sup>164</sup> По свидетельству биографа В. А. Жуковского Карла Карловича Зейдлица, А. И. Тургенев сообщил Василию Андреевичу о письме митрополита Филарета, в котором святитель говорил о том, что к женитьбе Жуковского на М. А. Протасовой нет препятствий.

<sup>165</sup> К епископу орловскому Досифею (Ильину).

<sup>166</sup> Говорится о Е. А. Протасовой.

приготовленных монахов, а не простых, покрытых непроницаемой рясою, заставить действовать. Итак, пиши к Досифею. Напиши об нем и к Ивану Владимировичу<sup>167</sup>, который твое письмо подкрепит в случае нужды своим. Августина<sup>168</sup> оставь в покое. Арбенева<sup>169</sup> свое сделала: написала письмо к матери и много испортила. Теперь вся надежда на Воейкова<sup>170</sup>, и, если захотят советоваться, на Досифея. Но я не думаю, чтобы это возможно было устроить. В июле Воейкова свадьба. В сентябре или октябре поедут в Дерпт. Когда ж к Досифею в Севск? Мы расстанемся, – и всему конец. Особенно, если нельзя будет избавиться от 6-летней обязанности. Но почему бы нельзя? Одни воспитанные на казенный кошт принимают такую обязанность. Воейков дворянин. Неужели университет может уничтожить право дворянства, дающее полную свободу входить в службу и выходить из нее, как захочешь? Разве не могут случиться такие обстоятельства по делам его, которые необходимо потребуют отставки? Как поручиться за себя за шесть лет? Похлопочи ради Бога, чтобы этого не было.

Ты велишь мне писать. Друг бесценный, душа воспламеняется при всем великом, что происходит у нас перед глазами. Сердце жметя от восторга при воспоминании о нашем

---

<sup>167</sup> Иван Владимирович Лопухин.

<sup>168</sup> Епископа дмитровского Августина (Виноградского).

<sup>169</sup> Авдотья Николаевна Арбенева.

<sup>170</sup> Александра Федоровича Воейкова.

государе и той божественной роли, которую он играет теперь в виду целого света. Никогда Россия не была столь высоко возведена. Какое восхитительное величие! Но, как нарочно, теперь и засуха в воображении. Мысли пробуждаются в голове, но, взявшись за перо, чувствую, что в нем паралич, и остается только жалеть о самом себе. Не умею тебе описать своего положения. Это не горе – нет! И горе есть жизнь, – а какая-то мертвая сухость. Все кажется пустым, а жизнь всего пустее. Такое состояние хуже смерти, и разве одно только Наполеоново может быть еще его хуже. Мне пришла, однако, прекрасная мысль, но эта мысль – мечта. Я воображаю, что ты можешь сюда приехать к свадьбе Воейкова (2 июля). Но может ли это сбыться? В теперешних обстоятельствах ты должен быть на виду. Я о себе теперь не думаю, и на что думать? Пускай все случится само собою. Для будущего планов нет. Будущее само покажет, чему быть должно. Мое дело предать себя с совершенным равнодушием бегущему потоку. Иногда (то есть, всегда) досадно, что этот поток так медлителен. Перечитай мое послание к тебе:

Друг, отчего печален голос твой?  
Ответствуй, брат, реши мое сомненье.  
Иль он твоей судьбы изображение?  
Иль счастье простилось и с тобой?  
С стеснением письмо твое читаю;  
Увы! на нем уныния печать;  
Чего не смел ты ясно мне сказать,

То все, мой друг, я чувством понимаю.  
Так, и на твой досталось удел;  
Разрушен мир фантазии прелестной;  
Ты в наготе, друг милый, жизнь узрел;  
Что в бездне сей таилось, все известно —  
И для тебя уж здесь обмана нет.  
И, испытав, сколь сей изменчив свет,  
С пленительным простившись ожиданьем,  
На прошлы дни ты обращаешь взгляд  
И без надежд живешь воспоминаньем.

О! не бывать минувшему назад!  
Сколь весело промчались те годы,  
Когда мы все, товарищи-друзья,  
Делили жизнь на лоне у Свободы!  
Беспечные, мы в чувстве бытия,  
Что было, есть и будет, заключали,  
Грядущее надеждой украшали —  
И радостным оно являлось нам.  
Где время то, когда по вечерам  
В веселый круг нас музы собирали?  
Нет и следов; исчезло все – и сад,  
И ветхий дом, где мы в осенний хлад  
Святой союз любви торжествовали  
И звоном чаш шум ветров заглушали.  
Где время то, когда наш милый брат  
Был с нами, был всех радостей душою?  
Не он ли нас приятной остротою  
И нежностью сердечной привлекал?

Не он ли нас тесней соединял?  
Сколь был он прост, нескрытен в разговоре!  
Как для друзей всю душу обнажал!  
Как взор его во глубь сердец вникал!  
Высокий дух пылал в сем быстром взоре.  
Бывало, он, с отцом рука с рукой,  
Входил в наш круг – и радость с ним являлась,  
Старик при нем был юноша живой,  
Его седин свобода не чуждалась...  
О нет! он был милейший нам собрат;  
Он отдыхал от жизни между нами,  
От сердца дар его был каждый взгляд,  
И он друзей не рознил с сыновьями...  
Увы! их нет... мы ж каждый по тропам  
Незнаемым за счастьем полетели,  
Нам прошептал какой-то голос: там!  
Но что? и где? и кто вожатый к цели?  
Вдали сиял пленительный призрак —  
Нас тайное к нему стремленье мчало;  
Но опыт вдруг накинуд покрывало  
На нашу даль – и там один лишь мрак.  
И, верою к грядущему убоги,  
Задумчиво глядим с полудороги  
На спутников, оставших назади,  
На милую Фантазию с мечтами...  
Изменница! навек простилась с нами,  
А все еще твердит свое: иди!  
Куда идти? что ждет нас в отдаленье?  
Чему еще на свете веру дать?

И можно ль, друг, желание питать,  
Когда для нас столь бедно исполненье?  
Мы разными дорогами пошли:  
Но что ж, куда они нас привели?  
Всё к одному, что счастье – заблужденье.  
Сравни, сравни себя с самим собой:  
Где прежний ты, цветущий, жизни полный?  
Бывало, все – и солнце за горой,  
И запах лип, и чуть шумящи волны,  
И шорох нив, струимых ветерком,  
Неси ж туда, где наш отец и брат  
Спокойным сном в приюте гроба спят,  
Венки из роз, вино и ароматы;  
Воздвигнем, друг, там памятник простой  
Их бытия... и скорбной нашей траты.  
Один исчез из области земной  
В объятиях веселая Надежды.  
Увы! он зрел лишь юный жизни цвет;  
С усилием его смыкались вежды;  
Он сетовал, навек теряя свет —  
Где милого столь много оставалось, —  
Что бытие так рано прекращалось.  
Но он и в гроб Мечтой сопровождается.  
Другой... старик... сколь был он изумлен  
Тогда, как смерть, ошибкою ужасной,  
Не над его одряхшей головой,  
Над юностью обрушилась прекрасной!  
Он не роптал: но с тихою тоской  
Смотрел на праг покоя и могилы —

Увы! там ждал его сопутник милый;  
Он мыслию, безмолвный пред судьбой,  
Взывал к Творцу: да пройдет чаша мимо!  
Она прошла... и мы в сей край незримый  
Летим душой за милыми вослед;  
Но к нам от них желанной вести нет;  
Лишь тайное живет в нас ожиданье...  
Когда ж? когда?.. Друг милый, упованье!  
Гробами их рубеж означен тот,  
За коим нас свободы гений ждет,  
С спокойствием, бесчувствием, забвеньем.  
Пришед туда, о друг, с каким презреньем  
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет;  
Где милое один минутный цвет;  
Где доброму следов ко счастью нет;  
Где мнение над совестью властитель;  
Где все, мой друг, иль жертва, иль губитель!  
Дай руку, брат! как знать, куда наш путь  
Нас приведет, и скоро ль он свершится,  
И что еще во мгле судьбы таится —  
Но дружба нам звездой отрады будь;  
О прочем здесь останемся беспечны;  
Нам счастья нет: зато и мы – не вечны.

*(1813 год)*

...теперь более, нежели когда-нибудь, оно выражает мое состояние.

Не упрекай меня, брат! При всем этом мысль о тебе есть лучшее мое услаждение:

В день счастья вспомнить о тебе. —  
На что такое, друг, желанье?  
На что нам поверять судьбе  
Священное воспоминанье?  
Когда б любовь к тебе моя  
Моим лишь счастьем измерялась  
И им лишь в сердце оживлялась,  
Сколь беден ею был бы я!  
Нет, нет, мой брат, мой друг-хранитель,  
Воспоминанием иным  
Плачу тебе! я вечно с ним;  
Оно мой вечный утешитель!  
Во дни печали – ты со мной;  
И, ободряемый тобою,  
Еще я жизнь не презираю;  
О, что бы ни было... я знаю,  
Где мне прибежище обрести,  
И где любовь не изменится,  
И где нежнейшее хранится  
Участие в судьбе моей.  
Дождусь иль нет счастливых дней,  
О том, мой милый друг, ни слова!  
Каким бы я ни шел путем,  
Все ты мне спутником-вождем,  
Со мной до камня гробового,  
Не изменяясь, иди;  
Одно мольба: не упреди!

*(26 марта 1814 года)*

Прошу только тебя за меня думать, за меня делать планы для будущего. Мое дело быть покорным.

Сажусь писать некоторые нужные примечания к моим сочинениям, чтобы после тебе их доставить. Сам размысли, как с ними поступить: продать ли, напечатать ли на свой кошт. Знай только то, что у меня нет денег, и что единственный доход, какой я теперь имею в виду, есть их продажа...

Письма ко мне и к Воейкову адресуй в Болхов на имя Александра Алексеевича Плещеева. Это необходимо нужно для того, чтобы они не могли попасть в заповеданные руки.

Я, однако, несмотря на свой паралич, подумываю иногда о послании к нашему Марку Аврелию<sup>171</sup>. Какой прелестный характер! И какие страницы для истории 1814 года приготовил! О, милая Русь! Как душа возвышается при имени русского! И как не обожать того, кто нас так возвеличил? Брат, брат! Если бы счастье, что бы я написал! Но как же велеть душе летать, когда она вязнет в тине? Поэзия есть счастье, то есть тишина души, надежда в будущем, наслаждение в настоящем. Как иметь стихотворные мысли, когда все это погибло? Стихотворная мысль то же, что день весенний: он радуется одну только живую душу, для которой в жизни есть прелесть.

Прости, бесценный друг! Думай за меня о моем настоя-

---

<sup>171</sup> Императору Александру I.

щем и будущем.

Я сказал в последнем моем письме, что профессорство Воейкова мне повредит. Нет, это – вздор! И сам не понимаю, почему это сказал. Смотри, и ты не вооружись против профессора. Если кто может мне сделать добро, так, конечно, Воейков...»<sup>172</sup>.

В письмах к Авдотье Петровне Киреевской и Александру Ивановичу Тургеневу Жуковский упоминает об Александре Федоровиче Воейкове, своем приятеле еще со времен Благородного пансиона. Василий Андреевич относился к Воейкову самым дружеским образом и сам ввел его в семью Протасовых, в которой Александр Федорович вскоре снискал не только уважение и авторитет, но и занял положение жениха Александры Андреевны, получив согласие Екатерины Афанасьевны.

Благоволение со стороны Е. А. Протасовой к другу сулило для Жуковского, как казалось ему в то время, новые возможности. Василий Андреевич воспрянул духом и наметил детальный план совместных действий. Обратимся к его дневнику за 1814 год:

*«Мне с Воейковым:*

Нам жить вместе. Следовательно, иметь цель одну: общее счастье, общую славу. Для одного мысль, что мы этого желаем искренно. Иметь в виду сохранить уважение друг к другу. Помнить во всякое время друг о друге. Говорить все пря-

---

<sup>172</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 451–452.

мо и без закрывки. Поставить за правило, если один заговорил, другому молчать и не отвечать до тех пор, пока не придешь в спокойное состояние. Воейкову думать, что я об Саше также забочусь, как и он обо мне. Мне думать, что Воейков тоже обо мне. Ему мне поверять все мысли насчет Саши. Не таить друг от друга ничего дурного; прошлое заглазить; будущее сделать прекрасным вместе. Воейкову быть искренним на мой счет с Екатериной Афанасьевной. Говорить и обо мне, и об Маше, как он думает. Ручаться, что мы против ее воли ничего не пожелаем; но уверить, что она лишает нас счастья без причины.

*Воейкову с Екатериною Афанасьевною:*

Поставить за правило угождать во всем – благодарность. Грубость. Средство для минут неудовольствия: вспоминать о Саше; молчать, когда не в состоянии не сказать грубости; уступать или говорить свое мнение с ласкою. Быть самому искреннему. Сказать наперед то, что хочешь узнать, не ожидая, чтобы сказали. Главное правило: любить, несмотря на неприятности, любить из благодарности, любить для Саши. Быть терпеливым в той мысли, что спасает жизнь жены, делает счастье друзей и ее самое делает счастливою. За все награда – уважение и спокойствие четырех человек. Не забывать, что во всякую минуту есть прибежище – жена.

*Мне с Екатериною Афанасьевною:*

Против холодности вооружиться терпением. Отвечать молчанием, никогда грубостью. Вспоминать о Маше. Не про-

тиворечить в мнении. Искать прибежища в работе. Мысль, что мы вместе: что каждый день будет так. Говорить искренно все. Стараться занимать. Мысль, что она не может быть свободна, что это только временем. Довести ее до этого. Средства. Мысль, что ее надобно сделать искреннею. Средства. Мысль, что она Машина мать; для этого все сносить. Воейкову наблюдать. Показывать как можно более внимания ко мне. Саше быть свободною со мною насчет Маши.

*Маше с Екатериною Афанасьевною:*

Быть как можно свободнее на мой счет. Расспросы. Говорить всегда просто свое мнение. Огорчения сносить легче. Мысль, что мы вместе. Переносить их в общий комитет.

*Маше со мною:*

Наша цель быть столько счастливыми вместе, сколько возможно. Следовательно, любить. Пользоваться жизнью каждый особенно. Помогать друг другу быть лучшим. Мне все хорошее для Маши; Маше для меня. Любить – значит теперь для нас иметь согласие в чувствах и мыслях; но помнить, что мы дали слово. С этим обещанием соглашать свои поступки. Отличие позволенного от непозволенного. Позволенное – все ласки сестры и брата. Непозволенное – все то, что нужно скрывать. Довольствоваться тем, что мы не разлучены; что мы уверены друг в друге. Не желать для настоящего ничего более. О будущем не заботиться и его стоять. Заниматься вместе с тою же силою, с какою бы и розно занимались. Стоять любви маменьки. Неприятности облегчать

терпением. Мне надеяться на утешение Маши, Маше на мое. Быть сколько возможно свободным при маменьке, осторожным при других. Во дни непременно одну минуту вместе 4-м, дабы пользоваться совершенною свободою, но не одним. Это принять к исполнению. Доверенность. Жаловаться друг другу только друг на друга. Что ни делать, иметь в виду друг друга...

*Маше:*

Читать. Замечать в книгах особенным знаком те места, которые... друзья. Выписывать самые лучшие места. Журнал собственный. Места из Священного Писания. Собственные мысли и замечания на других.

*Мне:*

Проза – все писать такое, что было бы достойно. Стихи – слава ей. Священное Писание – моя исповедь. Прививки – посвятить ей. Журнал собственный. Жить как пишешь. Искренность насчет дурного. Не быть пристрастным в журнале. Ревность. С маменькой насчет замужества. Об этом написать для себя и при случае отдать ей. Режим: взять у Фора.

*Маше с Воейковым:*

Быть искренною в желании ему счастья; готовою все сделать, что потребует минута. На этом чувстве основываться постоянно. В минуты бурные молчание. Зато в минуты тихие правда и ясность дружбы. Сия истинная дружеская искренность будет связью.

*Воейкову и Саше:*

Как скажет любовь. Но вот советы дружбы: Воейкову не забывать о здоровье, следовательно, горячность более всего. Вспыльчивость произведет истерику. У Воейкова пройдет, но след останется, и здоровье начнет погибать. Следовательно, беречь Сашу, а с Екатериною Афанасьевною: избегать случая сердить; гораздо легче уступать, нежели быть причиною расстройства. Все, что может с одной стороны стоить тяжелой жертвы, наперед от того отказаться. В ссорах друг с другом принимать посредников только меня и Машу. Посторонние чтоб и не видали. Все прочее сами знаете. Саше обдумывать все, что принадлежит к званию матери. Об этом вместе с Машею – главное занятие обеих, и я помощник. Чтение и опыт»<sup>173</sup>.

В очередной раз все оказалось для В. А. Жуковского лишь призрачным мечтанием. Глубже, чем ранее, чувствовал он свое собственное неравное положение с другими членами семьи. К пренебрежению со стороны Е. А. Протасовой добавилось прямое издевательство над Жуковским со стороны А. Ф. Воейкова, свадьба которого с Александрой Андреевной состоялась 14 июля 1814 года. Положение Василия Андреевича становилось нестерпимым, и он оставил Муратово.

«Надобно еще начать маленькою побранкою, – пишет В. А. Жуковский 31 июля 1814 года из Черни А. П. Киреевской в Муратово, где она оставалась с сестрами после свадьбы А.

---

<sup>173</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. С. 145–146.

Ф. Воейкова и А. А. Протасовой. – Она спокойна! Я не буду нарушителем ее спокойствия! Что если бы это было сказано в том смысле, который вы этому дали, и с тою досадою, которую при этом вообразили! Какое было бы прелестное чувство в душе моей! Я не буду нарушителем ее спокойствия – не значит, чтобы воспоминание обо мне было для нее несчастием. Это, напротив, представилось мне как единственным утешением в несчастии быть розно. Жить вместе без доверенности, дружбы и уважения не значит ли нарушать ее спокойствие! Не видать меня – значит не огорчаться ни холодною ко мне, ни несправедливостью и свободно верить моему сердцу. Не утешает ли это, не заставляет ли смотреть приятными глазами на разлуку и не скажешь ли когда с отрадою: она спокойна! Но позвольте ж сердцу сжиматься и при этом слове. Боже мой! О каком же счастье и жалеть, как не о счастье давать спокойствие самому милому человеку. Можно ли без стеснения души это счастье уступить другому? А все бы доверенность поправила, – но полно ссориться! Имя шептуна принадлежит вам по праву! Если бы мой тайный шептун мог быть слышен, то я никакого другого языка не дал бы ему, как вашего. Вы, милая, умеете задевать за сердце! Может быть, оттого, что не вы с пером спрашиваетесь, а оно с вами. Подумаем же вместе, какую бы одну фразу выбрать покороче, но такую, чтобы можно было ее растянуть на всю жизнь. Да чего долго думать? Perseverance<sup>174</sup>, да

---

<sup>174</sup> Постоянство (*фр.*).

и только. Я переведу вам это словечко на русский, на свой язык, и вы тогда ясно увидите, что оно может быть на целую жизнь растянуто. Что ни есть доброго в настоящем и в будущем, все можно прицепить к этому слову. Ваша правда, есть прекрасные минуты в жизни, такие, которые оставляют прекрасный свет в душе! Их можно сравнить с сиянием молнии, которая осветит мрак и исчезнет, после нее останется прежняя темнота, но уже эта темнота не страшна: если не видишь, то, по крайней мере, знаешь, где дорога – все то же, что вера! Идешь вперед – до первой молнии, которая возобновит ослабшее воспоминание и оживит бодрость. А есть ли буря без благодетельных освещающих молний? В эти прекрасные минуты несчастье хотя и не переменяет своего имени, но дает душе необыкновенную возвышенность! Ни в какое другое время так не можешь себя чувствовать, так быть близким к Творцу и Провидению! Нет! Не надобно надевать маски на лицо несчастья – гораздо лучше смотреть ему в глаза и не робеть. Иначе отымешь все очарование у слова “Провидение”! Избави Бог только от минут равнодушия, от минут душевного паралича, когда ничто не трогает и жизнь представляется пустою, ничтожною, – тогда и сам для себя становишься противным. Но такие минуты со мною нынче реже и давно меня не посещают. Моя жизнь не может быть скучною (скука для пустого сердца), она не должна быть тяжелою – чувствовать тягость жизни значит желать, чтобы она кончилась! А как позволить такой мысли коснуться души – нет!

Милая, я смерти боюсь не так, как чего-то противного, но как опасного обольстителя, который может выгнать из души все то, что ей дорого. Скажем просто: будем тянуть жизнь без счастья в надежде, что ею дойдем до прекрасной, свободной, тихой. Аминь!

Обещание держать верно! Писать и говорить все, что взойдет в мысль, хотя бы *попасть и в утки!* Хорошо бы вы сделали, когда бы приехали, то есть я не знаю, хорошо ли бы это было. Не могу решиться ни на нет, ни на да.

Вы закричали бы от всего сердца: *возвратись!* А между тем запрещаете мне писать к тетушке, и вы, и Аннета<sup>175</sup>, чтобы избавить и себя, и ее от нового горя. Друзья! Но я для того и пишу, чтобы вырвать из сердца и это “возвратись!” Если не откликается сердце, то я останусь там, где теперь. Уезжать уже нет нужды – я уехал. Я желал бы, чтобы вы прочитали то, что я писал к тетушке. Ей легко сделать нас счастливыми, не жертвуя даже ничем, – дать волю только сердцу. Но, может быть, не уехав, я этого ни написать, ни даже почувствовать не был бы в состоянии. Я здесь один – сужу обо всем по себе! Что мне возможно, то кажется мне возможным и ей. Я ничего от нее не требую, кроме того только, на что имею право (если она *NB* искренно сказала, что никто не умеет ее любить так, как я). Верно ни с кем из вас я не говорил так об Маше, как с нею в этом письме, и ни с кем бы я не был так искренним, как с нею, если бы она сама того могла хотеть, если бы

---

<sup>175</sup> Анна Петровна Юшкова.

могла дать свободу нашим чувствам, если бы вокруг нее не были мы все одиноки и не должны были не чувствовать, а только применяться к ее чувствам. Я требую от нее семьи, в которой бы я был уважаем, любим и мог свободно любить Машу в глазах ее матери, – за такое счастье чем не пожертвуешь! Но, вероятно, я требую невозможного. В две минуты характер не переменится. По крайней мере, благодаря опыту, я не прилип к надежде, и неудача ничего для меня не переменит. Но можно ли было не написать, не сказать все то искренно? Можно ли было спокойно отойти от того, что было главным счастьем жизни столько лет? Но, признаюсь вам, написав это письмо, я начал бояться, чтобы она не согласилась! Можно ли желать возвратиться на старое? Что, если одна минута слабости даст это согласие и ничто им не переменится! Избави Бог! Рай так легко сделать. О! Я чувствую, как бы это было легко! Но что, если вместо этого рая опять попаду в прежний ад! Одним словом, это одно желание лучшего, но его неисполнение ничего для меня не испортит! Хуже быть не может, нового горя не будет – останусь при своем! А это мое свято, и много, много хорошего в жизни есть и без счастья! Одна только фраза: *perseverance*. Милая Анюта, ваше благословение во всем его смысле я принял. Только не желайте включить в этот смысл перемену! Это не будет для меня благословением. Пускай Провидение даст мне только силу жить по своим чувствам – вот и вся судьба! Переменять их не нужно: это значило бы отнять у меня лучшее.

От вас человек приехал, а все не написали мне ни строчки – не стыдно ли? Это, кажется, так легко! А я целый день ждал.

Знаете ли? Я жду с нетерпением, когда я буду с вами вместе, на своей родине! Когда ж это будет! Здесь шумно. Но меня беспокоит много одна мысль! Не будете ли вы бояться *le qu'en dira-t-on*<sup>176</sup>? Скажите искренно»<sup>177</sup>.

2 августа Жуковский делает к письму приписку: «Я не послал этой записочки вчера для того, что вообразил, что вас никого нет дома. По числам можете видеть, что она писана несколько дней. Мне лениться писать к вам не можно, но я давно не имею от вас ни слова, то есть было три случая ко мне писать, а я не получил ни строки, по крайней мере, от Саши, которая обещалась писать много и даже не отвечает. Жаль, если вы не будете завтра<sup>178</sup>. *Vous voulez faire le poltron révolté ma chère Eudoxie?*<sup>179</sup> Зачем же быть трусом? И к чему бунтовщиком? Будьте тверды в образе мыслей! Не трусьте только, обнаруживая во всяком случае одно и то же! Одним словом, не будьте ни трусом, ни бунтовщиком! Будьте вы – и все дело кончено! Это ваша лучшая роль. Я очень радуюсь этому шептуну – я отправлюсь вместе с вами или скоро за

---

<sup>176</sup> Что об этом будут говорить (*фр.*).

<sup>177</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 94–97.

<sup>178</sup> 3 августа 1814 года в Черни праздник, день рождения Анны Ивановны Плещевой.

<sup>179</sup> Вы хотите трусливо бунтовать, дорогая Дуняша? (*фр.*)

вами. Отдайте мое письмо Саше. Милая моя Катя<sup>180</sup>, целую вас. Пожалуйста, скажите поискреннее о *qu'en dira-t-on?*

К Екатерине Афанасьевне я не пишу оттого, что нет от нее ни словечка ни на одно из моих писем»<sup>181</sup>.

Как и ожидал Жуковский, 3 августа 1814 года сестры Юшковы приняли участие в торжестве по случаю дня рождения Анны Ивановны Плещеевой и отбыли из Черни в Долбино 6 числа. В конце августа А. П. Киреевская получила от В. А. Жуковского очередное письмо: «Лучше начать бранью, нежели ею кончить. Ваше письмо прекрасное и утешительное потому, что от друга. Но знаете ли, что я едва не переименовал за него вашего названия. Я подумал: она шептун! Но не тот добрый шептун, которого весело слушать, а шептун – селезень, которого надобно кормить, да и только. Неужели все вы разучились в одну неделю читать и понимать то, что читаете. Саша бранит меня за то, что я огорчился Машиним спокойствием, вы браните за то же. Боже мой, какие люди! Можно ли предположить такое чувство? И к этому случаю говорить мне: прочь низкое! Напоминать мне, что недоверчивость есть низкое и прочее тому подобное. Прошу мне выписать то место, которое послужило вам текстом для такой проповеди. Я его не помню, потому что во мне не было того чувства, которое могло бы заставить написать такой сумбур.

---

<sup>180</sup> Екатерина Петровна Азбукина, урожденная Юшкова.

<sup>181</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 98.

Заглянув в свое сердце, я уверяюсь, что не может быть человека способнее меня на свете к доверенности. Машино спокойствие есть мое счастье. Мысль, что у нее на душе ясно и тихо везде и во всех обстоятельствах, будет для меня утешением. Я уверен, что это спокойствие будет основано на доверенности ко мне, что оно, вместо того чтобы быть забвением, будет самым лучшим обо мне воспоминанием. Ничто так для меня не дорого, как то, чтобы она, думая обо мне, утешалась; а это спокойствие я должен ей дать не одними словами, а всею жизнью. Неужели не верите моей искренности в этом случае и будете воображать, что я только угощаю вас великолепными фразами. Но как же мне вырвать из сердца сожаление о том, что, будучи причиною ее спокойствия, я не участник в счастья тех, которые дают его. Нет, милые, эта зависть не унижительна; тут нет недоверчивости, а только сожаление о самом себе. Говорить себе: она спокойна, а меня там нет! Значит ли это роптать против ее спокойствия? Нет, это совсем иное чувство, и как его истребить, и что же в нем низкого? Можно ли запретить Абадонне смотреть с сожалением на прекрасный рай? Если у четвертого сердце сжимается, то не оттого, что трем было бы весело в Сибири, а оттого, что он не может делить с ними этой Сибири; можно ли запретить ему об этом сожалеть? И что же низкого в этом чувстве? Нет, этот четвертый уверен, что он всегда с тремя будет неразлучен. Но он видит себя одного, он только с ними мыслями, но милое “вместе”, за которое бы все можно было

отдать, не для него. Что заменит это *вместе*? И когда вообразишь, как бы было хорошо быть на деле, а не в воображении четвертым, то как не сжаться сердцу? А вы бранитесь! *О, люди, люди! О, мода, мода!*<sup>182</sup> Послушайте! Спокойствие Маши есть самая лучшая для меня драгоценность, за него я готов отдать и то, что для меня всего важнее, – мое место в ее сердце, ее ко мне привязанность; не найдите и в этом к ней недоверчивости. Я здесь говорю об одном себе, а не об ней, так же, как и тогда, когда горевал об ее спокойствии, думал об одном себе. Вы пишете: нет дурного, где же несчастье? На что обольщать себя воображением. Несчастье есть, когда всем сердцем желал бы переменить то, что вокруг тебя, когда все лучшее только вдали или назади; дело не в том, чтобы называть прекрасным то, что и тяжело, и дурно. Как ни называй, все сердце не поверит. Да и нужен ли такой обман? Нужно ли и можно ли другим заменить то, что отнято, чтобы о нем только не сожалеть? Избави Бог от такого несожаления! Это все равно, что бы между здешнею и будущей жизнью провести ленту, и одну для другой уничтожить. Нет, я знаю, что настоящее дурно, что оно могло бы быть лучше, и сожаление будет не только храниться, как драгоценность в сердце, но будет и хранителем сердца. Скажем иначе: нет дурного! Есть твердость! Есть вера! Есть уважение к жизни! Есть уважение к самому себе! При этом можно сохранить спокойствие. Можно смотреть на несчастье, как на случай

---

<sup>182</sup> Слова маленькой дочери А. П. Киреевской – Марьи.

быть лучшим, как на способ сделать что-нибудь по сердцу Создателя – нужно ли для этого наряжать его в маску счастья? Вот случай сказать: прочь низкое! Дело не в том, чтобы забыть и дать себе этим забвением спокойствие, или, лучше сказать, мертвый сон, беззаботный паралич; дело в том, чтобы сожаление не унизило самого себя, и света, и жизни перед твоими глазами. Все то спокойствие, которое для этого нужно, я имею. Оно состоит в доверенности, в покорности к Провидению, которое даст все, что нам нужно, и даст непременно. “Воспоминание, святая, утешительная мысль о моем товарище – пусть будут они хранителями моего сердца. Где бы я ни был, этот ангел меня не покинет. С ним моя жизнь не может быть пустою, ничтожною. Нет, она будет доброю жизнью. Я чувствую в душе своей стремительное влечение к добру, чувствую за себя и за нее”»<sup>183</sup>.

Сознание Жуковского никак не принимало очевидного факта: Екатерина Афанасьевна Протасова в своем упорстве руководствовалась не столько религиозными соображениями (очевидно, они были для нее неким духовным оправданием), сколько сложным финансовым положением семьи, которого Василий Андреевич со всеми своими благими намерениями поправить не мог. Имели место и «условности» его происхождения, которые хотя и тщательно вуалировались, но давали о себе знать. О последнем свидетельствует днев-

---

<sup>183</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 98–101.

ник: «... Как прошла моя молодость!.. не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видел родных, мне принадлежащих по праву, я привыкал отделять себя ото всех... великое участие ко мне казалось мне милостью»<sup>184</sup>. Как бы то ни было, в конце августа – начале сентября 1814 года Жуковский переселился к подруге своего детства, дочери Варвары Афанасьевны Юшковой, Авдотье Петровне Киреевской в ее поместье Долбино. Здесь, окруженный друзьями, и своими, и Марьи Андреевны Протасовой, он нашел ласку и внимание, в которых так нуждался. Все было сделано так душевно и искренно, что Василий Андреевич преобразился; в нем воскресает и поэтическое вдохновение. «Прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодотворны, – пишет он А. И. Тургеневу, – я написал пропасть стихов; написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести. Всегда так писать невозможно: ухлопаешь себя по-пустому. А почти так всегда писать можно и должно. Жизнь мне изменяет – уцепился за бессмертие! Я об нем думаю, как о любовнице; быть стихотворцем во всем смысле этого слова – прекрасная мысль! Может быть, и гордая мысль! Но разве надобно иметь перед собою цель низкую? Писать так, чтобы говорить сердцу и возвышать его; а между тем, пока живешь, жить, думать, чувствовать и пр., как пишешь. Сверх того иметь друзей, друзей твоей славы,

<sup>184</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. XVIII.

друзей твоих чувств и мыслей, и с ними еще кого-нибудь»<sup>185</sup>.

---

<sup>185</sup> Там же. С. 453.

# Глава II. Долбино. Детство

## I

Пребывание В. А. Жуковского в Долбино имело огромное значение не только для него, но и для Авдотьи Петровны Киреевской, которой в то время нужен был не только мудрый советчик в делах по управлению обширными владениями, расположенными в Калужской, Орловской, Тульской, Тверской и Владимирской губерниях, но и в воспитании детей. Имение племянницы стало для Василия Андреевича мирным уголком, где есть бюро, над которым портрет милого ангела Марьи Андреевны Протасовой, а рядом:

Ваня белобрысый,  
И Петя петушок,  
И Машенька дружок,  
Смеющаяся радость!..  
Что в мире лучше их?  
В кругу детей таких —  
И жизнь не жизнь, а сладость...

Василий Андреевич намеревался стать не только домашним учителем, но и опекуном сирот Киреевских. Если объ-

единить воедино роспись лучших книг и сочинений, из которых Жуковским были сделаны многочисленные экстракты (библиотека поэта, во всяком случае сохранившаяся ее часть, дает наглядное представление о круге его чтения), дневниковые и иные записи, а также прозаические статьи, так или иначе связанные с морально-философской проблематикой, то можно с полной уверенностью говорить о широкой образовательной программе, намеченной к исполнению. Что касается плана учения Ивана, Петра и Марьи Киреевских, то он был традиционен для домашнего академического образования дворянских детей того времени.

Весь курс учения был рассчитан на 12 лет и разделен на 3 периода: период отрочества (от 8 до 13 лет); юношества (от 13 до 18 лет); первые годы молодости (от 18 до 20 лет). Соответственно этим периодам учение шло, концентрически расширяясь. В начальных периодах учения на первый план выступают естественные науки, дающие представление о Боге в природе (физика, химия, ботаника, зоология, история естествознания в виде минералогии) и Откровении (антропология, палеонтология), а также технологиях. Далее следуют знания о человеке (остеология, естественное право), обществе (дикое, образованное) и его истории. Наряду с историей светской изучается самым полным образом история священная, отвечающая на три главных вопроса: *Что я был? Что я быть должен? К чему предназначен?* Здесь главное место отводится вопросам христианской нравствен-

ности (нравственность частная и нравственность публичная) и религии (метафизика, бессмертие души, Бог).

В завершающем периоде учения главный акцент делается на математику, статистику, государственную экономию, изучение права, политических наук, классической литературы, философии и изящных искусств.

Иное дело – образовательный контекст, соотношение учения и воспитания. В центре педагогической системы Жуковского стояла проблема становления личности воспитанника, а следовательно, его внутреннего мира и самоусовершенствования. В этом был отклик Василия Андреевича на наследие европейского Просвещения и морально-философские системы конца XVIII века, во многом определившие движение поэта «к самому себе», к познанию своего внутреннего мира на опыте самонаблюдения<sup>186</sup>.

Для человека, по убеждению В. А. Жуковского, важна не ученость, но основательное просвещение, базирующееся на знании иностранных языков и прежде всего латинского. Последний – основа большей части европейских языков, действенное средство развития умственных способностей и источник овладения классическими текстами древних авторов. Так, при чтении трактата Цицерона «Об обязанностях» по латыни параллельно с его немецким и французским переводами<sup>187</sup>, а также с подробнейшими комментариями к нему

---

<sup>186</sup> См.: Янукович А. С. В мире Жуковского. М.: Наука, 2006.

<sup>187</sup> См.: Библиотека В. А. Жуковского: описание / сост. В. В. Лобанов. Томск,

немецкого моралиста Христиана Гарве<sup>188</sup> открывается возможность усвоения самого строя эмпирико-рационалистического просветительского мышления, с его идеями движения личности к идеалу, поиска счастья в самом себе, умственной деятельности. Чтение же в подлиннике сочинения французского моралиста Шарля Дюкло «Рассуждения о нравах сего века» есть одновременно и учение как укрепление ума познанием, и воспитание как развитие натуральных способностей, их моральное усовершенствование в направлении учтивости, честности, признательности.

Классические произведения с хорошо изложенными мыслями позволяют не только усвоить их способ, но и личностно «передумать». К примеру, Жуковский особенно ценил «искусство учтивости» Дюкло. Он, как и автор «Рассуждений...», считал это искусство важнейшим моментом человеческого существования, поведения в обществе. Но в отличие от французского моралиста, для которого на первом плане стояли правила светского этикета, Василий Андреевич обращает особое внимание на умение всегда и во всем сохранять свою индивидуальность, быть самим собой, о чем свидетельствуют записи поэта на страницах соответствующего сочинения Дюкло: «Для удовольствия других не должно жертво-

---

1981. № 816, 817, 819.

<sup>188</sup> В библиотеке В. А. Жуковского «Философские примечания и статьи к трактату Цицерона “Об обязанностях”» Христиана Гарве находятся в следующем издании: «Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Buechern von den Pflichten. Von Christian Garve. – Wien. 1787».

вать своим достоинством человека»; «Быть учтивым значит ли отказываться от своего характера»<sup>189</sup>.

Если продолжить список авторов, обязательных, по мысли В. А. Жуковского, для чтения, то следует назвать Жана Лабрюйера и Люка де Клапье Вовенарга, позволяющих приобщиться к идеям европейской характерологии. «Характеры» Лабрюйера, «Характеры» и «Введение в понимание человеческого ума» Вовенарга развивают принципы учебы у предшественников. В этом Василий Андреевич усматривал важнейший фактор становления оригинальности: «Талант, если не составляется из всех прежде бывших талантов, то, по крайней мере, ими совершенствуется»<sup>190</sup>; «Великий ум не теряет своей оригинальности от приобретения чужого богатства: он приобретает новую силу и новые способы <...>. Сильный ум всегда сохраняет себе силу в действии»<sup>191</sup>.

Читатель произведений Лабрюйера и Вовенарга, в понимании Жуковского, приобщается к теории познания, развивает вслед за авторами собственное воображение, память и внимание, умение размышлять, выявлять причинно-след-

---

<sup>189</sup> В библиотеке В. А. Жуковского трактат Шарля Дюкло «Рассуждения о нравах сего века» находится в следующем издании: «Oeuvres morales et galantes de Duclos. V. I. P. 1797».

<sup>190</sup> В библиотеке В. А. Жуковского «Характеры» Жана Лабрюйера находится в следующем издании: «Les caractères de La Bruyère. V.I.P., 1802».

<sup>191</sup> В библиотеке В. А. Жуковского «Характеры» и «Введение в понимание человеческого ума» Люка де Клапье Вовенарга находятся в следующем издании: «Oeuvres complètes de Vauvenargues. V.I.P., 1806».

ственные связи, раздроблять идеи и их соединять, актуализировать воспоминания. «Проникать, узнавать причину и следствие поведения», «связь идей, их отношения и соединение составляют их жизненность», «влияние обычаев и темперамента», «память без разума есть хаос разнородных идей, не связанных и не приведенных в порядок», «ум без памяти есть пламя без пищи, мысль без действия» – в этих лаконичных записях ярко проявляет себя стремление читателя французских мыслителей к обнаружению механизма связи идей и чувств. Здесь же сокрыты начала важнейших обобщений и, в частности, о месте науки в развитии человека, становлении его личности. «Наука, – записывает В. А. Жуковский, – есть богатство ума человеческого, есть хранилище приобретенных им умственных сокровищ. Каждое новое приобретение науки, полезное для материальной и для общественной жизни, усиливающее власть человека над окружающею его природою, умножающее способы наших наслаждений чувственных и умственных, приобщается к приобретениям прежним, так сказать, механически, подобно тому, как нарастает капитал, пущенный в ход промышленностью. Капиталисту, скопившему миллионы, было в самом начале приобретение одного рубля труднее, нежели после приобретения тысяч, которые, наконец, легко превращаются в миллионы. Так и в науке. Когда уже скопилась масса открытий, новые открытия быстро прилипают к старым; уму нужна только неумолимость <...>. Не уставай идти

вперед, к неизвестному доберешься по знаниям, составляющим непрерывную цепь известного. Кольца этой цепи соединяются сами собою, необходимо; по закону последовательности над этим сцеплением работает ум; но он не творит его, а только открывает и применяет его результаты к практической жизни, материальной и нравственной. Слиянная деятельность всех частных умов в своей совокупности есть то, что называется гением, разумом, духом человеческого рода. Открытия ума, приведенные в систему, составляют науку; из соединения наук и их влияния на жизнь человеческого рода истекает то, что мы называем образованием, цивилизацией; цивилизация есть результат применения знаний к практической, общественной жизни, к жизни человеческой в границах земного.

С помощью цивилизации человек, как член общества, как зритель и обладатель природы вещественной, становится материально час от часу разборчивее и взыскательнее в наслаждениях чувствительных, а умственно час от часу приобретает множество новых способов лакомиться жизнью, роскошно забываться за изобильною трапезою мысли. Все это, столь важное относительно земной жизни человека, то есть относительно этого минутного явления нашего посреди разнообразных явлений окружающего нас тревожного мира, само по себе не имеет никакой положительной важности относительно души нашей. В этом богатстве материальном и умственном, принадлежащем человеческому роду в целом, нет

еще того, что составляет вне человеческого рода, вызванной из тесных отношений всего, что здесь составляет предмет любопытства для ума нашего и вожделения для нашего сердца. Все здесь – от высокого, многообъемлющего знания, приобретенного деятельностью испытывающего гения, до мелкого, мгновенного удовольствия чувственности – принадлежит скоропреходящему <...>. Душе <...> принадлежит одно неизменное, то, что существует вне пространства и времени, что, будучи извлечено в науку, остается в душе ее самобытною, неотъемлемою, с нею слиянною собственностью, независимо от самой науки, так и от внешних обстоятельств, временную нашу жизнь составляющих. Бог – источник и предмет всякого знания; всякий шаг вперед науки должен быть шагом, приближающим к Богу, новым откровением в таинстве наших вечных к нему отношений. Все, что мы здесь знаем, принадлежа к здешней жизни и из нее истекая, здесь с нею и остается; но итог наших знаний, элемент их животворящий, то, что в них принадлежит исключительно душе и с нею вместе уйдет из здешней жизни, это есть наше знание Бога и знание наших к нему отношений.

Я вижу пред собою гиганта науки, он обхватил могучим умом все, что уму на земле обхватить возможно; но он стоит посреди своих, собранных им, сокровищ, как тюремщик посреди своих колодников, с которыми вместе и сам он колодник. Последний результат науки есть для него наслаждение наукою, знание – что он знает, благоговение пред силою сво-

его гения, сообщение своего знания другим, – словом, наслаждение столь же преходящее, как он сам. Высшее, что он извлек из знания, есть применение его к материальной пользе общества и чувство красоты, которая уже сама по себе выше знания, ибо красота есть не иное что, как тайное выражение божественного. Но наслаждение красотой – это роскошь души, погружающейся в сладкое ощущение чего-то, ее вполне, но на минуту удовлетворяющего, это душевное сибаритство – есть не иное что, как высшая степень чувственности; для души сего недовольно. Ты окинул оком просвещенным весь необъятный мир и все нам высказал о его законах, ты возвысился до красоты, заключенной в этой гармонии целого и частей; но ты не сказал ни слова о гласном, о том, что для души и для чего душа, и мы невольно, хотя и очарованы твоим красноречием, с грустью по тебе, чувствуем, что для тебя вся эта бездна величия и красоты не ясное что, как пустыня великолепная, где властвует необходимость, и посреди которой ты, ее пророк, скоро исчезнешь, как некогда сама она исчезнет <...>.

В науке, созданной человеком, заключается истинное земное величие человека, его владычество над природою, его личное первенство перед всеми ее живыми созданиями. Наука есть великий памятник жизни человеческого рода, более великий, нежели все перевозданные горы, заключающие в слоях своих мертвую летопись мира материального, тогда как умственные слои науки составляют живую летопись ми-

ра умственного. Мы должны благоговеть перед наукою, благоговеть перед ее могучим, образовательным действием на род человеческий, перед ее животворящим влиянием на человеческую душу в пределах материального мира. Что может быть живее жизни человека, который всюду с собою носит сокровище знаний, всеми веками приобретенными, который в минуты уединения, никому неприметный, на неприметной точке, им занимаемой в пространстве, может просвещенным умом своим обхватить целый мир, которому все на земле знакомец, все собеседник, живое, мертвое, давно прошедшее, возможное, материальное и духовное? Нет, я хочу только сказать, что наука теряет свое высокое достоинство, когда сама становится своею целью. Цель науки, и вообще жизни духовного человечества, есть Бог, создавший человека не для иного чего, как для себя. Земля есть колыбель человека; земная жизнь и все человечество, взятые вместе, суть скоропреходящие явления, образующие и готовящие каждую человеческую душу отдельно для другой высокой жизни. Наука устраивает и озаряет для человека эту сцену явлений, она беспрестанно обретает новые способы ее украшать и ее зрелищами наслаждаться; но если этого довольно для человечества, стесненного в пределах здешней жизни, то все это ничтожно для души человеческой, назначенной для иного порядка. Относительно здешнего, наши знания могут беспрестанно умножаться и совершенствоваться могуществом человеческого гения, этой собирательной души всего челове-

чества, не имеющей личного бытия, но существующей как великое предание от поколений к поколениям, которые уходят одно за другим, оставляют в наследство идущим за ними свои духовные сокровища, лежащие и образующие великую, беспрестанно возрастающую громаду науки. Но вся эта громада принадлежит человеческому роду на земле; то, что в ней принадлежит душе, земле не принадлежит, то, что душа исключительно присваивает себе и сохраняет на всю вечность, есть познанный ею в глубине житейского Бог; к нему должна вести наука. Если она не объяснит человеку глубокого смысла окружающих его явлений и, среди их быстрого, ежеминутного изменения, не найдет вечного Бога, то она и сама будет одним только явлением земной жизни, которой исключительно принадлежат ее открытия, и не даст ничего в приданое душе при ее переходе в иной порядок. Одним словом: человеку на земле нужна наука, душе человеческой нужен только Бог. Он один только дает знанию жизнь. Он один из глубины знания, беседуя с душой, с нею сливается здесь, дабы не покинуть ее там, где всякое земное знание, как сон, исчезает»<sup>192</sup>.

В деле становления философии самоусовершенствования немаловажное значение В. А. Жуковский отдает трудам Франсуа Вейсса «Основание, или Существенные правила философии, политики и нравственности»<sup>193</sup>, Христиана

---

<sup>192</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 279–280.

<sup>193</sup> В библиотеке В. А. Жуковского имеется следующее издание труда Франсуа

Гарве «Об обществе и уединении» и Шарля Бонне «Созерцания природы», а также сочинениям Кондильяка, Бюффона, Ласепада, Юма, Сен-Ламберта, Э. Клейста, Томсона, Гумбольдта<sup>194</sup>. Жуковский был убежден, что изучение механизма страстей, пружин индивидуального поведения формирует мысль о человеке как органической части живой природы, а весь богатейший эмпирический материал, собранный авторами, подкрепленный собственными наблюдениями окружающей природы и самонаблюдениями, – особый чувственный опыт. Ибо «каждый язык имеет множество слов для выражения различных степеней страстей, непременно оттенками между собой соединенных»<sup>195</sup>.

Читатель английских и французских сенсуалистов, безусловно, обратит свое особое внимание на общественную природу человека. «Человек отдельно, одиноко не подчинен ни нравственному, ни гражданскому закону: и тот и другой выходят из отношений человека к человеку и к обществу. Но человека одинокого нет; как скоро он в обществе, то есть и закон гражданский, основанный на нравственном. Обще-

---

Вейсса «Основание, или Существенные правила философии, политики и нравственности»: «Principes philosophiques, politiques et moraux. Par le Colonel Weiss. – Genève, 1806.

<sup>194</sup> См.: Библиотека Василия Андреевича Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 1978. С. 331–372.

<sup>195</sup> Основание, или Существенные правила философии, политики и нравственности. Творение полковника Вейсса, члена разных академий. 7-е изд. / пер. с фр. СПб., 1807. Ч. 1. С. 116.

ство гражданское (говоря о Европе и ее колониях) дошло до великого развития; все в своем порядке; воля человеческая, совершенно независимая в одиночестве, приведена в зависимость законом гражданским для порядка общественного, без которого нет ни твердой собственности, ни безопасности личной, или, лучше, без которой нет свободы гражданской, стоит на законе; закон гражданский поддерживается страхом наказания, следующего неизбежно за действием противозаконным, ясным и доказанным.

Мы не имеем понятия о человеке в чистом состоянии природы, то есть в совершенной независимости от человека, или вне всякого общества. Такой человек, если бы он мог существовать, был бы то же, что всякий другой зверь; он был бы врагом всему его окружающему, не по злобе, но по необходимости сохранять бытие так, как другой хищный зверь, терзающий добычу свою не от злобы, а для утоления голода или для своей защиты. Но человека вне общества никогда не существовало. Первый человек создан совершенным. В своем падении имел он уже семейство; и с той поры человек рождается, окруженный семейством, то есть рождается человеком общества, более или менее многолюдного. В семействе все начала гражданского общества. Гражданское общество составилось по тем же правилам, а правила извлечены из его постоянного развития. Пока сии правила составляют только правила, переходящие по преданию от отца к сыну, пока не выражены словом, не определены законом, утвер-

жденным общим сознанием и служащим обороною личной безопасности и собственности, до тех пор общество в состоянии диком. Из дикого состояния в гражданское переходит оно с развитием, которое производится политически положительным законом, определяющим права, ограждающим собственность и безопасность личную – умственно наукою и нравственно религиею, которую дополняется закон гражданский и нравственный. И законоположение, и религия полагают границы свободе личной и через то утверждают свободу гражданскую, единственно возможную. (Свобода гражданская состоит в полной возможности делать все то, что не запрещено законом, то есть в подчинении воли своей воле закона. Высшая свобода, или свобода христианская, состоит в уничтожении своей воли пред высшею волею Спасителя, которая есть воля Божия).

Общество гражданское в Европе достигло до своего полного развития в своей материальной части, то есть в определении отношений человека к человеку, в определении прав и в ограждении их законом. Человек вышел из состояния природы, в котором он враждовал со всем его окружающим, и вошел в состояние гражданское, в котором он друг и помощник и защитник своего согражданина, обуздав свою вредоносную волю законом.

Посреди сего материального, граждански устроенного общества, образовалось другое, умственное – общество мысли и слова. Мысль человеческая свободна, как сам человек, в

отдельном состоянии. Мысль, выраженная словом, уже ограниченная, ибо она получила определенную форму, и, сообщаемая другому, встречает возражения. Но сообщение мысли словом вполне неограниченно и свободно относительно к ее сообщникам. Мысль, выраженная письменно, имеет обширнейший круг действия, ибо ее сообщение уже происходит не непосредственно от лица к лицу, оно действует в пространстве и времени. Здесь мысль становится самобытной, уже не зависит от того, кто ее выразил, она есть нечто отдельное – сия мысль есть умственное лицо; в мире умственном она то, что человек, член общества еще дикого в мире гражданском. Мысль, выраженная письменно, принимает характер гражданства. Мысль печатная есть уже мысль гражданская, действующая публично. Итак, мысль печатная должна быть принята за гражданское лицо, входящее в состав гражданского умственного общества, неразлучного с обществом гражданским материальным и составляющим вместе с ним одно целое»<sup>196</sup>.

Отсюда польза изучения истории. В ней «сокровище просвещения»: освещенная религией, история «воспламеняет» в человеке любовь к великому, стремление к благотворной славе, уважение к человечеству; наставляющая опытом прошедшего, история объясняет настоящее и предсказывает будущее; знакомящая с судьбой народов, объясняющая причины их бедствий и благоденствия, история заключает в се-

---

<sup>196</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 277.

бе уважение человека к высшему закону и подчинение себя верховному суду Бога. Знание истории – это усвоение ряда важнейших истин: просвещение «сильнейшая подпора благонамеренной власти; народ без просвещения есть народ без достоинства; им кажется легко управлять только тому, кто хочет властвовать для одной власти; но из слепых рабов легко сделать свирепых мятежников, нежели из подлинных просвещенных, умеющих ценить благо порядка и законов»<sup>197</sup>.

«Не государство для порядка, а порядок для государства. Если правительство будет заботиться об одном порядке исключительно, жертвуя ему благосостояние лиц, то это будет одна декорация: спереди благовидное зрелище, сзади перепутанные веревки, колеса и холстина. Надобно, напротив, чтобы видимая сторона была благоденствие общее и частное, а порядок – сокровенная задняя сторона, невидимо производящая это благовидное устройство»<sup>198</sup>.

Общее мнение «часто бывает просветителем монарха, оно вернейший помощник его, ибо строжайший судия исполнителей его воли; мысли могут быть мятежны, когда правительство притеснительно или нерадиво; общее мнение всегда на стороне правосудного государя»<sup>199</sup>.

«Быть рабом есть несчастье, происходящее от обстоятельств; любить рабство есть низость; не быть способным к

---

<sup>197</sup> Там же. С. 269.

<sup>198</sup> Там же. С. 277.

<sup>199</sup> Там же. С. 269.

свободе есть испорченность, произведенная рабством. Государь – в высоком смысле сего слова, отец подданных, – также не может любить рабство своего народа и желать продолжения его, как отец не может любоваться низостью своих детей»<sup>200</sup>.

«Там нет народного благоденствия, где народ чувствует себя под стесняющим влиянием какой-то невидимой власти, которая вкрадывается во все и бременит тебя во все минуты жизни, хотя, впрочем, до тебя непосредственно и не касается. Это стеснительное чувство, которое портит жизнь, бывает в таком случае, когда правительство вмешивается не в одну публичную жизнь, но хочет распоряжаться и личной и домашнею жизнью, когда ему до всего нужна, до нашего платья, до наших забав, до нашего дома, когда мы вечно под надзором полиции. В таком случае власть от верховного властителя переходит к исполнителям власти, и в них становится не только обременительною, но и ненавистною. В государстве демократическом чувствуешь себя также стесненным. Там власть не на троне, а на улице, не в порфире, а в лохмотьях; там властвует не один, а толпа; там личная свобода, огражденная законом, но подчиненная верховной власти, не признает в толпе ни закона, ни власти. И чернь, гордая свободою, становится, так сказать, сама мучительным законом, от которого нет нигде убежища; она не наблюдает закона, который, в свою очередь, давая всем одинаковую гарантию, тем

---

<sup>200</sup> Там же. С. 278.

самым отдаёт того, кто чтит закон по мере нравственности и просвещения, на жертву тому, который, не имея сей узды, беспрестанно его нарушает насчет безопасности общей. Свобода тиснения, некогда враг деспотизма правителей, есть ныне подпора деспотизма черни, которая беспрестанно ослабляет узду ее»<sup>201</sup>.

«Самодержавие – высшая форма правления, если оно соответствует смыслу своего слова. Сам держу и самого себя держу. И то и другое заключается в слове самодержавие»<sup>202</sup>.

«Главная добродетель властителя должна быть терпеливость. Он должен быть смиренным исполнителем воли Провидения; его всемогущество относительно народа должно быть смирением относительно Бога. Творя над народом Божию волю, он должен ей подчинять безусловно свою волю. Если, посеяв добро на ниве народного блага, он захочет насильственно произвести всход своих семян и пожать преждевременно плод их, то он будет действовать только в смысле одной собственной власти, а не в смысле власти верховной. Сей семена блага, но жди от промысла благотворного дождя и света для созревания семян твоих. Иным словом: твори добро, но жди с терпением плодов его. Нетерпение видеть успех (зависящий не от нас, а от Бога и от постоянного содействия Его воле) есть эгоизм, весьма свойственный властителю. Он слишком подвержен отчасти видеть в неограни-

---

<sup>201</sup> Там же.

<sup>202</sup> Там же.

ченности власти всемогущество. Но всемогущество одному Богу. Горе тому, кто замыслит его себе присвоить; он признает только слабость свою, гибельную и для него самого, и для тех, кто подвержен его власти. Творя благо не для себя, а для народа; не жди исполнения при себе добрых твоих замыслов; не жди наслаждения видеть их исполненными; будь счастлив чувством своей чистоты, своего бескорыстного действия для блага, своим смирением перед Богом, твоим всемогущим Сподвижником. Смотри в будущее и верь, что придет минута, в которую Бог благословит твою на Него надежду; удобряй почву царства, не мысли о жатве, не надеясь даже, чтоб и твой наследник ее собрал; но в настоящем довольствуйся чистым действием для блага, живи в будущем, и вселяй твоему наследнику то же смирение – добро творит Бог, а не люди. Оно будет, когда творящий его творит во имя Бога. Когда будет? – это его дело. Нам принадлежит только одна минута, и правда в эту одну минуту и вера в будущее, без всякого желания властвовать будущим, которое все во власти того, кто один всемогущ и который равно действует и в каждое быстро пролетающее мгновение, и в вечности, неизменно ему одному подвластной»<sup>203</sup>.

«Свобода и ненарушимость закона одно и то же. Любовь к свободе в царе утверждает любовь к повиновению в подданных... Истинное могущество государя не в числе его воинов, а в твердом благосостоянии народа... Зablуждение ца-

---

<sup>203</sup> Там же. С. 277–278.

ря, удаляющее от него людей превосходных, предаёт его на жертву корыстолюбивым рабам, губителям его чести и народного блага... Без любви царя к народу нет любви народа к царю...»<sup>204</sup>.

Среди круга обязательного чтения особое место В. А. Жуковский отводит наследию великого французского мыслителя Ж.-Ж. Руссо. Страницы трактатов «женевского гражданина» «О происхождении», «О науках», романов «Эмиль» и «Новая Элоиза», «Исповеди» и «Писем к Д'Аламберу»<sup>205</sup> – это не только обращение читателя к важнейшим этическим и философским проблемам, правилам нравственности, но поле аргументированного полемизирования, а следовательно, оттачивания своих суждений, отстаивания своих взглядов и убеждений.

Руссо, как никто другой, философски формулировал культурный контекст современного ему мира. Чем более демократично было французское просвещение, тем настойчивее требовало оно, чтобы разуму принадлежало решающее слово в устройстве человеческой жизни, тем значительнее казался ему вопрос, в каком отношении друг к другу находятся умственная культура со всеми своими преобразованиями в научной, художественной, социальной жизни и счастье человека. В этом вопросе центр тяжести мышления Рус-

---

<sup>204</sup> Там же. С. 269.

<sup>205</sup> В библиотеке В. А. Жуковского хранилось женевское собрание сочинений Ж.-Ж. Руссо: «Collection complète des oeuvres de J.J.Rousseau. Genève, 1782».

со, глубокое противоречие его природы: благороднейшим его беспорядочного юношеского развития было стремление к образованию, а сочинение, сделавшее его знаменитым, содержало доказательство того, что образование есть уклонение от естественного и потому нормального состояния человечества.

Руссо повествует человеку о том, что он вышел из рук природы подобным счастливому ребенку, покоящемуся на груди матери и находящему в ней удовлетворение всех своих потребностей; он думает, что культура вырвала его из этого блаженного состояния и тем испортила всю его сущность, его мышление и его волю. Несмотря на все искусства и все науки, ничто на свете не стало лучше; распушенное и разрозненное более чем когда-либо общество держится лишь путем искусственного обмана относительно своего давно разрешенного равновесия.

Культурная жизнь человека, делает вывод Руссо, является самой развращенной и утонченной формой борьбы за существование. Истинное естественное состояние, как его рисует себе французский философ, это состояние идиллического мира, в котором человек живет по законам природы, не соединяясь в общества и ограничиваясь лишь природными потребностями. Однако есть ли возможность спасения от пресыщения культурной жизнью, если последняя даже с ее злом есть факт?! Человеку, рождающемуся в обществе, не дано вырасти дикарем. Естественное состояние раз и на-

всегда утратно; да и вообще оно не есть самое высокое, чего в состоянии достичь человек. За его пределами, конечно, также возможно совершенствование человеческой сущности; последнее только не лежит в направлении, по которому до сих пор шла история. Прежде всего, следует снова устранить, насколько возможно, вредные последствия существовавшего до сих пор развития. При таких обстоятельствах, ввиду бедствий настоящего времени, возникает лишь одна задача – придать этой культурной жизни такое направление, при помощи которого она снова приблизилась бы к естественному состоянию. Она должна следовать этому направлению, как в индивидууме, так и в обществе. Современный культурный человек не может более вырастать дикарем, а нуждается в воспитании, но таком, которое его не коверкало бы, а естественно развивало.

Что же такое воспитание? – спрашивает в этой связи Жуковский и, полемизируя с Руссо, отвечает: «Этот вопрос разрешится сам собою, когда будет разрешен следующий: что такое здешняя жизнь? Здешняя жизнь есть приготовление земного человека к жизни высшей. Воспитание есть приготовление души человека к принятию уроков здешней жизни. Какую бы форму ни имели сии уроки, их смысл всегда один и тот же. Открытие этого смысла, независимо от формы, которой определение принадлежит Промыслу, есть высший предмет воспитания. Для достижения сего предмета должна быть в здравом теле образована здравая душа, верно мысля-

щая, свободно действующая, чисто чувствующая, смиренно верующая.

Цель воспитания есть та же, как и цель жизни человеческой. Сама жизнь здешняя не иное что, как воспитание для будущей; а вся будущая – не иное что, как бесконечное воспитание для Бога. Что есть назначение человека на земле? В одном слове: восстановление падшего в нем образа Божия. Воспитание должно в первые годы жизни сделать его способным пройти впоследствии несколько шагов для достижения этой цели. Человек образуется здесь не для счастья, не для успеха в обществе, не для особенного какого-нибудь знания, даже не для добродетели; он образуется для веры в Бога (для веры христианской) и для безусловного предания воли своей в высшую волю (в чем высшая человеческая свобода): из этого истекает все другое, – счастье, успех, нравственность, добродетель.

Воспитание должно образовать человека, гражданина, христианина. Человек – здравая душа в здоровом теле. Гражданин – нравственность, просвещение, искусство, самостоятельность. Христианин – подчинение всего человека вере.

Природа человека есть то, что он есть от рождения. Это врожденное образуется воспитанием, развивается жизнью и получает доброе или худое направление; но оно всегда остается в человеке. Каков в колыбельку, таков и в могилку. Первое время воспитание особенно должно быть посвящено утверждению хороших привычек; основой всех других

привычек должна быть привычка к повиновению. Сила привычки доказывается ловкостью правой руки, которая, привыкая действовать более левой, несравненно искуснее, нежели левая. Если бы в первые годы закрыть левый глаз и глядеть только правым, то, конечно, произошла бы между ними большая разница; но их действие более совокупное, нежели действие рук. От чего нет разницы в наших ногах? Они всегда обе действуют совокупно.

Привычка производится собственным опытом, влиянием внешних обстоятельств, вспомогательным и постоянным содействием воспитания. Последнее тем успешнее, чем согласнее с действием опыта и чем более властвует обстоятельствами. Привычки могут быть умственные, нравственные и физические. Чем скорее угадает воспитатель тайну природы, то есть врожденные качества – и умственные, и нравственные, и физические – воспитанника, тем удачнее будет действовать на произведение благих привычек, способствующих развитию добрых и подавлению худых врожденных качеств. Дело воспитания состоит в построении возможного лучшего на тех условиях, какие первоначально положила природа.

Что такое привычка? Утвержденный образ действия физически или умственно, или нравственно. Этот образ действия от многократного повторения становится постоянным, произвольным, и, наконец, сливается неразрывно с телом, умом и волею. Дарование добрых привычек и уничтожение

худых есть дело воспитания. Привычка не мешает свободе; ею только облегчаются действия свободной воли. Из сего следует, что воспитание есть положение твердого основания действиям нашего ума и воли посредством утверждения добрых привычек в то время, когда они в нас легко укореняются.

Привычка основана на сцеплении идей; сцепление идей основано на сходстве, противоположности и современности. Изучение языка основано на сцеплении идей, происходящих от современности. Ребенок видит глазами стол, в его уме происходит чувственное впечатление стола, умственный образ стола; если современно с этим впечатлением произнесено будет слово стол, сие слово соединяется в уме с умственным образом. После материальный вид стола пробуждает в уме слово стол; или, наоборот, произнесенное слово стол возобновляет в уме умственный вид стола, и таким образом звук соединяется с понятием, с коим он современно возбужден был в уме. Повторение сего современного возбуждения производит привычку. Таким образом, все предметы умственные соединяются в уме с представляющими их звуками, и наоборот. Ребенок, наконец, имеет язык. Ребенок научается ходить – от привычки наблюдать или сохранять равновесие; научается рассуждать – от привычки сравнивать, замечать отношения, выводить заключения. Все привычка. Привычка есть один из главнейших способов природы и воспитания. Недаром говорит пословица: привычка другая природа. Это неоспоримо – истина.

Чтобы составить себе ясное теоретическое понятие о главных привычках воспитания, надобно сперва утвердить понятие о назначении человека вообще, рассмотреть его природу, его телесные и умственные качества, и определить вообще средства, как усовершенствовать его добрые и исправить его худые склонности. Сей общий взгляд на человека будет то же, что карта для путешественника, не дающая понятия о земле, чрез которую надлежит проходить, но необходимая, дабы знать свою дорогу; все остальное откроет само путешествие. Как для успешного путешествия нужно иметь предварительное сведение о местной природе посещаемой страны, о ее истории, о языке в ней царствующем; так и для успешного воспитания, сверх общих познаний о человеке и его свойствах, нужно знать особенную природу воспитанника и руководствоваться частными наблюдениями, дабы уметь применять практически общую теорию к частности и сею частностью изменять общее. Ибо нет теории, которая могла бы обнимать все частное. Теория, повторяю, есть карта, необходимая для путешественника; практика есть самое путешествие; практика есть самое путешествие, которое только с картою будет верно, без карты же будет наугад и не приведет к цели или приведет к ней длинными обходами с бесполезною утратою времени. Теория без практики – Прокрустова кровать; практика без теории – корабль без руля.

В идее, которая мало-помалу образуется в ребенке о силе, справедливости и любви к нему родителей, заключается и то

понятие, которое после он получает о власти, правосудии и любви Божией. Зависимость от власти родителей, и впоследствии безусловная ей покорность, есть приготовление к живой деятельной вере. Привыкнув чувствовать зависимость, ребенок научается покорности, которая есть не иное что, как произвольное признание необходимой высшей, хранительной власти. Сперва ребенок по привычке узнает непоколебимость силы, им управляемой, которой он принужден покориться; эта привычка обращается потом в ясное понятие о мудрой власти, которой он покоряться должен. Если наблюдается будет сия постепенность, то произвольная покорность весьма легко будет согласована с чувством свободы, и не повредит самобытности характера. Переход сей необходим. Руссо его не определил: он хочет необходимости и отвергает покорность. Но последнее выше первой.

Многие отдельные замечания Руссо весьма справедливы и убедительны; но из всех сих отдельно справедливых замечаний выходит в целом что-то чудовищное. Когда в конце второй книги он излагает результат младенческого воспитания и описывает своего Эмиля готовым ребенком, мы видим перед собою что-то несбыточное, существо, какого нет и быть не может, создание парадоксального ума, который все насильственно втеснил в свою теорию и никогда не знал существенного. Система Руссо, так называемая система природы, есть уродство: он образует своего Эмиля для такого порядка, которого нет и быть не может, и никогда не бывало.

Мечтая о свободе и о совершенной независимости от всех условий общества, он и из воспитания исключает всякую зависимость. Его воспитанник не знает, что такое покорность, даже не имеет никаких привычек; он покоряется одной необходимости, и то, что он делал вчера, не имеет влияния на то, что он делает нынче. Это легко говорить и писать; но на деле этого быть не может и быть не должно. В нас все привычка, и нынешний я есть результат вчерашней привычки и всех прежних; мы привыкаем ходить, глядеть, слушать, осязать, думать, говорить – все дело воспитания состоит в том, чтобы дать телу и душе хорошие привычки и чтобы воспитанник получил эти привычки самобытно, собственным опытом, с развитием ума и воли, и чтобы направление, которое воспитание дает сему развитию, было согласовано с полною свободою, которая не иное что, как произвольная, твердая, постоянная покорность долгу, сказать одним словом: уничтожение своей воли перед высшею Божиею волею»<sup>206</sup>.

Таким образом, намеченная В. А. Жуковским образовательная программа была обширной и детально продуманной. Иван, Петр и Марья Киреевские должны были усвоить все лучшее из европейской культуры, сформировать свой внутренний мир на лучших образцах иностранной и русской литературы, ни в чем не уступать своим немецким, французским, английским и итальянским сверстникам.

---

<sup>206</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. С. 24–27.

## 2

Осень 1814 года была для Жуковского полна не только педагогических планов, но и творческих замыслов. Василий Андреевич переводит «Балладу, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» английского поэта Оберта Саути и его же «Варвика». Из-под его пера выходят переводы баллад французского поэта Франсуа-Огюстена Монкрифа «Алина и Альсим», «Альвина и Эдвин», а также авторские тексты: «Ахилл», «Эолова арфа», три послания к князю Петру Андреевичу Вяземскому и еще множество, по собственной оценке поэта, «всякого рода мелкой дряни, и годной, и негодной»<sup>207</sup>.

В поэзию В. А. Жуковского словно возвращается радость бытия, строчки наполняются светом чувств, мысль приобретает особую возвышенность. О последнем свидетельствуют и так называемые Долбинские стихотворения поэта, и, в частности, «Ноябрь»:

Ноябрь, зимы посол, подчас лихой старик  
И очень страшный в гневе,  
Но милостивый к нам, напудрил свой парик  
И вас уже встречать готовится в Белёве;  
Уж в Долбине давно,

---

<sup>207</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 453.

В двойное мы смотря окно  
На обнаженную природу,  
Молились, чтоб седой Борей  
Прислал к нам поскорей  
Сестру свою метель и беглую бы воду  
В оковы льдяные сковал;  
Борей услышал наш молебен: уж крошится  
На землю мелкий снег с небес,  
Ощипанный белеет лес,  
Прозрачная река уж боле не струится,  
И, растопорщивши оглобли, сани ждут,  
Когда их запрягут.  
Иному будет жаль дней ясных,  
А я жду не дождусь холодных и ненастных.  
Милей мне светлого природы мрачный вид!  
Пусть вьюга на поле кипит  
И снег в нас шапками бросает,  
Пускай нас за носы хватает  
Мороз, зимы сердитой кум,  
Сквозь страшный вихрей шум  
Мне голос сладостный взывает:  
«Увидишь скоро их! сей час недалеко!  
И будет на душе легко!»  
Ах! то знакомый глас надежды неизменной!..  
Как часто вьюгою несчастья окруженный,  
С дороги сбившись, пришлец земной,  
Пути не видя пред собой  
(Передний путь во мгле, покрыт обратный мглой),  
Робеет, света ждет, дождется ли – не знает

И в нетерпенье унывает...  
И вдруг... надежды глас!.. душа ободрена!  
Стал веселее мрак ужасный,  
И уж незримая дорога не страшна!..  
Он верит, что она проложена  
Вождем всезнающим и к куще безопасной,  
И с милым ангелом-надеждой он идет  
И, не дойдя еще, уж счастлив ожиданьем  
Того, что в пристани обетованной ждет!  
Так для меня своим волшебным обещаньем  
Надежда и зиме красу весны дает!  
О! жизнь моя верна, и цель моя прекрасна,  
И неизвестность мне нимало не ужасна,  
Когда все милое со мной!..  
Но вот и утро встало!  
О, радость! на земле из снега одеяло!  
Друзья, домой!<sup>208</sup>

Какое значение для литературных занятий имело пребывание В. А. Жуковского у А. П. Киреевской, свидетельствует его письмо из Черни, написанное в конце октября или начале ноября 1814 года: «Послушайте, милая, первое или пятое – разницы немного, а оставшись на семейном празднике друзей, я сделаю друзьям удовольствие, это одно из важных дел нашей жизни, и так прежде пятого не буду в Долбино. Но чтобы пятого ждала меня подстава в Пальне. Смотри по

---

<sup>208</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 76–77.

погоде, сани или дрожки. Я здоров и весел. Довольно ли с вас? Вы будьте здоровы и веселы. Этого и очень довольно для меня. Благодарствуйте за присылку и за письмо. В петербургском пакете письмо от моего Тургенева<sup>209</sup> и письмо от нашего Батюшкова<sup>210</sup>, предлинное и премилое, которое будете вы читать. За “Послание...”<sup>211</sup> благодарствую, хотя оно и останется, ибо здесь переписал его Губарев<sup>212</sup>, и этот список нынче скачет к Тургеневу. Там будет оно уже переписано государственным образом и подложено под стопы монаршие. Прозаическое письмо посылаю вам. Прошу оное не потерять. “Послание...” было здесь читано в общем собрании и произвело свой эффект или действие. Так же и Эолова арфа<sup>213</sup>, на которую Плещеев<sup>214</sup> пусть грозитя прекрас-

---

<sup>209</sup> Александр Иванович Тургенев.

<sup>210</sup> Константин Николаевич Батюшков.

<sup>211</sup> «Императору Александру». Посвящая это произведение Императрице Марии Федоровне, В. А. Жуковский писал: «Послание Государю Императору, Вашему Величеству подписываемое, есть выражение не одних чувств поэта, но вместе и всего, что чувствует теперь народ русский – язык свободный и простой, дань благодарности, дань бескорыстного удивления... и не лесть приводит теперь стихотворца к престолу, не бедная надежда заслужить награду, но славное имя русского, но честь – быть одним из тех счастливых, которые клялись в верности великому человеку, за которого жизнь отдать есть наслаждение... Как стихотворец, я сказал вслух и весьма слабым языком то, что каждый из моих соотечественников чувствует в тайне души своей, – дерзкое, но счастливое право поэзии!»

<sup>212</sup> Товарищ Жуковского по Благородному пансиону.

<sup>213</sup> Речь идет о балладе В. А. Жуковского.

<sup>214</sup> Александр Алексеевич Плещеев.

ной музыкой, понеже она вступила в закраины его сердца назидательною трогательностью. “Старушки”<sup>215</sup> треть уже положена на нотные завывания и очень преизрядно воспеваает ужасные свои дьявольности. “Певец” начат, но здесь не Долбино, не мирный уголок, где есть бюро и над бюро милый ангел<sup>216</sup>. О вас бы говорить теперь не следовало; вы в своем письме просите, чтобы я любил вас по-прежнему. Такого рода просьбу позволю вам повторить мне только в желтом доме, там она будет и простительна, и понятна. Но в долбинском, подле ваших детей, подле той шифоньеры, где лежат Машины<sup>217</sup> волосы, глядя на четверолиственник, вырезанный на вашей печати, одним словом, в полном уме и сердце просить таких аккуратностей – можно ли? В последний раз прощаю и говорю: здравствуй, милая сестра!

<...> На дворе снег, а мороза все нет. Бывала ли когда-нибудь глупее зима?

Не забудьте, что, приехавши, нам надобно приняться за план. Набросайте свои идеи, мы их склеим с моими и выйдет фарш дружбы на счастье жизни, известный голод, который удовлетворим хотя общими планами.

А прогос. Едва ли не грянет на вас новая туча. Губарев, мой переписчик, вдруг взбеленился ехать в Москву. Отпус-

---

<sup>215</sup> «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди».

<sup>216</sup> Речь идет о портрете Марьи Андреевны Протасовой.

<sup>217</sup> Марья Андреевна Протасова.

кать с ним своих творений не хочу. Даю ему переписывать одни баллады. Как быть с остальным? Неужели вам? А совесть!..»<sup>218</sup>.

Только в Долбине В. А. Жуковский мог написать упоминаемое в письме к А. П. Киреевской Послание к императору, мысль о котором подарил другу А. И. Тургенев. «Ты ждешь от меня плана моего послания к государю, – писал 1 декабря 1814 года из Долбино Жуковский Тургеневу, – а я посылаю тебе его совсем написанное. Первое условие: прочитайте вместе с Батюшковым, с Блудовым, с Уваровым, и, если он стоит на лицо, с Дашковым<sup>219</sup>. Что найдете необходимым поправить – поправляйте; на меня в этом случае уже не надейтесь. Лучше написать новое, нежели поправлять. Пока пишу, до тех пор мараю, сколько душе угодно, и могу мараить; написал – всему конец! Если вздумается поправить, то для одной только порчи. Сюжет мой так велик, что мне надобно держать себя в узде, чтобы не слишком расплодиться и излишним богатством отдельных частей не ухлопать целого. Не знаю, удалось ли. Мне нравится, другим нравится; но надобно, чтобы вам, священный мой ареопаг, против которого нет апелляций, понравилось! Если скажете: хорошо! То мое место в храме бессмертия свято. Скажите же ради Бога: хорошо! Но только не для того, чтобы меня по губам пома-

---

<sup>218</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 101–102.

<sup>219</sup> Дмитрий Васильевич Дашков.

зять, а положив руку на сердце, как друзья, как мои заботливые квартирьеры на походе к славе. Судьбу этого Послания передаю в руке твои, Тургенев. Ты должен его переписать и доставить к государыне императрице<sup>220</sup> и, если возможно, скорее. <...> Признаюсь, я боюсь, чтобы не вздумалось меня за это Послание подарить чем-нибудь. Старайся, чтобы этого не было. Пошлины с любви и с выражения любви к нашему славному царю собирать не должно. Я многое писал с восхищением, и за это счастливое чувство нечем наградить. Я так этого боюсь, что даже намекнул об этом и в своем посвящении, но прилично ли? Суди сам и сделай, как посудишь. Издание поручаю тебе. Надобно, чтобы формат был такой, чтобы не нужно было ломать строк: ломаные строки гадки и слишком пестры. Прошу, чтобы этого никак не было. Если можно, уговорить бы друга Михаила Дмитриевича<sup>221</sup> позаботиться о корректуре: никто не может иметь такой точности, как он. Попроси его об этом от меня. Не худо бы было и виньетку; об этом лучше всего попросить Свиньина<sup>222</sup>: для старого товарища он не поленится черкнуть раза три своей волшебною кистью. Вот, кажется, все, что касается до Послания»<sup>223</sup>.

---

<sup>220</sup> Вдовствующая императрица Мария Федоровна.

<sup>221</sup> Михаил Дмитриевич Костогоров, товарищ Жуковского по Благородному пансиону.

<sup>222</sup> Возможно, речь идет о Павле Петровиче Свиньине.

<sup>223</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 452–453.

Императору Александру  
Когда летящие отсюда шумны клики,  
В один сливаясь глас, тебя зовут: великий!  
Что скажет лирою незнаемый певец?  
Дерзнет ли свой листок он в тот вплести венец,  
Который для тебя вселенная сплетает?..  
О русский царь, прости! невольно увлекает  
Могущая рука меня к мольбе в тот храм,  
Где благодарностью возженный фимиам  
Стеклися в дар принести тебе народы мира —  
И, радости полна, сама играет лира.  
Кто славных дел твоих постигнет красоту?  
С благоговением смотрю на высоту,  
Которой ты достиг по тернам испытанья,  
Когда, исполнены любви и упования,  
Мы шумною толпой тот окружали храм,  
Где, верным быть царем клянясь творцу и нам,  
Ты клал на страшный крест державную десницу  
И плечи юные склонял под багряницу, —  
Скажи, в сей важный час, где мысль твоя была?  
Скажи, когда венец рука твоя брала,  
Что мыслил ты, вблизи послышав клики славы,  
А в отдалении внимая, как державы  
Ниспровергала, враг земных народов, брань,  
Как троны падали под хищникову длань?<sup>224</sup>  
Ужель при слухе сем душой не возмутился?

---

<sup>224</sup> Имеется в виду война Наполеона I против Австрии в 1800–1801 гг., положившая начало его завоеваниям Западной Европы.

Нет! выше бурь земных ты ею вознослся,  
Очами твердыми сей ужас проникал,  
И в сердце промысла судьбу свою читал.  
Смиренно приступив к сосуду примиренья,  
В себе весь свой народ ты в руку провиденья,  
С спокойной на него надеждой положил —  
И соприсутственный тебя благословил!  
Когда ж священный храм при громах растворился —  
О, сколь пленителен ты нам тогда явился,  
С младым, всех благостей исполненным лицом,  
Под прародительским сияющий венцом,  
Нам обреченный вождь ко счастью и славе!  
Казалось, к пламенной в руке твоей державе  
Тогда весь твой народ сердцами полетел;  
Казалось, в ней обет души твоей горел,  
С которым ты за нас перед алтарь явился —  
О царь, благодарим: обет сей совершился...  
И призванный тобой тебе не изменил.  
Так! и на бедствия земные положил  
Он светозарную печать благотворенья;  
Ниспосылаемый им ангел разрушенья  
Взрывает, как бразды, земные племена,  
В них жизни свежие бросает семена —  
И, обновленные, пышнее расцветают;  
Как бури в зной поля, беды их возрождают;  
Давно ль одряхший мир мы зрели в мертвом сне?<sup>225</sup>  
Там, в прорицающей паденье тишине,  
Стояли царствия, как зданья обветшалы;

<sup>225</sup> Подразумевается предреволюционное состояние Европы до 1789 г.

К дремоте преклоня главы свои усталы,  
Цари сей грозный сон считали за покой;  
И, невнимательны, с беспечной слепотой,  
В любви к отечеству, ко славе, к вере хладны,  
Лишь к наслаждениям одной минуты жадны;  
Под наклонившихся престолов царских тень,  
Как в неприступную для бурь и бедствий сень,  
Народы ликовать стекались толпами...  
И первый Лилий трон<sup>226</sup> у галлов над главами  
Вспылал, разверзнувшись как гибельный вулкан.  
С его дымящихся развалин великан,  
Питомец ужасов, безвластия и брани<sup>227</sup>,  
Воздвигся, положил на скипетр тяжки длани,  
И взорами на мир ужасно засверкал —  
И пред страшилищем весь мир затрепетал.  
Сказав: «нет промысла!» гигантскую стопую  
Шагнул с престола он и следом за звездой  
Помчался по земле во блеске и громах;  
И промысл, утаясь, послал к нему свой страх;  
Он тенью грозною везде летел с ним рядом;  
И, раздробляющий полки и грады взглядом,  
Огромною рукой ту бездну покрывал,  
К которой гордого путем успеха мчал.  
Непобедимости мечтою ослепленный,  
Он мыслил: «Мой престол престолом будь вселенны!»

---

<sup>226</sup> Трон французской королевской династии Бурбонов (на гербе Бурбонов были изображены лилии), низвергнутый французской буржуазной революцией 1789 г.

<sup>227</sup> Наполеон Бонапарт.

Порфиры всех царей земных я раздеру  
И все их скипетры в одной руке сберу;  
Народов бедствия – ступени мне ко счастью;  
Всё, всё в развалины! на них воссяду с властью,  
И буду царствовать, и мне соцарствуй, страх;  
Исчезни всё опять, когда я буду прах,  
Что из развалин брань и власть соорудила —  
Бессмертную моя останется могила».

И, к человечеству презреньем ополчен,  
На первый свой народ он двинул рабства плен,  
Чтобы смелей сковать чужим народам длани, —  
И стала Галлия сокровищницей брани;  
Там все, и сам Христов алтарь, взывало: брань!  
Всё, раболепствуя мечтам тирана, дань  
К его ужасному престолу приносило:  
Оратай, на бразды склоняя взор унылый,  
Грабителям свой плуг последний отдавал;  
Убогий рубище им в жертву раздирал;  
И мздой свою постель страданье выкупало;  
И беспощадною косою подсекало  
Самовластительство прекрасный цвет людей:  
Чудовище, склонясь на колыбель детей,  
Считало годы их кровавыми перстами;  
Сыны в дому отцов минутными гостями  
Являлись, чтобы там оставить скорби след —  
И юность их была как на могиле цвет.  
Все поколение, для жатвы бранной зрея  
И созидать себе грядущего не смея,  
Невольно подвигов пленилося мечтой

И бросилось на брань с отважной слепотой...  
И вслед ему всяк час за ратью рать летела;  
Стенящая земля в пожарах пламенела,  
И, хитростью подрыв, изменой потрясен,  
Добитый громами, за тронем падал трон.  
По ним свободы враг отважно стопою  
За всемогуществом шагал от боя к бою;  
От рейнских твердынь до Немана валов,  
От Сциллы древняя до Бельта берегов<sup>228</sup>  
Одна ужасная простерлася могила;  
Все смолкло... мрачная, с кровавым взором, сила  
На груде падших царств воссела, страж царей;  
Пред сим страшилищем и доблесть прежних дней,  
И к просвещенью жар, и помышленья славы,  
И непорочные семей смиренных нравы —  
Погибло все, окрест один лишь стук оков  
Смушал угрюмое молчание гробов,  
Да ратей изредка шумели переходы,  
Спешащих истребить еще приют свободы,  
Унылость на сердца народов налегла —  
Лишь Вера в тишине звезды своей ждала,  
С святым терпением тяжелый крест лобзала  
И взоры на восток с надеждой обращала...  
И грозно возблистал спасенья страшный год!<sup>229</sup>  
За сей могилую народов цвел народ —  
О царь наш, твой народ, — могущий и смиренный,  
Не крепостью твердынь громовых огражденный,

---

<sup>228</sup> Сцилла – Сицилия; здесь в значении – Италия. Бельт – Балтийское море.

<sup>229</sup> 1812 год.

Но верностью к царю и в славе тишиной.  
Как юноша-атлет, всегда готовый в бой,  
Смотрел на брани он с беспечною силы...  
Так, юные поджав, но опытные крылы,  
На поднебесную глядит с гнезда орел...  
И злобой на него губитель закипел.  
В несметну рать столпя рабов ожесточенных  
И на полях, стопой врага не оскверненных,  
Уж в мыслях сгромоздив престол всемирный свой,  
Он кинулся на Русь свирепую войной...  
О провидение! твоя Россия встала,  
Твой ангел полетел, и брань твоя вспылала!  
Кто, кто изобразит бессмертный оный час,  
Когда, в молчании народном, царский глас  
Послышался как весть надежды и спасенья?  
О глас царя! о честь народа! пламень мщенья  
Ударил молнией по вздрогнувшим сердцам;  
Все бранью вспыхнуло, все кинулось к мечам,  
И грозно в бой пошла с насилием свобода!  
Тогда явилось все величие народа,  
Спасающего трон и святость алтарей,  
И тихий гроб отцов, и колыбель детей,  
И старцев седины, и младость дев цветущих,  
И славу прежних лет, и славу лет грядущих.  
Все в пепел перед ним! разлей пожары, месть!  
Стеною рать! что шаг, то бой! что бой, то честь!  
Пред ним развалины и пепельны пустыни;  
Кругом пустынь полки и грозные твердыни,  
Везде ревушие погибельной грозой, —

И старец-вождь средь них с невидимой судьбой!..  
Холмы Бородина, дымитесь жертвой славы!..  
Уже растерзанный, едва стопы кровавы  
Таща по гибельным отмстителей следам,  
Грядет, грядет слепец, Москва, к твоим стенам!  
О радость!.. он вступил!.. зажгись, костер свободы!  
Пылает!.. цепи в прах! воскресните, народы!  
Ваш стыд и плен Москва, обрушась, погребла,  
И в пепле мщения свобода ожила,  
И при сверкании кремлевского пожара,  
С развалин вставшая, призрак ужасный, кара  
Пошла по трепетным губителя полкам  
И, ужас пригвоздив к надменным знаменам,  
Над ними жалобно завывла: горе! горе!  
И глад, при клике сем, с отчаяньем во взоре,  
Свирепый, бросился на ратных и вождей...  
Тогда помчались вспять; и грудами костей  
И брошенными в прах потухшими громами<sup>230</sup>  
Означили свой след пред русскими полками;  
И Неман льдистый мост для бегства их сковал...  
Сколь нам величествен ты, царь, тогда предстал,  
Сжимающий вождю, в виду полков, десницу,  
И старца на свою ведущий колесницу,  
Чтоб вкупе с ним лететь с отмщеньем вслед врагам.  
О незабвенный час! За Неман знаменам  
Уж отверзаешь путь властительной рукою...  
Когда же двинулись дружины пред тобою,  
Когда раздался стук помчавшихся громад

<sup>230</sup> Замолкнувшими пушками.

И грозно брег покрыл коней и ратных ряд,  
Приосеняемых парящими орлами...  
Сие величие окинувши очами,  
Что ощутил, наш царь, тогда в душе своей?  
Перед тобою мир под бременем цепей  
Лежал, растерзанный, еще взывать не смея;  
И человечество, из-под стопы злодея  
К тебе подъемля взор, молило им: гряди!  
И, судия царей, потомство впереди  
Вещало, сквозь века явив свой лик священный:  
«Дерзай! и нареку тебя: Благословенный»<sup>231</sup>.  
И в грозный между тем полки слиянный строй,  
На все готовые, с покорной тишиной  
На твой смотрели взор и ждали мановенья.  
А ты?.. Ты от небес молил благословенья...  
И ангел их, гремя, на щит твой низлетел,  
И гибелью врагам твой щит запламенел,  
И руку ты простер... и двинулися рати.  
Как к возвестителю небесной благодати,  
Во сретенье тебе народы потекли,  
И вайями твой путь смиренный облекли.  
Приветственной толпой подвиглись веси, грады;  
К тебе желанья, к тебе сердца и взгляды;  
Тебе несет дары от нивы селянин;  
Зря бодрого тебя впереди твоих дружин,

---

<sup>231</sup> Титул «Благословенный» был предложен императору Александру I Государственным советом, Сенатом и Святейшим Синодом 30 июля 1814 года. Государь отклонил это предложение. Жуковский этот титул приписывает оценке, сделанной потомством, называя его «судьею царей».

К мечу от костыля безногий воин рвется,  
Младая старику во грудь надежда льется:  
«Свободен, мнит, сойду в свободный гроб отцов!»  
И смотрит, не страшась, на зреющих сынов.  
И ты средь плесков сих – не гордый победитель,  
Но воли промысла смиренный совершитель —  
Шел тихий, благостью великость украшал;  
Блеск утешительный окрест тебя сиял,  
И лик твой ясен был, как ясный лик надежды.  
И вождь наш смертию окованные вежды<sup>232</sup>  
Подъял с усилием, чтобы на славный путь,  
В который ты вступал уже не с ним, взглянуть  
И, угасая, дать царю благословенье.  
Сколь сладостно его с землею разлученье!  
Когда, в последний час, он рать тебе вручал  
И ослабевшею рукою прижимал  
К немеющей груди царя и друга руку —  
О! в сей великий час забыл он смерти муку;  
Пред ним был тайный свет грядущего открыт;  
Он весело принял сединами на щит,  
И смерть его крылом надежды осенила.  
И чуждый вождь – увы! – судьба его щадила,  
Чтоб первой жертвой он на битве правды пал<sup>233</sup> —  
Наш царь, узнав тебя, на смерть он не роптал;  
Ты руку падшему, как брат, простер средь боя;

---

<sup>232</sup> Кутузов, умерший в самом начале европейского похода, 16 апреля 1813 г.

<sup>233</sup> Французский генерал Моро, прибывший из Америки, чтобы бороться с Наполеоном на стороне союзников, и убитый в сражении под Дрезденом в августе 1813 г.

И сердцу верному венчанного героя,  
Смягчившего слезой его с концом борьбу,  
Он смело завещал отечества судьбу...  
И лишь горе взлетел орел наш двоеглавый,  
Лишь крикнул голосом давно молчавшей славы,  
Как всколебалися тевтонов племена!  
К ним Герман<sup>234</sup> с норда нес свободы знамена —  
И всё помчалось в строй под знамена свободы;  
В одну слиялись грудь воскресшие народы,  
И всех царей рука, наш царь, в руке твоей  
На жизнь, на смерть, на брань, на честь грядущих дней.  
О славный Кульмский бой!<sup>235</sup> о доблесть славянина!  
Вотще на них рвались все рати исполина,  
Вотще за громом гром на строй их налетал —  
Все опрокинуто, и русский устоял.  
И строем роковым отмстителей дружины  
Уж приближаются к святилищу Судьбины;  
Уж видят тот рубеж, ту цель,<sup>236</sup> к которой вел  
Их неиспытанный по темной бездне зол,  
В пылающей грозе носясь над их главою  
И тяжкой опыта их бременя рукою;  
Се место, где себя во правде он явит;

---

<sup>234</sup> Подразумевается Пруссия, которая первой примкнула к антинаполеоновской коалиции 1813 г.

<sup>235</sup> Сражение при Кульме (в Чехии), где русскими была одержана победа над французскими войсками, произошло 17–18 августа 1813 г.

<sup>236</sup> Речь идет о сражении под Лейпцигом (16–19 октября 1813), получившем название «битвы народов», где войска союзников одержали решительную победу над французами.

Се то судилище, где миг один решит:  
Не быть иль быть царям; восстать иль пасть вселенной.  
И все в собрании... о час, векам священный!..  
Народы всех племен, и всех племен цари,  
Под сению знамен святые алтари,  
Несметный ряд полков, вожди перед полками,  
И громы впереди с поднятыми крылами,  
И на холме, в броне, на грозный щит склонен,  
Союза мстителей младой Агамемнон<sup>237</sup>,  
И тени всех веков внимательной толпою  
Над светозарною вождя царей главою...  
И в ожидании священном все молчит...  
И тихо мгла еще на небе том лежит,  
Отколь с грядущим днем изыдет вседержитель...  
И загорелся день... Бог грянул... пал губитель!  
Бегут – во прах и гром, и шлем, и меч, и щит,  
Впереди, в тылу, с боков и рядом страх бежит  
И жадною рукой погибель их хватает;  
И небо тихое торжественно сияет  
Над преклоненною отмстителей главой;  
Победная хвала летит из строя в строй,  
И Рейн всплескал, услышав ликованья...  
О старец вод! о ты, с минуты мирозданья  
Не зревший на берегу еще лица славян, —  
Ликуй и отражай в волнах славянский стан!  
И погрузился крест при громах в древни воды;  
И Рейн обновлен, потек в берегах свободы,  
И заиграл на них веселья звонкий рог;

И быстро ворвались полки в тот страшный лог,  
Где, кроясь, хищник царств ковал им цепи плена.  
Вотще, вотще воздвиг он черные знамена —  
Лишь весть погибели он с ними водрузил;  
Гром русский берега Секваны<sup>238</sup> огласил —  
И над Парижем стал орел Москвы и мщенья!..  
Тогда, внезапного исполнен изумленья,  
Узрел величие невиданное свет:  
О Русская земля! спасителем грядет  
Твой царь к низринувшим царей твоих столицу;  
Он распростер на них пощады багряницу;  
И мирно, славу скрыв, без блеска, без громов,  
По стогнам радостным ряды его полков  
Идут – и тишина вослед им прилетает...  
Хвала! хвала, наш царь! стыдливо отклоняет  
Рука твоя побед торжественный венец!  
Ты предстоишь благий семьи врагов отец  
И первый их с землей и с небом примиритель.  
О незабвенный день!<sup>239</sup> смотрите – победитель,  
С обезоруженным от ужаса челом,  
Коленопреклонен, на страшном месте том,  
Где царский мученик под острием секиры,  
В виду разорванной отцов своих порфиры,  
Молил всевышнего за бедный свой народ,  
Где на дымящийся убийством эшафот  
Злодейство бледную Свободу возводило

---

<sup>238</sup> Древнеримское название реки Сены.

<sup>239</sup> После занятия Парижа был отслужен молебен в присутствии русской армии на площади Согласия, там, где в 1793 г. казнили Людовика XVI.

И Бога поразить своей хулою мнило, —  
На страшном месте том смиренный вождь царей  
Пред миротворною святыней алтарей  
Велит своим полкам склонить знамена мщенья  
И жертву небесам приносит очищенья,  
Простерлись все во прах; все вкупе слезы льют;  
И се!.. подымется спасения сосуд...  
И звучно грянуло: воскреснул Искупитель!<sup>240</sup>  
И побежденному лобзанье победитель,  
Как брат по божеству, в виду небес дает...  
Свершилось!.. освящен испытанный народ,  
И гордо по зыбям потек от Альбиона  
Спасительный корабль, несущий кровь Бурбона<sup>241</sup>;  
Питомец бедствия на трон отцов грядет,  
И старцу братскую десницу подает  
Победоносный друг в залог любви и мира,  
И Людовикова наброшена порфира  
На преступления минувших страшных лет!..  
Свершилось... русский царь! отечество и свет  
Уже рекли свой суд делам неизреченным,  
И свой дадут ответ потомки современным!..  
Богатый чувством благ, содеянных тобой,  
И с неприступною для почестей душой,  
Сияние сокрыв, ты в путь летишь желанный —  
Отчизна сына ждет! об ней средь бури бранной,

---

<sup>240</sup> Торжественный молебен российской армии был отслужен в день Светлого Воскресения.

<sup>241</sup> Речь идет о возвращении из Англии Людовика XVIII, возведенного на французский престол союзниками.

Об ней среди торжеств и плесков ты скорбел,  
И ты, невидимый, чрез земли полетел,  
Где во спасение твои промчались громы.  
Уж всюду запевал свободы глас знакомый:  
На оживающих под плугами полях,  
На виноградником украшенных холмах,  
На градских торжищах, кипящих от народа,  
На самом прахе сел... везде, везде свобода,  
Везде обилие, надежда и покой...  
И все сие, наш царь, дано земле тобой.  
Но что ж ты ощутил, когда твой взор веселый  
Завидел вдалеке отечески пределы  
И ветер, веющий из-под родных небес,  
Ко слуху твоему глас родины принес?  
Что ощутил, когда святого Петрограда  
Вдали перед тобой возникнула громада?  
Когда пред матерью колено преклонил;  
Когда, свершивший все, ко храму приступил,  
Где освященный меч приял на совершенье,  
Где, истребителя начавший истребленье,  
Предтеча в славе твой, герой спасенья<sup>242</sup> спит?..  
Россия, он грядет; уже алтарь горит;  
Уже его принять отверзлись двери храма,  
Уж благодарное куренье фимиама  
С сердцами за него взлетело к небесам!  
И се!.. приникнувший к престола ступеням  
Во прах пред Божеством свою бросает славу!..  
О, Вечный! осени смиренного державу;

---

<sup>242</sup> М. И. Кутузов.

Его душа чиста: в ней благодать лишь одна,  
Лишь пламенем к добру она воспалена...  
Отважною вступить дерзаю, царь, мечтою  
В чертог священный твой, где ты один с собою,  
Один, в тот мирный час, когда лежит покой  
Над скромных жребием беспечною главой,  
Когда лишь бодрствуют цари и Провиденье.  
О царь! в сей важный час – когда Нева в течение  
Объемлет пред тобой тот усыпленный храм,<sup>243</sup>  
Где свой бессмертный след, свой прах оставил нам  
Твой праотец, наш Петр, царей земных учитель, —  
Я зрю тебя, племен несметных повелитель,  
Сей окруженного всемирной тишиной,  
Над полвселенною парящего душой,  
Где все твое, где ты над всех судьбою властен,  
Где ты один всех благ, один всех бед причастен,  
Уполномоченный от неба судия —  
О, сколь божественна в сей час душа твоя!  
Сей полный взор любви, сей взор воспламененный —  
За нас он возведен к Правителю Вселенной;  
За нас ты предстоишь как жертва перед ним;  
Отечество, внимай: «Творец, все блага им!  
Не за величие, не за венец ужасный —  
За власть благодворить, удел царей прекрасный,  
Склоняю, царь земли, колена пред тобой,  
Бесстрашный под твоей незримою рукой,  
Твоих намерений над ними совершитель!..  
Покойся, мой народ, не дремлет твой хранитель;

<sup>243</sup> Собор в Петропавловской крепости на Неве.

Так, мой народ! Творец, он весь в душе моей,  
На удивление народов и царей,  
Его могуществом и счастьем прославлю,  
И трон свой алтарем любви ему поставлю;  
Как небо, над моей простертое главой,  
Где звезд бесчисленных ненарушимый строй,  
Так стройно будь мое владычество земное.  
Правленье Божества – зеркало мне святое:  
Все здесь для блага будь, как все для блага там!  
А ты, дарующий и трон и власть царям,  
Ты, на совете их сидящий благодатью,  
Ознаменуй твоей дела мои печатью:  
Да имя чистое в наследие векам  
С примером благости и славы передам,  
Отец моей семьи и друг твоей вселенны!...»  
Вонми ж и ты своей семье, Благословенный!  
Оставь на время твой великолепный трон —  
Хвалою неверною трон царский окружен, —  
Сокрой свой царский блеск, втеснись без украшенья,  
Один, в толпу, и там внимай благословенья.  
В чертоге, в хижине, везде один язык:  
На праздниках семей украшенный твой лик —  
Ликующих родных родной благодетель —  
Стоит на пиршеском столе веселья зритель,  
И чаша первая и первый гимн тебе;  
Цветущий юноша благодарит судьбе,  
Что в твой прекрасный век он к жизни приступает,  
И славой для него грядущее пылает;  
Старик свой взор на гроб боится устремить

И смерть поспешную он молит погодить,  
Чтоб жизни лучший цвет расцвел перед могилой;  
И воин, в тишине, своею гордый силой,  
Пенатам посвятив изрубленный свой щит,  
Друзьям о битвах тех с весельем говорит,  
В которых зрел тебя, всегда в кипящей сече,  
Всегда под свистом стрел, везде побед предтечей;  
На лиру с гордостью подьмлет взор певец...  
О дивный век, когда певец царя – не льстец,  
Когда хвала – восторг, глас лиры – глас народа,  
Когда все сладкое для сердца: честь, свобода,  
Великость, слава, мир, отечество, алтарь —  
Все, все слилось в одно святое слово: царь.  
И кто не закипит восторгом песнопенья,  
Когда и нищета под кровлею забвенья  
Последний бедный лепт за лик твой отдает,  
И он, как друга тень, отрадный свет лиет  
Немым присутствием в обители страданья!  
Пусть облечет во власть святой обряд венчанья,  
Пусть верности обет, отечество и честь  
Велят нам за царя на жертву жизнь принести —  
От подданных царю коленопреклоненье;  
Но дань свободная, дань сердца – уваженье,  
Не власти, не венцу, но человеку дань.  
О, царь! не скипетром блистающая длань,  
Не прахом праотцов дарованная сила  
Тебе любовь твоих народов покорила,  
Но трона красота – великая душа.  
Бессмертные дела смиренно соверша,

Воззри на твой народ, простертый пред тобою,  
Благослови его державною рукою;  
Тобою предводим, со славой перешед  
Указанный творцом путь опыта и бед,  
Преобразованный, исполнен жизни новой,  
По манию царя на все, на все готовый —  
Доверенность, любовь и благодарность он  
С надеждой перед твой приносит царский трон.  
Предстатель за царей народ у провиденья.  
О! наши к небесам дойдут благословенья:  
Поверь народу, царь, им будешь счастлив ты.  
Поставивший тебя в сем блеске красоты  
Перед ужасною погибели пучиной,  
Победоносного над грозною судьбиной —  
Ужель на краткий миг он нам тебя явил?  
О нет! он наших зол печатью утвердил  
Завет: хранить в тебе все блага, нам священны —  
И не обманет нас от века неизменный.  
Прими ж, в виду небес, свободный наш обет:  
За благодать царскую, краснейшую побед,  
За то величие, в каком явил ты миру  
Столь древле славную отцов твоих порфиру,  
За веру в страшный час к народу твоему,  
За имя, данное на все века ему, —  
Здесь, окружая твой престол, Благословенный,  
Подъемлем руку все к руке твоей священной;  
Как пред ужасною святыней алтаря  
Обет наш перед ней: всё в жертву за царя.

(14–16 октября 1814 года)

Бескорыстность Послания к императору, о которой говорит Жуковский, касалась большей частью материальной стороны, так как упование на монаршую милость в мыслях Василия Андреевича все же присутствовало. «Знаешь ли, – обращается он к А. И. Тургеневу, – что в голове моей бродит новая химера? Что-то похожее на надежду. Вот что я здесь слышал. Государыня Мария Федоровна знает *обо всем* но, кажется, знает не так, как должно. Она думает, что М.<sup>244</sup> моя сестра. Если она бы знала настоящее положение вещей, то, вероятно, так же, как и я, и ты, считала бы возможным *все*. Это одна только тень надежды. Подумай сам и сообщи мне свои мысли; тогда поговорим обо всем пространнее. Ты занимаешь такое место<sup>245</sup>, которое дает тебе доступ к утесам священных наших законодателей церкви. Эти две силы, Трон и Синод, могли бы победить предрассудок. Подумай и напиши ко мне. А я тебе доставлю все нужные подробности. Чтобы заставить тебя действовать, не нужно, кажется, представлять твоему воображению то счастье, каким бы твой товарищ наслаждался в жизни. Другого нет! А в этом счастье

---

<sup>244</sup> Марья Андреевна Протасова.

<sup>245</sup> А. И. Тургенев, занимая должность директора департамента духовных дел иностранных исповеданий, находился под начальством «друга царева» князя Александра Николаевича Голицына, который одновременно был обер-прокурором Святейшего Синода и главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий.

все – поэзия, слава, жизнь. На Воейкова<sup>246</sup> полагаться нечего: он не имеет характера. Я очень хорошо могу жить с ним вместе, но ждать от него нечего. Это между нами»<sup>247</sup>.

Послание к императору стало поворотным в судьбе поэта. Поэзия, слава, жизнь – все это стало приобретать конкретные очертания монаршей милости, правда, не те, о которых мечтал В. А. Жуковский в своей «новой химере». В конце 1814 года Василий Андреевич обращается из Черни или Болхова к А. П. Киреевской со словами: «Слава для меня имя теперь святое. Хочу писать к царю – предмет высокий, и я чувствую, что теперь моя душа ближе ко всему высокому. В ней живее все прекрасные мысли о Провидении, о добре, о настоящей славе. Кому я всем этим обязан? Право, не знаю, что славнее в моем сердце: любовь или благодарность? Не беспокойтесь обо мне, не представляйте себе моего состояния низким унынием? Жизнь и без счастья кажется мне теперь чем-то священным и величественным. Я могу теперь ее ценить, и, как пророк, знаю свое будущее. А Провидение, которое во всем для меня видимо и слышно, – какое величие дает оно и свету, и жизни»<sup>248</sup>.

А. И. Тургенев сам прочел вслух вдовствующей императрице Марии Федоровне Послание к Александру I. Это собы-

---

<sup>246</sup> Александр Федорович Воейков.

<sup>247</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 454.

<sup>248</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 103.

тие произошло 30 декабря 1814 года. Александр Иванович читал с большим чувством и с глазами, полными слез (поэтический язык Жуковского живо выражал минувшие, но еще животрепещущие события). Во время чтения императрица следила по приготовленной специально для нее рукописи и несколько раз прерывала Тургенева, выражая свое удовольствие. Великая княжна Анна Павловна и великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович с чувством произнесли: «Прекрасно, превосходно, *c'est sublime*<sup>249</sup>». Свой восторг не могли сдержать С. С. Уваров и Ю. А. Нелединский-Мелецкий, как и многие другие высокопоставленные лица.

Государыня приказала немедленно сделать великолепное издание Послания к императору в пользу В. А. Жуковского и пожелала, чтобы он непременно сам приехал в Петербург и был представлен ей и чтобы все его новые стихи были доставлены ей поскорее. В адрес Жуковского был направлен от Марии Федоровны очень милостивый рескрипт.

«За твои хлопоты о моем Послании не нужно, мне кажется, тебя благодарить, – пишет В. А. Жуковский из Москвы в Петербург 1 февраля 1815 года А. И. Тургеневу. – Чувствую по себе, как тебе это весело. И ничто меня так не радует, как то, что ты был чтецом моего Послания. Слава – доброе дело, а слава из рук друга есть сокровище. Эта слава есть счастье, и в ней, право, самолюбие мало участвует. Она напоминает о любви, о товариществе и приобретается лучшими наслажде-

---

<sup>249</sup> Возвышенно (*фр.*).

ниями, то есть уединенным трудом, который успокаивает и возвышает душу. Такая слава есть награда всего *доброто*. А я себе часто говорю (не знаю только, буду ли в состоянии исполнить): живи, как пишешь! То есть и в том, и в другом одна цель и одно совершенство. Чтобы человек *моральный* не был несходен с человеком *с талантом*. Самые замечаемые мною события и замечаемые другими ошибки в том, что я написал, только пробуждают во мне надежду написать что-нибудь лучшее, а нимало не отымают у меня бодрости. Думая о тех немногих людях, которые на меня смотрят, которые меня любят и мною радуются, я сам радуюсь, что имею талант, и мысль об них ободряет меня. Если вы не даете мне счастья вашего дружбою, то часто, часто заставляете забывать тяжелое горе, тем более тяжелое, что оно скрытное и нередко бывает самое унижительное. Мне часто бывает нужна помощь извне и от руки милой, чтобы о себе вспомнить и не совсем упасть духом»<sup>250</sup>.

Согласно письму, В. А. Жуковский в январе 1815 года прибыл в Москву, где остановился по обыкновению в доме Н. М. Карамзина. Через Москву в Дерпт проезжала Екатерина Афанасьевна Протасова с молодыми Воейковыми, Александром Федоровичем и Александрой Андреевной, и Марьей Андреевной, и Жуковский, с помощью друзей, едва выпросил у «тетушки» согласие сопровождать их с тем, чтобы помочь устроиться на новом месте жительства. Василий

---

<sup>250</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 454–455.

Андреевич был вновь несчастлив, и несчастлив *самым убийственным образом*. То, что давало тень надежды, казалось ему самому *химерою сумасшедшего*. «Мне кажется, – обращается поэт к другу своему А. И. Тургеневу, – что государыня, которая уже что-то обо мне знает, могла бы дать нам счастье. Но вероятно ли, чтобы могла она заняться моею судьбою? А здесь нужна осторожность. Матери<sup>251</sup> самой уже известно, что государыня знает обо мне. Она сочтет за особенное для себя достоинство отказать и государю и на его требование, если бы и он вступился. Но и мне как желать принужденного согласия? Я знаю характер Маши. Она была бы несчастлива. Что ж за польза из одной бездны перевести ее в другую и еще быть самому причиною ее страдания? Надобно действовать на мнение матери: опровержение предрассудка, приходящее с трона, было бы весьма убедительно. Если бы подкрепить его мнением какого-нибудь из наших святителей и архипастырей и прочее, и прочее, тогда бы нечего было говорить, и совесть бы замолчала. Вот в чем дело. Я ей брат, то есть брат матери; но закон не дал мне этого имени. Закон письменный противится бракам между родными; но родства в натуре нет. Та же религия представляет этому пример: Авраам женат был на родной сестре, а он предок Мессии, следовательно, его брак *по натуре* не есть преступление. *Натура и Бог не противятся этому браку*; противится ему один закон человеческий; но чтобы закон человеческий

---

<sup>251</sup> Екатерина Афанасьевна Протасова.

ему противился, надобно, чтобы закон его и определил. Закон не назвал меня ее братом, следовательно, подхожу под один закон природы; а он против меня. Лютеранская же религия и римско-католическая разрешают браки и между родными, наименованными самым законом общественным. Вот тебе канва моих мыслей об этом предмете. Если бы могли это растолковать матери с трона, если бы это было подтверждено каким-нибудь голосом, идущим из-под рясы, тогда бы она могла и сама согласиться, тем более, что она не имеет никаких ясных и определенных понятий, а действует по какому-то жестокому побуждению фанатизма. Вообрази, брат, как бы я был счастлив; подумай о всей будущей жизни моей. Подумай, что для меня уже теперь ничто не переменится, и что я не могу думать об отдельном своем счастье, которого для меня быть не может, и сделай все, что можешь. <...> Если можно, представь мое положение государыне в настоящем его виде. Может быть, дерптская жизнь моя будет лучше, нежели, как я себе ее представляю. Но если она будет такова, какую мне видится в иные минуты, то и я, и Маша пропадем. Прощай тогда и талант, и слава! Хорошо, когда бы можно было сказать, без неблагодарности: прощай и жизнь! Так и быть! Поверяю судьбу свою дружбе»<sup>252</sup>.

И в том же духе письмо В. А. Жуковского А. И. Тургеневу от 4 февраля 1815 года: «Вчера еще получил от тебя письмо

---

<sup>252</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 456–457.

и читал здесь письмо Офросимова<sup>253</sup>, который пишет к Юшковым о двухтысячном жалованье, о месте, для меня приготовленном, и прочее. Брат, не забывай ради Бога, что мне ни место, ни жалованье не могут быть нужны. Мне место знаешь где, и все возможное счастье там же. Я желал бы, чтобы ты об этом помнил и с этим соображал все то, что вздумаешь для меня сделать. На прошедшей почте я писал к тебе, и довольно много, но не знаю, объяснил ли хорошо свои мысли. Здесь прибавлю только одно: если государыня и захочет что-нибудь для меня сделать, то все будет бесполезно, если употребить только одно средство власти. Может быть, и послушаются приказания; но к чему это послужит? Только к разрушению семейного покоя. Если бы могло быть написано к матери<sup>254</sup> такое письмо, в котором бы более убеждали, а не приказывали; если бы, например, было в этом письме сказано, что обстоятельства и связи мои *известны*, что, по мнению сведущих, нет никакого противоречия для заключения брака, что государыня вступается за это по этому убеждению, тогда верно бы все концы в воду. Я знаю, что мать сама устала противоречить и рада будет на чем-нибудь опереться. Может быть, я покажусь тебе смешон и странен со своими надеждами и выдумками. Но ты не требуй от меня благоразумия: я рад привязаться к тени. Только ты употре-

---

<sup>253</sup> Александр Михайлович Офросимов, муж племянницы В. А. Жуковского, Марьи Петровны, дочери Варвары Афанасьевны Юшковой.

<sup>254</sup> Екатерина Афанасьевна Протасова.

би все способы, без рассеяния и вошедши хорошенько в мое положение, уверившись раз навсегда, что мне этого *счастья* ничто никогда заменить не может. А ты, кажется, более думаешь о моих чинах и кармане. Правда, карман не лишнее: на нем основана свобода. Об этом поговорим, когда увидимся»<sup>255</sup>.

Как бы то ни было, петербургские друзья В. А. Жуковско-го: А. И. Тургенев, С. С. Уваров, Д. Н. Блудов, Ю. А. Нелединский-Мелецкий – продолжали усердно хлопотать о нем и настойчиво требовали его приезда в Петербург, видя в этом переезде лучший исход для его личной жизни.

Василий Андреевич боялся петербургской жизни, боялся *рассеянности*, боялся своей *бедности* и *нерасчетливости* и все же в мае 1815 года покинул Дерпт. «Вот я в Петербурге, – писал Жуковский 24 мая А. П. Киреевской, – с совершенным, беззаботным невниманием к будущему. Не хочу об нем думать. Для меня в жизни есть только прошедшее и одна настоящая минута, которою пользоваться для добра, если можно – зажигать свой фонарь, не заботясь о тех, которые удастся зажечь после. Так нечувствительно дойдешь до той границы, на которой все неизвестное исчезнет. Оглянешься назад и увидишь светлую дорогу. Но что же вам сказать о моей петербургской жизни? Она была бы весьма интересна не для меня! Много обольстительного для самолюбия, но мое самолюбие разочаровано – не скажу, опытом, но тою при-

---

<sup>255</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 457.

вязанностию, которая ничему другому не дает места. Здесь имеют обо мне, как бы сказать, большое мнение. И по сию пору я таскался с обыкновенною ленью своею по знатностям и величиям. Тому уж с неделю, как был я представлен императрице и великим князьям... К этому прибавьте огромный петербургский свет...»<sup>256</sup>.

В целом, Петербург произвел на В. А. Жуковского удручающее впечатление (убийственное и крепко осушающее душу), хотя литературной работой своей он мог быть доволен: и переводил, и сочинял, и читал. «Хочется кончить начатого “Певца”<sup>257</sup>; потом сделаю издание Муравьева<sup>258</sup> сочинений; между тем готов план журнала, который надобно будет выдавать с будущего года; после Муравьева издание своих сочинений – все это, то есть учредить издание журнала, напечатать свои сочинения, выдать Муравьева, – надобно здесь! Потом (ибо я не забыл о том, что писал к вам об опекунстве<sup>259</sup>, хотя теперь кажется мне, что берусь за невозможное) думаю перетащиться к вам – на родину, в семью, но об этом

---

<sup>256</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 109.

<sup>257</sup> Речь идет о сочинении 1812 года «Певец в стане русских воинов».

<sup>258</sup> По просьбе Екатерины Федоровны Муравьевой (вдовы известного общественного деятеля и писателя, товарища министра народного просвещения и попечителя Московского университета Михаила Никитича Муравьева), Жуковский занимался изданием сочинений ее покойного супруга.

<sup>259</sup> В. А. Жуковского не оставляет мысль о принятии опеки над имуществом детей А. П. Киреевской.

решительно скажу в конце нынешнего года, которого остаток необходимо надобно провести в Петербурге»<sup>260</sup>.

Чувствуя душевное состояние В. А. Жуковского, А. П. Киреевская пишет 10 июля 1815 года из Долбино: «Ванюша<sup>261</sup> заплакал от радости, получа ваш милый портрет<sup>262</sup>, да, признаюсь, поплакала над ним и я. Сначала от радости, а потом и не от радости. Когда же эта милая рожица будет выражать счастье! С тех пор как я его получила, мне очень грустно, и от этого сходства, от задумчивого этого взгляда, и от доброй, выражающей всю прелестную душу вашу, но несносно горестной улыбки, и от вашего письма. Милый друг! Когда ж глупые мысли перестанут гнездиться в душе вашей? Я очень вижу, каким манером завел их туда Владимир<sup>263</sup> со всеми своими дурацкими предсказаниями; как все окружающее вас усиливает их то надеждами, то обманами, и как вы, по свойственной вам общей рассудительности, принимаете все за *предчувствие* и за *пророчества*. Помните, как вы писали Послание к царю? Как уверены были, что не удастся его кончить? Помните ли Эльвину и Эдвина<sup>264</sup>? Каким она вас страхом поразила? Вас как изобретателя, а меня за вами. Как

---

<sup>260</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 110.

<sup>261</sup> Иван Васильевич Киреевский.

<sup>262</sup> Речь идет о портрете В. А. Жуковского, выполненном по заказу С. С. Уварова О. А. Кипренским.

<sup>263</sup> Речь идет о замысле В. А. Жуковского написать «Владимира».

<sup>264</sup> Речь идет о балладе В. А. Жуковского «Эльвина и Эдвин».

мы не смели сообщить друг другу своей боязни и как долго уже спустя посмеялись над тем страхом, который из доброй воли *насочинили* себе сами? Помните ли Валленштейна<sup>265</sup>? Помните Шиллерову историю о 30-летней войне<sup>266</sup> и как суд неба, произнесенный над Густавом Адольфом<sup>267</sup>, по

---

<sup>265</sup> Речь идет о трилогии Фридриха Шиллера «Валленштейн», завершенной в 1799 году. Главный герой трилогии Альбрехт Валленштейн, лицо историческое, с 1625 года – генералиссимус, главнокомандующий армией Австрийской империи, боровшийся во время тридцатилетней войны (1618–1648) с коалицией протестантских государств, во главе которой стояла Швеция. По обвинению в сношениях с неприятелем он был отстранен от командования и убит своими офицерами.

<sup>266</sup> Речь идет об обширном труде Фридриха Шиллера «История Тридцатилетней войны», над которым поэт работал в 1791–1793 гг.

<sup>267</sup> Речь идет о битве при Лютцине 16 ноября 1632 года, одной из крупнейших битв Тридцатилетней войны между шведскими войсками под командованием Густава II Адольфа и габсбургскими подразделениями во главе с Альбрехтом Валленштейном. В 1632 году войска католической лиги под командованием Валленштейна вступили в район Саксонии. Следом за ними выступили войска Густава Адольфа. Вблизи Наумбурга Густав выстроил свои подразделения и ожидал противника. После получения информации о том, что Валленштейн выслал свои подразделения во главе с Паппенгеймом в направлении Галле и Лютцена, 15 ноября Густав направил свои войска в том же направлении. Валленштейн быстро сориентировался в ситуации, собрал свои подразделения и приказал Паппенгейму вернуться. Заняв позицию на север от дороги на Лейпциг, он выстроил войска фронтом на юг. Центр позиции заняли четыре колонны пехоты, а кавалерия была расположена на холмах – правое крыло в окрестностях Лютцена во главе с Генрихом фон Голком, а левое под командованием Матиаса Галаса. Утром 16 ноября шведы начали движение из местности Риппах в направлении имперских войск. Шведская армия состояла из двух частей, в состав каждой входила пехота и кавалерия. Оценив ситуацию, Густав приказал армии сместиться влево, и ее правое крыло попало под огонь имперской артиллерии, которая обстреливала

разил вас? Милый друг! Сколько раз мы делали себе химеры счастья и несчастья; сколько раз плакали и радовались над мечтами вашего воображения, а счастье, и несчастье, и будущее со своими мечтами приходили, совсем не спрашиваясь с вашими ожиданиями, и заменяли их новыми горестями и новыми бреднями. Вам много еще осталось в жизни, Владимир не один должен оставить след этой милой жизни...»<sup>268</sup>.

Мысль о возвращении в Долбино, на родину, не оставляет В. А. Жуковского. Он еще раз пишет об этом А. П. Киреевской 30 июля – 2 августа 1815 года, но уже из Дерпта, куда прибыл на крестины дочери Александры Андреевны

---

шведские колонны на марше. Только около полудня силы Густава добрались до линии противника и начали битву. Густав решил нанести главный удар силами правого крыла своей армии, которым он командовал лично. Целью короля было выбить противника из Лютцена. Здесь разгорелись важнейшие бои, в которых имперские войска постепенно отступали перед шведами. Во время битвы кавалерия Паппенгейма нанесла по шведам удар, но они смогли отбить атаку, а Паппенгейм был смертельно ранен. Подкрепления имперская армия получила также от Октавио Пикколомини, который во главе двух полков вступил в битву. Вступление в бой новых сил было совершенно неожиданно для Густава, и во время одного из боев король был смертельно ранен. После его смерти битва продолжалась. Разозленные смертью полководца шведы продолжали отчаянно биться под командованием князя Бернарда Веймарского. Под вечер Бернарду удалось вынудить имперские войска отступить. На поле боя сражалась пехота под командованием раненного Валенштейна. Забрав тело убитого Паппенгейма, имперские войска начали отступление в направлении Лейпцига, оставив на поле боя всю артиллерию и до 3000 убитых. Шведы в битве при Лютцине потеряли около 1500 убитыми и ранеными, включая короля Густава Адольфа.

<sup>268</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 110–111.

и Александра Федоровича Воейковых Екатерины Александровны<sup>269</sup>: «...Весело думать об вашем уголке, как о настоящей родине, где все: и родство, и дружба, и воспоминание о прошлом, и настоящее – утешение. О будущем говорить нечего. Давно у нас, кажется, решено, что о будущем думать не надобно, что надежда дело излишнее. <...> Здесь приняли меня ласково и ласка продолжается. Но, признаюсь, сам не понимаю своего положения и даже не умею его описать. Я приехал с тем, чтобы, окрестивши, опять уехать в Петербург, из Петербурга на родину. Вспомните, что я обещал, и что заставило меня сделать обещание, и что я надеялся получить за него. Обещание это помнят; побудительной причины никто, кроме меня и Маши, здесь не знают, а ласкою думают все сделать. Но при этой ласке положение то же, одни только формы переменялись. Я не могу быть ни доволен, ни счастлив и, со всем тем, по-видимому, не имею права ничего более требовать. С самого моего приезда я веду жизнь занятую, то есть сижу в своей горнице за работою, а к ним являюсь только на минуту поутру, за обедом да за чаем. Из этого заключают, что все кончилось, что петербургская жизнь меня

---

<sup>269</sup> На рождение Екатерины Александровны ВоейковойЗдравствуй, новый гость земной,К счастью в мир тебя встречаем,И в восторге над тобой Небеса благословляем.За минуту все в слезах;Мать растерзана страданьем;Близ нее безмолвный страхС безнадежным ожиданьем.Вдруг все тихо – все для насПолно жизни и надежды;Твой раздался первый глас,И твои раскрылись вежды!..Там грядет с востока к намУтро, гость небес прекрасный, И спокойным небесамДень пророчествует ясный.Ободримся! в добрый часНовый жизни посетитель!Небеса его – для нас!А над нами наш хранитель!(26 июня 1815 года)

совсем переменила, и платят мне ласкою, думая, что мне уже более ничто не нужно и что с их стороны все уже сделано. И, в самом деле, как объяснить то, что мне нужно? Я знаю и чувствую, что для меня ничего не сделано, но где слова, чтобы это выразить, и какими документами это доказать, – а вы знаете, что здесь все должно быть доказано документами. Я приехал сюда с твердым намерением ничего не требовать, а довольствоваться собственным, – из этого заключают, что я всем доволен. Но можно ли быть довольным? С Машею мы розно по-старому, по-старому нет между нами ничего общего! Непринужденной, родственной связи между нею и мною нет, а я только для этого мог бы всем жертвовать! Я сказал, что хочу быть братом и, право, мог бы им быть во всей силе этого слова, чувствую это и теперь так, как чувствовал тогда; но я в то же время сказал, для чего и на каких условиях хочу быть им: это *для чего* забыто, а помнят только слово *брат*, которое все мое у меня отнимает, а мне от них не дает ничего, кроме одной формы. Здесь остаться иначе не могу, как исполнив в точности свое обещание, но как же его исполнить! При тех обстоятельствах, каковы теперь, я не могу, да и не хочу исполнять его! Вот одно, что поддерживает мое намерение здесь не оставаться. Но причины, для которой не останусь, не поймет никто, – припишут капризу и даже неблагодарности. Впрочем, до этого дела нет! Мне нужна доверенность одного человека – и я ее имею. Невозможно и требовать, чтобы они могли понять меня. Для этого надобно

бы было позабыть о себе и войти в мое положение. Такого усилия над собою тетушка сделать не может. А Воейков – но его я совершенно вычеркнул из всех моих расчетов. Будучи товарищем и родным Маши, я мог бы и его любить, как Сашина<sup>270</sup> мужа, теперь же он для меня не существует. Но он все единственно родня Маши, а я здесь только живу, имею общую дружбу – не надобно быть несправедливым: тетушка со мною ласкова очень, но вот и все тут, все остальное не принадлежит до меня! Одним словом, я имею весь вид родства, между тем, обещанное должен исполнять не для виду. Жаловаться не на что, но есть ли чем быть довольным? Здесь оставаться – быть братом, не для формы, а в самом деле, потому что так обещано. Но вопрос: будешь ли им? На это вам самим легко отвечать. Одному быть братом нельзя! Но буду ли иметь то, что брат иметь должен? Буду иметь одну ласку и только! До прочего же не касайся. Итак, останется сидеть в своей горнице, работать, а с ними не иметь ничего общего, несмотря на ласку – такое положение тяжело и едва ли еще не тяжелей прежнего, ибо оно, по-видимому, у меня отнимает всякое право чего-нибудь требовать. Здесь всякий день записывают то, что делается, и я пишу в числе прочих. Вот что написала тетушка в одном месте: “Добрый мой, несравненно драгоценный мой Жуковский опять дает мне надежду на прежнюю дружбу, опять вселяется в мое сердце спокойствие и уверенность на ангельские связи на земле” и прочее. Слово

---

<sup>270</sup> Александра Андреевна Воейкова (урожденная Протасова).

*ангельские связи* написано, но где же эти *ангельские связи* на деле? Я знаю, что она имеет ко мне дружбу, но действие этой дружбы совершенно ничтожно, и она не дает счастья. Опять дает надежду! Как будто я отымал ее! Неужели дружба приходит и уходит, как лихорадка! Чтобы дать кому-нибудь счастье, надобно войти в его положение, а не располагать им по-своему! Этого-то здесь и недостает. С моей стороны требуют Бог знает какого усилия, а с своей не хотят сделать ни малейшего, забыв, что одно без другого невозможно. Так! Я дал обещание быть братом – чувство, которое заставило меня его дать, слишком было прекрасно, чтобы от него отказаться! Но пусть же буду им вполне! Половинным счастьем (которое не есть счастье), тем, что есть теперь, я довольствоваться не могу, да и не должен, потому что невольно нарушишь обещанное. Все нечувствительно делается по-старому. Из всего, что здесь написано, вы легко можете заметить, что у меня в душе какой-то хаос. Постарайтесь его немного рассеять и бросьте несколько света в этот мрак. Вам легко судить о моем положении и объяснить его для меня. Здесь бывают для меня обольстительные минуты, но я им не верю. Остаться здесь значит не получить того счастья, которое было бы возможно, и в то же время отказаться от собственного чувства, следовательно, все отдать за ничто. Уехать – по крайней мере сберечь для себя что-нибудь драгоценное. Будучи с вами, я буду гораздо менее розно с Машею, нежели здесь, и буду иметь право на все свои чувства. Меня с ва-

ми все соединяет и ничто не рознит. Простите до будущей почты. Теперь ничего вам порядочно сказать не умею. Величайший беспорядок в голове и все в разброде.

<...> Если дадут мне то, чего мне единственно хочется – независимость (а моя независимость в том, чтобы иметь только самое нужное, но верно), то я соберусь, вероятно, весною к вам. У меня в голове прожект: съездить нынешним годом в Киев и оттуда, если можно будет, в Крым. Этот во-  
яж нужен будет для моей поэмы<sup>271</sup>. Подумайте и вы, друзья, об этом. Что если бы мы вместе в Киев? А в Дерпте? Нет, я чувствую сам и ясно, что в Дерпте быть не должно! Того не будет, чего мне хочется! А так жить, как жил прежде, как живешь теперь, нельзя! Убьешь Машу, тетушку и себя. Не надобно и от тетушки требовать многого, не надобно и к ней быть несправедливым – нельзя же переселить в нее образа своих мыслей! Следовательно, нельзя и надеяться, чтобы принуждение когда-нибудь миновалось! А при нем никак ни за что ручаться не должно. Живучи здесь, надобно исполнить обещанное свято, иначе разрушишь и свое, и их спокойствие! А как исполнить, когда никто не поддержит. Но чтобы решиться одинаково со мною чувствовать, надобно войти в мое положение – это ей невозможно! Невозможность этого давно доказана опытом. Итак, покориться судьбе своей, да быть, если можно, твердым, не унывать, довольствоваться тем, что есть; вы, друзья, мне в этом будете добрые помощ-

---

<sup>271</sup> Речь идет о замысле В. А. Жуковского написать «Владимира».

ники. Лишь бы только выхлопотать себе независимость – я бы перелетел к вам, на родину, к родным. Там наш кружок будет очень мал, но мы будем жить, если не с счастьем, то с дружбою, и станем вместе тянуть свой крест. Мне кажется, что у вас поживет для меня многое, что в короткое время петербургской жизни моей успело завянуть...»<sup>272</sup>.

В. А. Жуковский выехал из Дерпта в Петербург 24 августа 1815 года, твердо решив не появляться там больше. «Там, – сообщал он А. П. Киреевской, – быть невозможно – как ни тяжело розно, как ни порывается к ним душа, как ни украшает отдаление все то, что так печально вблизи, но быть там нельзя! В этом я теперь уверен! Самое бедственное, самое низкое существование, убийственное для Маши и для меня! Быть рабом и, что еще хуже, сносить молча рабство Маши – такая жизнь хуже смерти! Но вот что диво! На половине дороги от Дерпта мой *шептун*<sup>273</sup> шепнул мне, что все еще может перемениться, и я принялся писать к Екатерине Афанасьевне письмо, воображая, что меня зовут назад, что на все соглашаются, что мы все становимся дружны, что между нами, с уничтожением всех препятствий, поселяется искренность, согласие, покой – одним словом, воображение загуляло и только на последней странице остановилось. Я перечитал свое письмо, нашел в нем все то же, что говоре-

---

<sup>272</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 111–116.

<sup>273</sup> Шутливое прозвище А. П. Киреевской.

но было и писано двадцать раз, и все, что казалось так возможным за минуту, вдруг сделалось невозможностью. И я решил спрятать это письмо за номером в архив разрушенных химер и въехал в Петербург с самым грустным, холодным настоящим и с самым пустым будущим в своем чемодане. Но теперь опять что-то загомозилось для меня в будущем – что-то похожее на надежду. Вот в чем дело. Я приезжаю к Павлу Ивановичу<sup>274</sup>. Он по одному письму Екатерины Афанасьевны стал меня допрашивать обо мне и Маше; я в этот раз ничего ему не сказал ясно, но лицо мое и несколько слез сказали за меня яснее. Между тем Александр Павлович<sup>275</sup> все сказал своей матери, которая – подивитесь – говорит, что она не находит ничего непозволенного, что между нами нет родства! Важная победа! Хотя Павел Иванович и не согласен еще с нею, но он верно согласится. Я уже два раза с ними говорил – один раз с нею одной, другой раз с нею и с ним вместе. Марья Николаевна<sup>276</sup> почти обещала писать, между тем, узнавши от них решительное их мнение, и если согласятся написать письмо к Екатерине Афанасьевне, я напишу и к Елене Ивановне<sup>277</sup>, чтобы она, с своей стороны,

---

<sup>274</sup> Речь идет о родном дяде Марьи Андреевны Протасовой Павле Ивановиче Протасове.

<sup>275</sup> Речь идет о сыне Павла Ивановича Протасова Александре Павловиче Протасове.

<sup>276</sup> Речь идет о супруге Павла Ивановича Протасова Марье Николаевне Протасовой.

<sup>277</sup> Речь идет о дочери барона Ивана Петровича и баронессы Марии Алексеев-

написала. Это единственное нам остается средство; если оно не поможет, то поджать руки и ждать с терпением The great teacher<sup>278</sup>»<sup>279</sup>.

4 сентября 1815 года В. А. Жуковский был вновь представлен императрице Марии Федоровне. Свое посещение дворца Василий Андреевич описал А. П. Киреевской как всегда просто и искренне: «Я имел здесь и приятные минуты, и где же? Там, где никак не воображал иметь их. Во дворце царицы! Дня через два по приезде моем сюда Нелединский уведомил меня, что надобно с ним вместе ехать в Павловск. Я отправился туда один 4 числа поутру и пробыл там 3 дня, обедал и ужинал у царицы и возвратился с сердечною к ней привязанностью, с самым приятным воспоминанием ласки необыкновенной. В эти три дня не было ни одной минуты для меня неловкой: простота ее в обхождении так велика, что я нисколько не думал, где я и с кем я; одним словом, было весело, потому что сердце было довольно. В первый день было чтение моих баллад в ее кабинете, в приватном ее обществе, состоявшем из великих князей, двух или трех дам, Нелединского<sup>280</sup>, Вилламова<sup>281</sup> и меня. Читал Нелединский:

---

ны Черкасовых Елене Ивановне Черкасовой.

<sup>278</sup> Великого учителя (времени) (*фр.*).

<sup>279</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 119–120.

<sup>280</sup> Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий.

<sup>281</sup> Григорий Иванович Вилламов.

сперва Эолу арфу<sup>282</sup>, потом Людмилу<sup>283</sup>, потом – опять Эолу арфу, которая особенно понравилась, потом Варвика<sup>284</sup>, потом Ивика<sup>285</sup>. На следующем чтении, которое происходило уже в большем кругу, читал я сам Певца, потом Нелединский – Старушку и Светлану<sup>286</sup> и, наконец, Послание к царю. Эти минуты были для меня приятны, но не самые приятные – здесь вмешивается беспокойное самолюбие автора. Но то, что было для меня особенно приятно, есть чувство благодарности за самое трогательное внимание, за добродушную ласку, которая некоторым образом уничтожила расстояние между мною и государыней. Эта благодарность навсегда останется в душе моей. Очень весело принести ее из того круга, в который других заманивает суетное честолюбие, не дающее никаких чистых наслаждений. У меня его нет. Добрый сторож бережет от него душу. И тем лучше! Можно без всякого беспокойства предаваться простому, чистому чувству. Я не был ослеплен ни на минуту, но зато часто был

---

<sup>282</sup> Речь идет об одноименной балладе В. А. Жуковского, написанной в 1814 году.

<sup>283</sup> Речь идет об одноименной балладе В. А. Жуковского, написанной 14 апреля 1808 года.

<sup>284</sup> Речь идет об одноименной балладе В. А. Жуковского, написанной в 1814 году.

<sup>285</sup> Речь идет об авторском переводе В. А. Жуковским баллады Ф. Шиллера «Ивиковы журавли» (1813 год).

<sup>286</sup> Речь идет об одноименной балладе В. А. Жуковского, посвященной поэтом своей племяннице Александре Андреевне Протасовой (1811 год).

тронут»<sup>287</sup>.

Как видно из письма, руководителем В. А. Жуковского в этом его посещении императрицы Марии Федоровны был Ю. А. Нелединский-Мелецкий, о котором он сообщает А. П. Киреевской буквально следующее: «У меня был и проводник прелестный. Нелединский редкое явление в нынешнем свете. Он взял меня на руки, как самый нежный родной, и ни на минуту не забыл обо мне – ни на минуту его внимание не покидало меня. Где бы я ни был, он всюду следовал за мною глазами: все сам за меня придумывал, предупреждал меня во всем и входил со мною в самые мелкие подробности»<sup>288</sup>.

И как всегда важное, не оставившее Жуковского даже в приемном зале императрицы, *обстоятельство*: «В первый день моего пребывания в Павловске, пошедши представляться государыне, мы должны были несколько времени дожидаться ее, потому что она писала письмо к государю. Мы уселись с Нелединским в зале, и, не знаю как, дошел разговор до того, что он у меня спросил о моих обстоятельствах, то есть о родстве, какое у меня с Екатериной Афанасьевной. Я сказал, в чем оно состоит. Он принялся чертить кружки и линейки, и по рисунку вышло, что между мною и Машей родства нет. Но тем это и кончилось. Я не рассказывал ничего, да и не нужно. Дело состоит в том, чтобы тетушка сама

---

<sup>287</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 121.

<sup>288</sup> Там же. С. 121–122.

согласилась; не будет этого, не будет семейного покоя. А как же без него искать чего-нибудь? И государыня знает обо мне – но я к этому способу не прибегну. Никакой другой власти не должно требовать, кроме власти убеждения. Если сердце тетушки молчит, то чем его говорить заставить? Голос родных будет действительнее, но и на него плоха надежда. Сердце ее молчит крепко. Что ей надобно, то ей и мило, хотя бы оно было и отвратительно – я этому видел примеры. Для меня и, надобно признаться, для Маши она глаз не имеет. Иначе как бы смотреть с таким равнодушием на наши потери, как бы не употребить всего усилия, чтобы хотя не страдать за них – все в ее власти, все ей легко. И, несмотря на это, все у нас взято»<sup>289</sup>.

В. А. Жуковский вызвал к себе большое расположение императрицы Марии Федоровны, и она пригласила поэта к себе на должность придворного чтеца, за которой последовали, помимо дружеского внимания, слава и почести большого петербургского света. Материальные условия были для нуждающегося поэта очень выгодны. Что же до литературных занятий, то они не очень шли в то время. Творчество нуждается во вдохновении... Очевидно, в этом кроется желание Василия Андреевича вернуться к себе в деревню. «Вот уже я две недели с лишком в Петербурге, а еще не принимался ни за что. И не знаю, когда примусь. К новой моей надежде я совсем не привязываюсь, я смотрю на нее, как на

---

<sup>289</sup> Там же. С. 122.

волка в овечьей коже, и не подхожу к ней близко. Если ничто не сбудется, то выползу к вам, на ваш берег, к друзьям и к уединению. Здесь, во всяком случае, мне должно пробыть, по крайней мере, до конца февраля, чтобы кончить издание своих стихов и еще кое-какие работы, а скоро ли примусь за них, не знаю. Здесь не Долбино. Да и перспективы прежней уже нет. Думаю, что голова и душа не прежде, как у вас, придет в некоторый порядок – у вас только буду иметь свободу оглядеться после моего пожара, выбрать место, где бы поставить то, что от него уцелело, и вместе с вами держать наготове заливную трубу. Здесь беспрестанно кидает меня из одной противности в другую: из мертвого холода в убийственный огонь, из равнодушия в досаду. <...> Знаете ли, что мне приходит в голову? Купить у вас десятины три земли, и построить на них домики, и жить доходом с денег... Кажется, это бы можно. Что мне нужно? Свобода, работа и маленький достаток. Право, я не почитаю этого химерою. Клок земли подле Мишенского или подле Долбина, но клочок собственный. Чтобы было довольно для сада и огорода. На содержание себя деньги, которых немного нужно и которые легко бы было вырабатывать, – и при всем этом забвение о будущем и жить для настоящего. Если раз залезу в этот угол, то уже из него будет трудно меня вытащить»<sup>290</sup>. Это из письма к А. П. Киреевской от 16 сентября 1815 года, которая 23 ноября того же года обратилась к *милому другу* и *милому*

---

<sup>290</sup> Там же. С. 123.

*брату* со словами поддержки и участия: «Бесценное письмо ваше оживило меня, хотя в нем нет ничего *оживительного*: те же желания не того, что у вас есть, та же непривязанность к настоящему, та же пустота, скука, которые до вашей милой души не должны бы сметь дотронуться, но этот почерк, этот голос дружбы, который слышен и в скуке, и в пустоте, и в шуме, – и возможность счастья невольно воскресла! Авось! Милый Жуковский! Ведь это слово не ветреной надежды, а спокойного доверия! Доверенности к доброму промыслу, к сердцу друзей, к святине недосыгаемой! Бросьте все, милый брат! Приезжайте сюда, ваше место здесь свято! Готовить нечего, оно всегда первое! Ваши рощи, ваша милая поэзия, ваша прелестная свобода, тишина, вдохновение и верные сердца ваших друзей – здесь все цело, все живет, все *вечно*! Что это за *состояние*, для которого вам надобно служить? Что это значит: *чем жить*? Это и глупо, и обидно! Забыли вы, что я хотела все свое продать, бросить, чтобы с вами в 14 году ехать в Швейцарию? Разве вы не знаете, что у вас, слава Богу, есть чем жить, и больше, нежели для *жизни* надобно, что и тогда бы было, когда б я сама для жизни своими руками работала, и тогда бы вы могли жить со всеми прихотями, каких бы вам угодно было! А когда бы вы здесь были с нами, я была бы вашим богатством богата; милый, милый друг, неужели мне сказывать вам, что такое для меня любить вас?..»<sup>291</sup>.

---

<sup>291</sup> Там же. С. 123–124.

Однако петербургская жизнь В. А. Жуковского продолжала идти своим чередом среди обязанностей придворного чтеца императрицы, очень дружески к нему относившейся, среди посещений большого петербургского света, проявлявшего к избраннику двора всяческое почтение, в кругу своих друзей, беззаветно любящих его, и живых литературных стремлений. И его Долбино, и его Мишенское – все это становилось лишь плодом романтических иллюзий поэта. «Прощание», написанное Жуковским 6 января 1815 года при оставлении именина своей *добррой сестры* А. П. Киреевской, оказалось пророческим:

Друзья, в сей день был мой возврат,  
Но он для нас и день разлуки;  
На дружбу верную дадим друг другу руки:  
Кто брат любовью, тот и в разлуке брат.  
О, нет! не может быть для дружбы расстоянья!  
Вдали, как и вблизи, я буду вам родной,  
А благодарные об вас воспоминанья  
Возьму на самый край земной.  
Вас, добрая сестра, на жизнь друг верный мой,  
Всего, что здесь мое, со мною разделитель,  
Вас брат ваш, долбинский минутный житель,  
Благодарит растроганной душой  
За те немногие мгновенья,  
Которые при вас, в тиши уединенья,  
Спокойно музам он и дружбе посвятил.  
Что б рок ни присудил,

Но с долбинской моей семьей  
Разлука самая меня не разлучит:  
Она лишь дружеский союз наш утвердит.

Мой ангел, Ванечка<sup>292</sup>, с невинной красотой,  
С улыбкой милой на устах,  
С слезами на глазах,  
Боясь со мной разлуки,  
Ко мне бросающийся в руки,  
И Машенька<sup>293</sup>, и мой угрюмый Петушок<sup>294</sup>,  
Мои друзья бесценны...  
Могу ль когда забыть их ласки незабвенны?  
О, будь же, долбинский мой милый уголок,  
Спокоен, тих, храним святыми небесами.  
Будь радость ясная ваш верный семьянин,  
И чтоб из вас в сей жизни ни один  
Не познакомился с бедами.  
А если уж нельзя здесь горе не узнать,  
Будь неизменная надежда вам подруга,  
Чтоб вы при ней могли и горе забывать...  
Что б ни было, не забывайте друга...

---

<sup>292</sup> Иван Васильевич Киреевский.

<sup>293</sup> Марья Васильевна Киреевская.

<sup>294</sup> Петр Васильевич Киреевский.

Не трудно предположить, что в сложившихся для В. А. Жуковского обстоятельствах о его педагогической деятельности не могло быть уже и речи. К ней поэт вернется только в отношении великой княгини Александры Федоровны и цесаревича Александра Николаевича. Что же касательно Ивана, Петра и Марьи Киреевских, то их обучением пришлось заниматься непосредственно их матери. Правда, судьба младших Киреевских продолжала находиться под неусыпным контролем Василия Андреевича, о чем нагляднее всего свидетельствует его переписка с Авдотьей Петровной.

«Милый друг Ваня, целую тебя, а ты поцелуй за меня сестру и брата. Милый, добрый друг мой. Дай Бог говорить это всегда вместе и целую жизнь. Разумеется, здесь счастливая жизнь»<sup>295</sup> (из Черни в конце октября или начале ноября 1814 года). «Поцелуйте за меня обеих ваших сестер<sup>296</sup> и ваших детенков. Дружба, да и только. Чего мне более? Прошу, напишите ко мне поболее»<sup>297</sup> (из Черни или Болхова в конце 1814

---

<sup>295</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 102.

<sup>296</sup> Речь идет об Анне Петровне Юшковой (в замужестве Зонтаг) и Екатерине Петровне Юшковой (в замужестве Азбукиной).

<sup>297</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 103.

года). «У меня был разговор об вас с Екатериной Афанасьевною. Признаюсь, я никогда не люблю об вас говорить с нею. Она вас любит, но смотрит на вас совсем не моими глазами. Для нее все, что делает отличительное в вашем характере, как будто не существует. Ту живость души, которую вы имете, она смешивает с экзальтациею и ветренностию. Я никогда их не смешивал, по крайней мере, с тех пор с этой стороны не был к вам не справедлив, как с вами объяснился. Могу уверить, что с этой минуты ничье мнение на меня не действовало и ни малейшей перемены во мнении насчет вас во мне не производило. Если я ссорился с вами, то всегда по собственному побуждению; чужое же побуждение вооружало меня только за вас. Вы сами подали повод к этому разговору. Вы написали к ним об ссоре нашей за С. М... С...на<sup>298</sup>. Тетушка, между прочим, говоря об вас, сказала, что вы мало заботитесь о детях. Это поразило меня, потому что я то же часто думал, живучи в Долбине и в Москве, потому что я это хотел вам сказать! И Бог знает отчего не сказал! Я несколько испугался, подумав, что говорю с другими о таком предмете, о котором должен бы был говорить с вами; хотел об этом написать особенно и поболее, но не написал потому, что был во все это время в больших и горьких треволнениях. Но об этом писать много не надобно: стоит только просто заметить

---

<sup>298</sup> Очевидно, имеется в виду товарищ В. А. Жуковского по Благородному пансиону Сергей Михайлович Соковнин, искавший руки А. П. Киреевской. Жуковский был против возможного брака.

это и попросить вас подумать, справедливо ли такое замечание, и если справедливо, то сделать его несправедливым»<sup>299</sup> (из Петербурга 24 мая 1815 года).

В переписке Василий Андреевич и Авдотья Петровна называют Ивана, Петра и Марью Киреевских «наши дети». Так в одном из писем Жуковский беспокоится: «Ведь для наших ребятишек нужен учитель»<sup>300</sup> и начинает его активный поиск: «Во втором письме вместе со мною говорит и почтенный педагогус Цедергрэн, молодой человек, добрый, ученый, весьма неловкий, но имеющий большие рекомендации. Он требует 2000 в год, несколько недель вакансии ежегодно для отдыха, денег на проезд из Дерпта в Долбино, обещается учить: по-гречески, латински, немецки, французски, математике, истории, географии и натуральной истории. Довольно для начала! Его не считать воспитателем, а только наставником. Царь Небесный, посади Твоего херувима в это письмо, чтобы оно не пропало на почте! Ты знаешь, Господи, что мне весьма, весьма нужно получить на него ответ, и вот почему, Господи! Я еду в начале декабря месяца в Петербург!

– Как, в Петербург! Ты хотел ехать в Белёв?

– Господи, ведь мы, люди, думаем, а ты располагаешь! Я не отдумал ехать в Белёв, но мне должно побывать в Петер-

---

<sup>299</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 104.

<sup>300</sup> Уткинский сборник. I. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой / под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904. С. 19.

бурге и там пробыть месяца полтора. Твой добрый Тургенев<sup>301</sup> и твой прекрасный Кавелин<sup>302</sup> ко мне пишут и зовут меня за важным делом! Но всего важнее то, что угодно тебе, Господи! Итак, прикажи херувиму твоему донести письмо мое в целости и прикажи ему похлопотать, чтобы на это письмо мне поскорее отвечали: это нужно мне, Господи, потому особенно, что я прежде отъезда из Дерпта условился бы с господином Цедергреном, назначил бы ему срок, к которому он должен будет приехать в Петербург, и вместе с ним поехал бы в Долбино. Но чтобы с ним поехать, Господи, надобно знать, соглашаются ли принять его в Долбине. Еще Господи, прикажи Твоему херувиму <...>, чтобы этот херувим не забыл поцеловать свою сестрицу Машу, да братьев Ваню и Петушка. <...> Благослови же меня, Господи, благослови и их, а я и Твой, и их всем сердцем»<sup>303</sup> (из Дерпта 23 октября 1816 года).

Уже будучи во втором браке – за Алексеем Андреевичем Елагиным, Авдотья Петровна, опасаясь за благополучный исход родов, обращается к Жуковскому: «Смерть, может быть, передумает мои милые мечтания! – Брат, я так нездорова, что мне ее не мудрено ждать. Смотрите же, не забудьте тогда детей моих! Ежели я после родин не выздо-

---

<sup>301</sup> Александр Иванович Тургенев.

<sup>302</sup> Дмитрий Александрович Кавелин.

<sup>303</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 127–128.

ровлю, то, прошу вас, займитесь тотчас моими большими мальчиками. Они оба славные ребята, и ум и характер прекрасные, но необходимо нужны им теперь пример и поощрение»<sup>304</sup>.

В. А. Жуковского чрезвычайно интересовала устремленность старшего из братьев Киреевских к литературной деятельности, которую поэт всячески поощрял. «Я уверен, – писал он Авдотье Петровне, – что Ваня может быть хорошим писателем. У него все для этого есть: жар души, мыслящая голова, благородный характер, талант авторский. Нужно приобрести знания побольше и познакомиться более с языком. Для первого – учение, для последнего – навык писать. Могу сказать ему одно: учись и пиши – сделаешь честь своей России и проживешь не даром. Мне кажется, что ему надобно службу считать не главным, а посвятить жизнь свою авторству. Что же писать, то скажет ему его талант. Пускай учит Россию и учится у Вальтер-Скотта изображать верно отечественное, потом пускай познакомится с нравственными писателями и философами Англии. Нам еще не по росту глубокомысленная философия немцев, нам нужна простая, мужественная, практическая, нравственная философия, не сухая, материальная, но основанная на высоком, однако, ясная и удобная для применения к деятельной жизни. Там философию можно применить, наконец, и к умозрительной: яс-

---

<sup>304</sup> Малышевский А. Ф. Петр Киреевский и его собрание русских народных песен: Обнинск: Вехи; СПб.: Профи-Центр, 2010. Т. 8. Кн. 1. С. 164.

ность, простота, практическое, вот что нам надобно. И вот так для него две цели. С одной стороны, учишься у Шекспира и Вальтер-Скотта, с другой – у Дюгальда Стеуарта, у Смита, у Юма, у Рейда и пр. Этого довольно на жизнь»<sup>305</sup>. «Я читал в “Московском вестнике” статью Ванюши о Пушкине<sup>306</sup> и порадовался всем сердцем. Благословляю его обеими руками писать; умная, сочная, философская проза. Пускай теперь работает головою и хорошенько ее омеблирует – отвечаю, что у него будет прекрасный язык для мыслей. Как бы было хорошо, когда бы он мог года два посвятить немецкому университету! Он может быть писателем! Но не теперь еще»<sup>307</sup>, – это уже отзыв Жуковского на статью своего ученика его матери.

Узнав о намерении Ивана Киреевского отправиться за границу, В. А. Жуковский обращается к нему с четким планом его жизни: «Вместо того, чтобы отвечать твоей матери, пишу прямо к тебе, мой милый Иван Васильевич. Она меня обрадовала, уведомив, что ты собираешься путешество-

---

<sup>305</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 135.

<sup>306</sup> Речь идет о статье И. В. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» (Московский вестник. – 1828. – Ч. VIII). См.: Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Том 2. Литературно-критические статьи и художественные произведения / сост., прим. и коммент. А. Ф. Малышевского. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. С. 7–21.

<sup>307</sup> Лясковский В. Братья Киреевские. СПб., 1899. С. 20.

вать и (*qui plus est*<sup>308</sup>) учиться. <...> Я не много читал *твоего*, одну только статью, но по ней готов уверять, что ты мог бы сделаться писателем заметным и полезным для Отечества. Но тебе недостает классических знаний. <...> Я на твоём месте (прежде путешествия, которое должно дополнить занятия кабинетные) прежде выбрал бы года два постоянного пребывания в таком месте, где можно солидно выучиться, и не в Париже, а в Германии, и в Германии предпочтительно в Берлине. <...> Употреби года два на жизнь университетскую; потом года два на путешествие, в особенности по Франции, Англии, Швейцарии и Италии, в конце четвертого года будет готова и Греция. Возвратись через Южную Россию, на которую также употреби год. В течение этого времени пиши для себя по-русски, ломай язык и создай чистый, простой, ясный язык для своих мыслей. Со всем этим возвратись и пиши. Обещаю тебе, что будешь хорошим писателем»<sup>309</sup>.

Под любящим взором В. А. Жуковского проходило и недельное пребывание И. В. Киреевского в Санкт-Петербурге в середине января 1830 года. Почти в ежедневных письмах Ивана Васильевича к родным чувствуется внимание и забота Жуковского к своему подопечному: «...Как провели вы нынешний день? Я встретил его тяжело, а кончил грустно, следовательно, легче: я кончил его с Жуковским, у которого

---

<sup>308</sup> Плюс к тому (*фр.*).

<sup>309</sup> Лясковский В. Братья Киреевские. С. 25–26.

в комнате пишу теперь. Хотелось бы рассказать вам все, что было со мною до сих пор и, лучше сказать, было во мне, но этого так много, так смешано, так нестройно. Оставляя Москву, я уже оставил родину; в ней все, что в отечестве не могла, и все, что могила, – я оставил все; на дорогу вы отпустили со мною память о ваших слезах, которых я причиною. Осушите их, если любите меня, простите мне то горе, которое я доставил вам, – я возвращусь скоро. Это я чувствую, расставшись с вами. Тогда, может быть, мне удастся твердостью, покорностью судьбе и возвышенностью над самим собою загладить ту слабость, которая заставила меня уехать, согнуться под ударом судьбы. <...> Я остановился писать, задумался и, очнувшись, уже не в состоянии продолжать. Прощайте до завтра. Трое суток я почти не спал, а сегодня почти ничего не ел и оттого устал очень, хотя здоров совершенно. Боюсь только, что завтра не вспомню всего, что говорил с Жуковским. Вы теперь еще не легли, а вы, маменька, еще, может быть, долго не заснете? Чем заплачу я вам?» (11 января 1830 года)<sup>310</sup>.

«Я приехал в Петербург вчера в два часа. В конторе дилижансов меня ждали уже два письма: одно от А. П.<sup>311</sup>, другое от Жуковского. Первая приискала для меня квартиру, а

---

<sup>310</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. Письма и дневники / сост., прим. и коммент. А. Ф. Малышевского. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. С. 19.

<sup>311</sup> Неустановленное лицо.

Василий Андреевич звал переехать прямо к нему. Я так и сделал. Жуковский обрадовался мне очень и провел со мною весь вечер, расспрашивал обо всех нас, радовался моему намерению ехать учиться и советовал ехать в Берлин хотя на месяц. “Там на месте ты лучше увидишь, что тебе делать: оставаться в Берлине или ехать в Париж”. Последнее, однако, кажется, ему не нравится. Я послушаюсь его, поеду в Берлин, проведу там месяц, буду ходить на все лекции, которые меня будут интересовать, познакомлюсь со всеми учеными и примечательными людьми, и если увижу, что берлинская жизнь полезнее для моего образования, нежели сколько я ожидаю от нее, то останусь там и больше... Разговор Жуковского я в связи не припомню. Вот вам некоторые отрывочные слова, которые остались у меня в памяти; вообще каждое его слово, как прежде было, носит в себе душу, чувство, поэзию. Я мало с ним разговаривал, потому что больше слушал и старался удержать в памяти все хорошо сказанное, то есть все, похожее на него, а хорошо сказано и похоже на него было каждое слово.

При нем невольно теплеешь душою, и его присутствие дает самой прозаической голове способность понимать поэзию. Каждая мысль его – ландшафт с бесконечною перспективою. Вот что я запомнил из его разговора: “Изо всех нас твоя мать переменялась меньше всех. Она все та же, по крайней мере, так кажется из ее писем. Все, кажется, она пишет *одно* письмо. Ты будешь со временем писателем, когда по-

учишься хорошенько. Теперь об этом еще и думать рано. У тебя в слоге, сколько я читал твои сочинения, есть свой характер: виден человек мыслящий, но еще молодой, который кладет свои мысли на прокрустову постель. Но со временем это качество может быть полезно, ибо это доказывает привычку думать. Теперь тебе надо наблюдать просто, бескорыстно. Теории только вредны, когда мало фактов. Замечай сам все и не старайся подвести под систему твои наблюдения: бойся вытянуть карлу и обрубить ноги великану. Впрочем, слог твой мне нравится. Знаешь ли, у кого ты выучился писать? У твоей матери. Я не знаю никого, кто бы писал лучше ее. Ее письма совсем она. Она, М. А.<sup>312</sup> и А. А.<sup>313</sup> – вот три. А. А. писала прекрасно, и *il y avait du génie dans son style*<sup>314</sup>. Тут приехал г. Апухтин<sup>315</sup>, и я ушел в ту комнату, которую Жуковский отвел для меня. Мне бы хотелось описать вам эту комнату, потому что она произвела на меня сильное впечатление своими картинами. Горница почти квадратная. С одной стороны два окна и зеркало, перед которым бюст покойной прусской королевы, прекрасное лицо и хорошо сделано. Она представлена сонною. На другой стене

---

<sup>312</sup> Марья Андреевна Протасова.

<sup>313</sup> Александра Андреевна Воейкова (урожденная Протасова).

<sup>314</sup> Было нечто гениальное в ее стиле (*фр.*).

<sup>315</sup> Неустановленное лицо. Только по косвенным данным можно предположить, что речь идет о Николае Федоровиче Апухтине.

картины Фридриха<sup>316</sup>. Посередине большая: ночь, луна и под нею сова. По полету видно, что она видит; в расположении всей картины видна душа поэта. С обеих сторон совы висит по две маленькие четырехугольные картинки. Одна – подарок Александра Тургенева<sup>317</sup>, который сам заказал ее Фридриху. Даль, небо, луна, впереди решетка, на которую облокотились трое: два Тургенева<sup>318</sup> и Жуковский. Так объяснил мне сам Жуковский. Одного из этих<sup>319</sup> мы вместе похоронили, сказал он. Вторая картинка: ночь, море и на берегу обломки трех якорей. Третья картина: вечер, солнце только что зашло, и запад еще золотой; остальное небо, нежно-лазуревое, сливается с горою такого же цвета. Впереди густая высокая трава, посередине которой лежит могильный камень. Женщина в черном платке, в покрывале, подходит к нему и, кажется, боится, чтобы кто-нибудь не видал ее. Эта картина понравилась мне больше других. Четвертая к ней – это могила жидовская. Огромный камень лежит на трех других меньших. Никого нигде нет. Все пусто и кажется холодно. Зеленая трава наклоняется кой-где от ветра. Небо серо и испещрено облаками; солнце уже село, и кой-где на облаках еще не погасли последние отблески его лучей. Этим наполнена вторая стена против двери. На третьей стене четыре карти-

---

<sup>316</sup> Каспар Давид Фридрих.

<sup>317</sup> Александр Иванович Тургенев.

<sup>318</sup> Александр Иванович Тургенев и Андрей Иванович Тургенев.

<sup>319</sup> Речь идет об Андрее Ивановиче Тургеневе.

ны, также Фридриховой работы. На одной, кажется, осень, внизу зеленая трава, наверху голые ветви деревьев, надгробный памятник, крест, беседка и утес. Все темно и дико. Вообще природа Фридрихова какая-то мрачная и всегда одна. Это остров Рюген, на котором он жил долго. Другая картина – полуразвалившаяся каменная стена; наверху, сквозь узкое отверстие, выходит луна. Внизу, сквозь ворота, чуть виден ландшафт: деревья, небо, гора и зелень. Третья картина: огромная чугунная решетка и двери, растворенные на кладбище, которое обросло густой, непроходимой травой. Четвертая картина: развалины, образующие свод посередине колонны, подле которой стоит, облокотившись, женщина. Она обернулась задом, но видно, по ее положению, что она уже давно тут, давно задумалась, засмотрелась ли на что-нибудь, или ждет, или так задумалась – все это мешается в голове и дает этой картине необыкновенную прелесть. Между дверью и окном Мадонна (с Рафаэлевой) – чей-то подарок. Две стены комнаты занимает угловой диван, подле которого большой круглый стол – подарок прусского принца. Он сам разрисовал его. Когда Апухтин уехал, я опять пришел к Жуковскому. Ему принесли “Северную пчелу”<sup>320</sup>, и разговор сде-

---

<sup>320</sup> «Северная пчела», политическая и литературная газета. Выходила в 1825–1864 и 1869–1870 гг. Основатель, издатель и редактор до 1859 – Ф. В. Булгарин (в 1831–1859 гг. совместно с Н. И. Гречем). В 1825–1830 гг. выходила 3 раза в неделю, с 1831 г. – ежедневно. Крупнейшая частная газета, находилась под особым покровительством правительства, первой из неофициальных изданий получила разрешение печатать политическую информацию. В 1825 г. «Северная пче-

лался литературный. Про Булгарина<sup>321</sup> он говорит, что у него есть что-то похожее на слог и, однако, нет слога, есть что-то похожее и на талант, хотя нет таланта, есть что-то похожее на сведения, сведений нет – одним словом, это какой-то восковой человек, на которого разные обстоятельства жизни положили несколько разных печатей, разных гербов, и он носится с ними, не имея ничего своего.

“Выжигин”<sup>322</sup> ему крепко не нравится, также и “Самозванец”<sup>323</sup>; он говорил это самому Булгарину, который за то на него сердится. “Юрий Милославский”<sup>324</sup> ему понравился очень. Я показывал ему детский журнал и сочинения. Он прочел все с большим удовольствием, смеялся и особенно радовался повестью, которую хвалил на каждом почти слове. Расспрашивал об нашем житье-бытье, взял мою статью на ночь и улегся спать. На другой день говорил, что она ему

---

ла» публиковала произведения А. С. Пушкина, К. Ф. Рыльева, Ф. Н. Глинки. После 14 января 1825 года газета заняла «охранительную» позицию. В 1820–1830-х гг. пользовалась наибольшей популярностью, прежде всего, у читателей «среднего сословия», явилась родоначальницей «желтой прессы» в России. Одна из первых стала публиковать в отделе «Смесь» платные рекламные сообщения. В 1836 г. выступила с активной поддержкой проекта постройки первой в России железной дороги из СПб. в Царское Село и Павловск. В целях привлечения читателей постоянно вела полемику с другими изданиями, используя любые средства (вплоть до личных выпадов).

<sup>321</sup> Фаддей Венедиктович Булгарин.

<sup>322</sup> «Иван Выжигин» – сочинение Ф. В. Булгарина, 1829 г.

<sup>323</sup> «Дмитрий Самозванец» – сочинение Ф. В. Булгарина, 1830 г.

<sup>324</sup> «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» – сочинение М. Н. Загоскина.

не понравилась. Опять прокрустова постель, говорит он. Где нашел ты литературу? Какая к черту в ней жизнь? Что у нас своего? Ты говоришь об нас, как можно говорить только об немцах, французах и пр. “Душегрейка”<sup>325</sup> ему не понрави-

---

<sup>325</sup> Речь идет о выражении, использованном И. В. Киреевским в своей статье «Обозрение русской словесности за 1829 год» при характеристике поэзии Антона Дельвига: «Барон Дельвиг издал *собрание* своих *стихотворений*. Так же, как Баратынский, он не принадлежит ни к одной из новейших школ, и даже подражания его древним носят печать оригинальности. Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездушно. Только подражание из любви может быть поэтическим и даже творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих себя? И не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты, соответствующие требованиям нашего духа? Вот отчего новейшие всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним; скажу более: нет ни одного истинно изящного перевода древних классиков, где бы ни легли следы такого состояния души, которого не знали наши праотцы по уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны христианству; романическая любовь – подарок арабов и варваров; уныние – дитя Севера и зависимости; всякого рода фанатизм – необходимый плод борьбы вековых неустройств Европы с порывами к улучшению; наконец, перевес мысленности над чувствами и отсюда стремление к единству и сосредоточенью – вот новые струны, которые жизнь новейших народов натянула на сердце человека. Напрасно думает он заглушить их стон, ударяя в лиру Греции: они невольно отзываются на его песню, и, вместо простого звука, является аккорд. Таковы подражания Дельвига. Его муза была в Греции; она воспиталась под теплым небом Аттики; она наслушалась там простых и полных, естественных, светлых и правильных звуков лиры греческой; но ее нежная краса не вынесла бы холода мрачного Севера, если бы поэт не прикрыл ее нашею народною одеждою; если бы на ее классические формы он не набросил душегрейку новейшего уныния, – и не к лицу ли гречанке наш северный наряд?» Цит. по: Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. Литературно-критические статьи и художественные произведения / сост., прим. и коммент. А. Ф. Малышевского. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. С. 40–41.

лась, о Баратынском<sup>326</sup> также – одним словом, он почти ничего не похвалил. Говорит, однако же, что эта статья<sup>327</sup> так же хорошо написана, как и первая<sup>328</sup>, и со временем из меня будет прок, только надобно бросить прокрустову постель.

...Потом я отправился к Титову<sup>329</sup> и Кошелеву<sup>330</sup>. Обедали мы вместе с Жуковским, который остался дома нарочно для меня, расспрашивал про Долбино, про Мишенское. Все дома, говорит он, все следы прежнего уже не существуют. В Москве я не знал ни одного дома, они сгорели, перестроены, уничтожены, в Мишенском также, в Муратове также. И это, казалось ему, было отменно грустно. После обеда он лег спать в моей комнате, я также. Вечеру он отправился в Эрмитаж, а ко мне пришел Кошелев и увел меня к Одоевскому<sup>331</sup>, где ждал Титов. Кошелев и Титов, – оба зовут меня переехать к ним, но кажется, что я не стесняю Жуковского. Здесь я останусь до следующей среды, до 22-го января» (12 января 1830 года)<sup>332</sup>.

---

<sup>326</sup> Евгений Абрамович Баратынский.

<sup>327</sup> Речь идет о статье И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности за 1829 год» (Денница. – 1830). См.: Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. С. 22–50.

<sup>328</sup> Нечто о характере поэзии Пушкина.

<sup>329</sup> Владимир Павлович Титов.

<sup>330</sup> Александр Иванович Кошелев.

<sup>331</sup> Владимир Федорович Одоевский.

<sup>332</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 20–23.

«Я пошел осматривать петербургские улицы и зашел в лавку к Смирдину<sup>333</sup>. “Вертер”, который у него был, уже весь продан<sup>334</sup>. Он просит прислать ему экземпляров 20 на комиссию. Полевого “Истории”<sup>335</sup> у него разошлось около 200 экз., то есть почти все, на которые он подписался. “Юрий Мило-славский” был расхвачен в одну минуту, и теперь его в Петербурге нельзя найти до нового получения из Москвы. Видел там “Денницу”<sup>336</sup>, и ее издание мне очень понравилось. Скажите это Максимовичу<sup>337</sup>, которому кланяются все здешние и я включительно. Выйдя из лавки Смирдина, я озяб порядочно и отправился обедать к Демуту<sup>338</sup>, оттуда к Титову, там домой. Вечеру явились Титов и Одоевский, с которыми мы просидели до часу ночи. Жуковский, который сидел вместе с нами, был очень мил, весел, любезен, несмотря на то что его глаза почти слипались, как говорит Вася<sup>339</sup>, ибо

---

<sup>333</sup> Популярный книгопродавец и издатель Александр Филиппович Смирдин содержал книжную лавку на Невском проспекте против Казанского собора.

<sup>334</sup> Речь идет о романе И. В. Гёте «Вертер», переведенном Н. М. Рожалиным и изданным А. А. Елагиным.

<sup>335</sup> В 1829 году вышел первый том «Истории русского народа» Николая Алексеевича Полевого. Автор задумал свой труд в противовес «Истории государства российского» Н. М. Карамзина.

<sup>336</sup> Речь идет об альманахе на 1830 г., изданном М. А. Максимовичем в Москве. В «Деннице» было помещено «Обозрение русской словесности за 1829 год» И. В. Киреевского.

<sup>337</sup> Михаил Александрович Максимович.

<sup>338</sup> Демутов трактир – петербургская гостиница на набережной реки Мойки.

<sup>339</sup> Очевидно, сводный брат И. В. Киреевского Василий Алексеевич Елагин.

он обыкновенно ложится в 10 часов. Он рассказывал много интересного про свое путешествие, про Жан-Поля, говорил об “Истории” Полевого, об “Юрии Милославском” и пр., словом, выискивал разговор общезанимательный. Я еще не описал вам его образа жизни, потому что не хорошо знаю его и не успел расспросить всего подробно» (14 января 1830 года)<sup>340</sup>.

«Я всякий день вижусь с своими петербуржцами: с Титовым, Кошелевым, Одоевским и Мальцевым<sup>341</sup>. Пушкин был у нас вчера и сделал мне три короба комплиментов об моей статье<sup>342</sup>. Жуковский читал ему детский журнал<sup>343</sup>, и Пушкин<sup>344</sup> смеялся на каждом слове, и все ему понравилось. Он удивлялся, ахал и прыгал, просил Жуковского “Зиму” на-

---

<sup>340</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 24.

<sup>341</sup> Иван Сергеевич Мальцев.

<sup>342</sup> Нечто о характере поэзии Пушкина.

<sup>343</sup> Речь идет о домашнем рукописном журнале Киреевских-Елагиных «Полночная дичь».

<sup>344</sup> Как известно, В. А. Жуковский познакомился с А. С. Пушкиным еще во время пребывания последнего в лицее, сразу же оценил его гений и заботливо следил за развитием его поэтических трудов. В 1820 году, когда Пушкин писал «Руслана и Людмилу», Жуковский подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя». А. С. Пушкин со своей стороны относился с уважением к В. А. Жуковскому, авторитет которого как поэта и как человека редкой душевной чистоты был высок среди молодых литераторов его круга.

печатать в “Литературной газете”<sup>345</sup>, но Жуковский не дал. На “Литературную газету” подпишитесь непременно, милый друг папенька, – это будет газета достоинства европейского, большая часть статей в ней будет писана Пушкиным, который открыл средство в критике, в простом извещении о книге, быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах. В его извещении об “Исповеди амстердамского палача”<sup>346</sup> вы найдете, как говорит Жуковский, и ум, и приличие, и поэзию вместе.

...Жуковского опять нет дома, у него почти нет свободной минуты, оттого немудрено ему лениться писать. Вчера, однако, мы виделись с ним на минуту поутру и вместе провели вечер с Пушкиным» (15 января 1830 года)<sup>347</sup>.

«Дни мои проходят все одним манером. Поутру я встаю поздно, часов в 11, пишу к вам, потом одеваюсь, кто-нибудь является ко мне или я отправляюсь куда-нибудь; потом обедаю по большей части в трактире, после обеда я сплю или гуляю; ввечеру, если дома, то с Жуковским, а если не дома, то с петербургскими москочцами; потом еду к вам в Москву, то есть ложусь спать; в эти два часа, которые проходят между

---

<sup>345</sup> Речь идет о журнале в форме газеты, выходившем раз в пять дней с 1 января 1830 года по 30 июня 1831 года.

<sup>346</sup> Имеется в виду пушкинская заметка «Французские журналы извещают нас о скором появлении “Записок Самсона, парижского палача”...» // Литературная газета. 1830. Т. 1. № 5, 21 января. С. 39.

<sup>347</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 24–25.

раздеванием и сном, я не выхожу из-за Московской заставы. Вчера Жуковский сделал вечер, как я уже писал к вам; были все, кого он хотел звать, выключая Гнедича<sup>348</sup>, место которого заступил Василий Перовский<sup>349</sup>, и, следовательно, число 12 не расстроилось. Жуковский боялся тринадцати, говоря, что он не хочет, чтобы на моем прощальном вечере было несчастное число. Чтобы дать вам понятие о Крылове<sup>350</sup>, лучше всего повторить то, что говорит об нем Жуковский, то есть что это славная виньетка для его басен: толстый, пузатый, седой, чернобровый, кругломордый, старинный, в каждом движении больше смешной, чем острый. Пришел Мальцев. Прощайте до завтра» (17 января 1830 года)<sup>351</sup>.

«Вчера я еще раз осматривал Эрмитаж. Я употребил на это три часа: стоял перед некоторыми картинами более 1/4 часа и потому все еще не видал большей половины, как должно. <...> Потом домой, где проспорил с Василием Андреевичем до 1-го часа о фламандской школе и, кажется, опять оставил о себе такое же мнение, какое он имел обо мне после первого нашего свидания в 26 году. Но я не раскаиваюсь: когда-нибудь мы узнаем друг друга лучше. Он читал мне некоторые стихи свои, давнишние, но мне неизвест-

---

<sup>348</sup> Николай Иванович Гнедич.

<sup>349</sup> Василий Алексеевич Перовский.

<sup>350</sup> Иван Андреевич Крылов.

<sup>351</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 25–26.

ные, – к фрейлинам, к Нарышкину, на заданные рифмы и пр. Cette profanation du génie choque<sup>352</sup>. Теперь он не пишет ничего, и тем лучше. Поэтическое дело важнее поэтических стихов. Но, окончивши, ему опять хочется возвратиться к поэзии и посвятить остальную жизнь греческому и переводу “Одиссеи”. <...> Жуковский надавал мне кучу рекомендательных писем в Берлин и Париж, кроме того, подарил мне свою дорожную чернильницу и ящик со складными перьями. Он читал письма Петрушины<sup>353</sup> и говорит об них с большим чувством. В самом деле письма брата так хороши, что по ним можно узнать его» (20 января 1830 года)<sup>354</sup>.

21 января 1830 года все тот же В. А. Жуковский проводил И. В. Киреевского до дилижанса, о чем в тот же день сообщил своей дорогой племяннице: «Нынче в 10 часов отправился наш милый странник в путь свой, здоровый и даже веселый. Мы с ним простились у самого дилижанса, до которого я его проводил. Ему будет хорошо ехать. Повозка теплая, просторная, он не один, хлопот не будет никаких до самого Берлина. Дорога теперь хороша, и езда будет скорая. В Берлине ему будет, надеюсь, приятно. Я снабдил его письмами в Ригу, Берлин и Париж. В Риге один мой добрый приятель поможет ему уладить свои экономические дела, то есть раз-

---

<sup>352</sup> Эта профанация гения шокирует (*фр.*).

<sup>353</sup> Петр Васильевич Киреевский.

<sup>354</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 26–27.

менять деньги выгоднейшим образом. В Берлине мое письмо познакомит его прозаически с нашим послом, который даст ему рекомендательные письма далее, и поэтически с Гуфландом<sup>355</sup>, который потешит душу его своею душою. В Париже он найдет Тургенева<sup>356</sup>, которого я просил присоединить его к себе и быть ему руководцем на парижском паркетe. Для меня он был минутным милым явлением, представителем ясного и печального, но в обоих образах драгоценного прошедшего и веселым образом будущего, ибо, судя по нему и по издателям нашего домашнего журнала <...> и еще по мюнхенскому нашему медвежонку<sup>357</sup>, в вашей семье заключается целая династия хороших писателей – пустите их всех по этой дороге! Дойдут к добру. Ваня – самое чистое, доброе, умное и даже философическое творение. Его узнать покороче весело. Вы напрасно так трусили его житья-бытья в Петербурге: он не дрожал от холода, не терпел голода в трактире; он просто жил у меня под родным кровом, где бы и вам было место, если бы вы его проводить вздумали, и напрасно не вздумали. К несчастью, по своим занятиям я не мог быть с ним так много, как бы желал, но все же мы пожили вместе. Я познакомил его с нашими отборными авторами, показывал ему Эрмитаж. Более вместе нигде быть не удалось. Но Петербург от него не убежит: через 2 года вы приедете

---

<sup>355</sup> Вильгельм Христиан Гуфланд.

<sup>356</sup> Александр Иванович Тургенев.

<sup>357</sup> Петр Васильевич Киреевский.

его встретить здесь и вместе с ним и со мною все осмотрите. Удивляюсь, что вы не получали писем от него. Он писал их несколько раз с дороги и почти всякий день из Петербурга. Я не писал оттого, что он писал. Теперь пишу об нем, чтобы вы были совершенно спокойны на его счет: здоров и весел. До известной вам раны<sup>358</sup> я не прикасался, дорога затянет ее»<sup>359</sup>.

Пребывание И. В. Киреевского за границей было не столь продолжительным, как предполагалось; 16 ноября 1830 года он вновь оказался в Москве среди близких и друзей. В. А. Жуковский, узнав о возвращении Ивана, обратился к нему с письмом, в котором попытался со свойственной ему деликатностью указать на возможные планы жизни: «Холера заставила тебя сделать то, что ты всегда сделаешь, то есть забыть себя и все *отдать за милых*... Прости, мой милый Курций<sup>360</sup>. Думая о том, каков ты и как совершенно во всем похож на свою мать, убеждаюсь, что ты создан для внутренней, душевной жизни, нежели для практической на *нашей сцене*. Живи для пера и для нескольких сот крестьян, которых судь-

---

<sup>358</sup> И. В. Киреевский был влюблен в свою троюродную сестру Наталью Петровну Арбенеvu. Мать Натальи Петровны, Авдотья Николаевна Арбенева (урожденная Вельяминова), по материнской линии, как и Авдотья Петровна Киреевская, приходилась внучкой Афанасию Ивановичу Бунину, отцу В. А. Жуковского. Осенью 1829 года И. В. Киреевский посватался к Н. П. Арбеновой и получил отказ.

<sup>359</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 137–138.

<sup>360</sup> В. А. Жуковский в шутку называл И. В. Киреевского именем героя римской мифологии, принесшего себя в жертву за Отечество.

ба от тебя зависит: довольно для твоего сердца»<sup>361</sup>. Примерно так И. В. Киреевский и поступил: зиму 1831 года прожил в Долбино, лето – на даче в Ильинском, где написал волшебную сказку «Опал» и вместе с Н. М. Языковым несколько шуточных пьес.

В сентябре 1831 года И. В. Киреевский подает прошение в Московский цензурный комитет о разрешении издавать журнал наук и словесности «Европеец», о чем не просто уведомляет все того же Жуковского, а обращается к нему за *духовной поддержкой* и дружеским участием: «Милостивый государь Василий Андреевич! Издавать журнал такая великая эпоха в моей жизни, что решиться на нее без Вашего одобрения было бы мне физически и нравственно невозможно. Ни рука не подыметя на перо, ни голова не осветится порядочной мыслью, когда им не будет доставать Вашего благословения. Дайте ж мне его, если считаете меня способным на это дело; если ж вы думаете, что я еще не готов к нему или что вообще, почему бы то ни было, я лучше сделаю, отказавшись от издания журнала, то все-таки дайте мне Ваше благословение, прибавив только журналу *not to be*<sup>362</sup>! Если ж мой план состоится, то есть если Вы скажете мне: *издавай!* (потому что от этого слова теперь зависит все), тогда я надеюсь, что будущий год моей жизни будет небесполезен для нашей литературы даже и потому, что мой журнал заставит больше

---

<sup>361</sup> Лясковский В. Братья Киреевские. С. 33.

<sup>362</sup> Не быть (*англ.*).

писать Баратынского и Языкова<sup>363</sup>, которые обещали мне деятельное участие. Кроме того, журнальные занятия были бы полезны и для меня самого. Они принудили и приучили бы меня к определенной деятельности, окружили бы меня mit der Welt des europäischen wissenschaftlichen Lebens<sup>364</sup> и этому далекому миру дали бы надо мной силу и влияние близкой сущности. Это некоторым образом могло бы мне заменить путешествие. Выписывая все лучшие неполитические журналы на трех языках, вникая в самые замечательные сочинения первых писателей теперешнего времени, я из своего кабинета сделал бы себе аудиторию европейского университета, и мой журнал, как записки прилежного студента, был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средств брать уроки из первых рук. Русская литература вошла бы в него только как дополнение к европейской, и с каким наслаждением мог бы я говорить о Вас, о Пушкине, о Баратынском, о Вяземском<sup>365</sup>, о Крылове, о Карамзине<sup>366</sup> на страницах, не запачканных именем Булгарина; перед публикой, которая покупает журнал не для модных картинок, имея в памяти только тех читателей, которые думают и чувствуют не на слово, которых участие возвышает деятельность, и забыв, что есть на свете другие. Но разумеется, что все это может

---

<sup>363</sup> Николай Михайлович Языков.

<sup>364</sup> Светом европейской научной жизни (нем.).

<sup>365</sup> Петр Андреевич Вяземский.

<sup>366</sup> Николай Михайлович Карамзин.

быть хорошо только за неимением лучшего. Когда-то хотел издавать журнал Пушкин; если он решится нынешний год, то, разумеется, *мой* будет уже лишний. Тогда, так же, как и в случае вашего неодобрения, я буду искать других занятий, другого поприща для деятельности и постараюсь настроить мысли на предметы не литературные. Решите ж участь Вашего И. Киреевского»<sup>367</sup>.

В. А. Жуковский ответил, не мешкая, через своего старинного друга А. И. Тургенева: «Ивану Киреевскому скажи от меня, что я обеими руками благословляю его на журнал, ибо в душе уверен, что он может быть дельным писателем и что у него дело будет...»<sup>368</sup>. Он же, не задумываясь о последствиях для себя, бросился к императору Николаю Павловичу спасать незадачливого издателя, которому после публикации программной статьи «Девятнадцатый век», в которой власти усмотрели веяния Французской революции, была уготована ссылка. В ответ на доклад III отделения собственной его императорского величества канцелярии Жуковский изложил свои суждения: «Я перечитал с величайшим вниманием в журнале “Европеец” те статьи, о коих Ваше Императорское Величество благоволили говорить со мною и, положив руку на сердце, осмеливаюсь сказать, что не умею изъяснить себе, что могло быть найдено в них злонамеренно-

---

<sup>367</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 90–91.

<sup>368</sup> Европеец: Журнал И. В. Киреевского. 1832. М., 1989. С. 418.

го. Думаю, что я не остановился бы пропустить их, когда бы должен был их рассматривать как цензор.

В первой статье, “Девятнадцатый век”, автор судит о ходе европейского общества, взяв его от конца XVIII в. до нашего времени, в отношении литературном, нравственном, философическом и религиозном; он не касается до политики (о чем именно говорит в начале статьи), и его собственные мнения решительно антиреволюционные, об остальном же говорит он просто исторически. В некоторых местах он темен, но это без намерения, а единственно оттого, что не умел выразиться яснее, что не только весьма трудно, но и почти неизбежно на русском языке, в котором так мало терминов философических. Это просто неумение писателя. Но и в этих темных местах (если не предполагать сначала дурного намерения в авторе, на что нет никакого повода), добравшись с трудом до смысла, не найдешь ничего предосудительного, ибо везде говорится исключительно об одной литературе и философии и нет нигде ничего политического. Сии места, вырванные из связи целого, могли быть изъяснены неблагоприятным образом, особливо если представить их в смысле политическом, но прочтенные в связи с прочим, они совершенно невинны. Какие это именно места, я не знаю, ибо я прочитал статью в связи и ничего в ней не показалось мне предосудительным. В замечаниях на комедию “Горе от ума” автор не только не нападает на иностранцев, но еще хочет, в смысле правительства, оправдать благоразумное подражание ино-

странному, утверждая, что оно не только не вредит национальности, но должно еще послужить к ее утверждению. Он смеется над нашею исключительною привязанностью к иностранцам, которая действительно смешна, и под именем тех иностранцев, на коих нападает, не разумеет тех достойных уважения иностранцев, кои употреблены правительством, а только тех, кои у нас (или родясь в России или переселясь в нее из отечества), под покровительством не русского имени, первенствуют в обществе и портят домашнее воспитание, вверенное им без разбора родителями. Одним словом, он хочет отличить благоразумное уважение к иностранному просвещению, нужное России, от безрассудного уважения к иностранцам без разбора, вредного и смешного.

Теперь осмелюсь сказать слово о самом авторе. Его мать выросла на глазах моих, а его самого и его братьев знаю я с колыбели. В этом семействе не было никогда и тени безнравственности. Он все свое воспитание получил дома, имеет самый скромный, тихий, можно сказать, девственный характер, застенчив и чист, как дитя; не только не имеет в себе ничего буйного, но до крайности робок и осторожен на словах. Он служил несколько времени в Архиве иностранных дел в Москве... Проезжая через Петербург, он провел в нем более недели и, это время прожив у меня, отправился прямо в Берлин, где провел несколько месяцев и слушал лекции в университете. Получив от меня рекомендательные письма к людям, которые могли указать ему только хорошую дорогу,

он умел заслужить приязнь их. Из Берлина поехал он в Мюнхен к брату, учившемуся в тамошнем университете. Открывшаяся в Москве холера заставила обоих братьев все бросить и спешить в Москву делить опасность чумы с семейством. С тех пор оба брата живут мирно в кругу семейственном, занимаясь литературою. И тот, и другой почти неизвестны в обществе, круг знакомства их самый тесный, вся цель их состоит в занятиях мирных, и они, по своим свойствам, по добрым привычкам, полученным в семействе, по хорошему образованию, могли бы на избранной ими дороге сделаться людьми дельными и заслужить одобрение отечества полезными трудами, ибо имеют хорошие сведения, соединенные с талантом и, смело говорю, с самою непорочною нравственностью. Об этом говорить я имею право более нежели кто-нибудь на свете, ибо я сам член этого семейства и знаю в нем всех с колыбели.

Что могло дать насчет Киреевского Вашему Императорскому Величеству мнение, столь гибельное для целой будущей его жизни, постигнуть не умею. Он имеет врагов литературных, именно тех, которые и здесь, в Петербурге, и в Москве срамят русскую литературу, дают ей самое низкое направление и почитают врагами своими всякого, кто берется за перо с благороднейшим чувством. Этим людям всякое средство возможно, и тем успешнее их действия, что те, против коих они враждуют, совершенно безоружны в этой неравной войне, ибо никогда не употребят против них

тех способов, коими они так решительно действуют. Клевета искусна: издалека наготовит она столько обвинений против беспечного честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде и, со всех сторон запутанный, не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют *тайные намерения*. Такое обвинение легко, а оправдания против него быть не может. Можно отвечать: *я не имею злых намерений*. Кто же поверит на слово? Можно представить в свидетельство непорочную жизнь свою. Но и она уже издалека очерчена и подрыта. Что же остается делать честному человеку и где может найти он убежище? Пример перед глазами. Киреевский, молодой человек, чистый совершенно, с надеждою приобрести хорошее имя берется за перо и хочет быть автором в благородном значении этого слова. И в первых строках его находят *злое намерение*. Кто прочитает эти строки без предубеждения против автора, тот, конечно, не найдет в них сего тайного злого намерения. Но уже автор представлен Вам как человек безнравственный, и он, неизвестный лично Вам, не имеет средства сказать никому ни одного слова в свое оправдание, уже осужден перед верховным судилищем, перед Вашим мнением.

На дурные поступки его никто указать не может, их не было и нет, но уже на первом шагу дорога его кончена. Для Вас он не только чужой, но вредный. Одной благости Вашей должно приписать только то, что его не постигло никакое наказание. Но главное несчастье совершилось: Госу-

дарь, представитель закона, следственно, сам закон, наименовал его уже виновным. На что же послужили ему двадцать пять лет непорочной жизни? И на что может вообще служить непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветою?»<sup>369</sup>

Как бы то ни было, журнал «Европеец» был высочайшим повелением закрыт, но участь И. В. Киреевского была смягчена. Двадцатипятилетний литератор пребывал в полном смятении мыслей и чувств, что чрезвычайно беспокоило родных и близких ему людей. «Иван все еще не умеет опомниться и с собой сладить, – писала страдающая за сына мать Жуковскому. – Собирается в деревню, забыться в хозяйстве»<sup>370</sup>.

Началом преобразования душевного состояния И. В. Киреевского явилась его женитьба на Наталье Петровне Арбеновой, руки которой он добивался еще до отъезда за границу. 29 апреля 1834 года состоялось долгожданное венчание. Семейная жизнь, наполнившая Ивана Васильевича новыми заботами, вселяла в него радость бытия и творчества. И как только бывший «Европеец» стал готов воскреснуть журналом «Москвитянин»<sup>371</sup>, программа возвращения И. В. Ки-

---

<sup>369</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 202–205.

<sup>370</sup> Европеец: Журнал И. В. Киреевского. С. 460.

<sup>371</sup> Ср.: «Славное было бы издание, если Киреевский только окажется способен к труду, от которого отвык в долгом покое, и странная судьба, если бывший «Европеец» воскреснет «Москвитяниным». Не символ ли это необходимого пути,

реевского к литературной деятельности была изложена все тому же В. А. Жуковскому, более всех радовавшемуся происходящим в ученике переменам: «Тому года три я просил К. В.<sup>372</sup> справиться, где следует, могу ли я писать и участвовать в журналах; ему отвечали, что мне был запрещен “Европеец” (этому теперь 13 лет), но не запрещалось никогда писать, где хочу, и что Полевой<sup>373</sup> и Надеждин<sup>374</sup> не только пишут, но и сами издают другие журналы после запрещения своих. Теперь, перед условием с Погодиным<sup>375</sup>, я спрашивал совета гр. Строганова<sup>376</sup>, и он полагал, что почитает участие мое возможным. Но Погодина имя и ответственность не могут быть сняты без особого разрешения, для которого нужно время. В то же время Погодин уведомил министра о передаче мне редакции, из чего явствует, что хотя я издаю под чужим именем, но не обманом, не исподтишка, а с ведома правительства. Между тем в стихах Ваших имени моего не пропустили, потому что Вы говорите *о моем* журнале. Причины, побудившие меня взяться за это дело, были частью личные

---

по которому должно пройти наше просвещение? И коренная перемена в Киреевском не представляет ли утешительного факта для наших надежд» (Из письма А. С. Хомякова // Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: в 22 кн. СПб., 1890. Кн. 7. С. 404).

<sup>372</sup> К[нязь Петр Андреевич] В[яземский].

<sup>373</sup> Николай Алексеевич Полевой.

<sup>374</sup> Николай Иванович Надеждин.

<sup>375</sup> Михаил Петрович Погодин.

<sup>376</sup> Сергей Григорьевич Строганов.

слабости, частью умственные убеждения. Личные заключаются в том, что для деятельности моей необходимо внешнее побуждение, срок, не от меня зависящий. 2-е, журнальная деятельность мне по сердцу. 3-е, в уединенной работе я такой охотник grübeln<sup>377</sup>, что каждая мысль моя идет раком. В журнале внешняя цель дает ей границы и показывает дорогу. К тому же во мне многое дозрело до статьи, что далеко еще не дозрело до книги. Выраженное в отрывках, оно придвинет меня к полнейшему уразумению того, что мне не достает. К тому же деятельность, возбужденная внешними причинами, может быть, обратится в привычку (хотя в последнем я крепко сомневаюсь). Сверх всего этого я имел в виду и то, что если журнал пойдет, то даст мне возможность не жить в деревне, которую я не умею полюбить, несмотря на многолетние старания, и позволит мне жить в Москве, которую я, также несмотря на многие старания, не умею отделить от воды, от воздуха, от света. Таковы были личные причины. Важнее этого было то обстоятельство, что многие из моих московских друзей объявили мне, что моя редакция “Москвитянина” будет для них причиною деятельности. Но над всем этим носилась та мысль или, может быть, та мечта, что теперь именно пришло то время, когда выражение моих душевных убеждений будет и небесполезно, и возможно. Мне казалось вероятным, что в наше время, когда западная словесность не представляет ничего особенно властвующе-

---

<sup>377</sup> Размышлять (нем.).

го над умами, никакого начала, которое бы не заключало в себе внутреннего противоречия, никакого убеждения, которому бы верили сами его проповедники, что именно теперь пришел час, когда наше православное начало духовной и умственной жизни может найти сочувствие в нашей так называемой образованной публике, жившей до сих пор на веру в западные системы. Христианская истина, хранившаяся до сих пор в одной нашей церкви, не искаженная светскими интересами папизма, не изломанная гордостью саморазумения, не искривленная сентиментальной напряженностью мистицизма, – истина самосушная, как свод небесный, вечно новая, как рождение, неизбежная, как смерть, недомыслимая, как источник жизни, – до сих пор хранилась только в границах духовного богомыслия. Над развитием разумным человека, над так называемым просвещением человечества господствовало начало более или менее искаженное, полуязыческое. Ибо малейшее уклонение в прицеле кладет пулю в совершенно другую мету. Отношение этого чистого христианского начала к так называемой образованности человеческой составляет теперь главный жизненный вопрос для всех мыслящих у нас людей, знакомых с нашей духовной литературой. К этому же вопросу, дальше или ближе, приводятся все занимающиеся у нас древнерусской историей. Следовательно, я мог надеяться найти сочувствие в развитии моего убеждения. Вот почему я решился испытать журнальную деятельность, хотя и знаю, что неудача в этом случае была

бы мне почти не под силу. Я говорю “не под силу” в нравственном отношении, потому что в финансовом я не рискую. Издателем остается Погодин, с его расходами и барышами, покуда будет такое количество подписчиков, что мне можно будет без убытка заплатить ему известную сумму за право издания. Но если журнал не пойдет, не встретит сочувствия, то эта ошибка в надеждах, вероятно, уже будет последним из моих опытов литературной деятельности. Представьте ж, каково было мое положение, когда в конце декабря я увидел, что для 1-го номера, который должен был решить судьбу журнала, у меня нет ничего, кроме стихов Языкова, моих статей и маменькиных переводов. Присылка Ваших стихов оживила и ободрила меня. Я почувствовал новую жизнь. Потом получил “Слово” митрополита. За три дня до выхода книжки выказал Погодин сказку Луганского<sup>378</sup>, таившуюся у него под спудом. Прошу сказать мне подробно Ваше мнение об этом номере: оно будет мне руководством для других. Отрывок из письма Вашего об “Одиссее” нельзя было не напечатать. Это одна из драгоценнейших страниц нашей литературы. Тут каждая мысль носит семена совершенно нового, живого воззрения. “Одиссея” Ваша должна совершить переворот в нашей словесности, своротив ее с искусственной дороги на путь непосредственной жизни. Эта простодушная искренность поэзии есть именно то, чего нам недостает и что мы, кажется, способнее оценить, чем старые хитрые народы,

---

<sup>378</sup> Казак Луганский – псевдоним Владимира Ивановича Даля.

смотрящиеся в граненые зеркала своих вычурных писателей. Живое выражение народности греческой разбудит понятие и об нашей, едва дышащей в умолкающих песнях. Кстати, к песням из собрания, сделанного братом, один том уже почти год живет в петербургской цензуре, и судьба его до сих пор еще не решается. Они сами знали только песни иностранные и думают, что русские – секрет для России, что их можно *не пропустить*. Между русскими песнями и русским народом – петербургская цензура! Как будто народ пойдет спрашиваться у Никитенки<sup>379</sup>, какую песню затянуть над сохой. Брат мой недавно приехал из деревни и помогает мне в журнале...» (29 января 1845 года)<sup>380</sup>.

Жизнь шла своим чередом. У Ивана Васильевича и Натальи Петровны Киреевских подрастали дети, среди которых особое беспокойство родителей вызывал их первенец, Василий. И. В. Киреевский решил поместить старшего сына в Императорский Александровский лицей, желая определить его на казенное содержание, и обратился за содействием к В. А. Жуковскому. 31 марта 1849 года, находясь в Баден-Бадене, Василий Андреевич направил соответствующую просьбу к попечителю лицея принцу П. Г. Ольденбургскому: «Милостивейший государь. Ваше Императорское Высочество всегда оказывали мне благосклонность. Это дает мне смелость

---

<sup>379</sup> Александр Васильевич Никитенко.

<sup>380</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 113–117.

обратиться к Вам с покорнейшей просьбою, на которую благоволите обратить милостивое внимание. Вот в чем состоит моя просьба. Я имею родственника, близкого мне не по одному родству, но и по сердцу. Это Киреевский (какой он чин имеет, не знаю), дворянин, помещик в Тульской губернии. Он отец пятерых детей<sup>381</sup> и при весьма ограниченном состоянии употребляет главные издержки свои на их доброе домашнее воспитание. Старший сын<sup>382</sup> достигнул тех лет,

---

<sup>381</sup> Дети Ивана Васильевича Киреевского и Натальи Петровны Киреевской (урожденной Арбеновой): Василий Иванович Киреевский (1835 – после 1911), Наталья Ивановна Киреевская (1836–1838), Александра Ивановна Киреевская (в замужестве Кобран) (1838 —?), Екатерина Ивановна Киреевская (1843–1846), Сергей Иванович Киреевский (1845 – после 1916), Мария Ивановна Киреевская (в замужестве Бологовская) (1846 —?), Николай Иванович Киреевский (1848 —?).

<sup>382</sup> Об отроческих годах старшего сына И. В. Киреевского, Василия, встречается несколько беглых замечаний в дневнике Елизаветы Ивановны Поповой (М., 1911 г.), дочери издателя Ивана Васильевича Попова: «7 мая 1849 г. Киреевские нынче утром поехали с сыном в Троицкую лавру; по возвращении оттуда повезут его в петербургский лицей. 18 мая. Киреевские уехали в Петербург. Они грустят, отдаляя от себя сына, чтобы впоследствии уготовить путь ему к блестящей будущности. Я разделяю печаль их, но, сверх того, боюсь Петербурга: “там упражняются в расколах и безверии” и, что еще хуже, во всяком разврате. 11 июня 1850 г. Иван Васильевич <Киреевский> приехал сюда из Петербурга со своим любезным сыном. Последний выдержал экзамен и поступил в лицей. 20 июля. Вечер, 10 часов. Наконец Иван Васильевич Киреевский приехал сюда <в Москву> со своим сыном, без жены. Она осталась в деревне... 4 июля. Я проводила Васеньку в Петербург». По отзывам многих из его товарищей, Василий Киреевский поступил в лицей мальчиком религиозным, хорошо подготовленным, знавшим французский, немецкий, английский и латинский языки. Сверх того, он хорошо рисовал и играл на фортепиано. Однако в течение шестилетнего (1850–

в которые нужно домашнее воспитание заменить публичным. Он желает поместить своего сына в Императорский лицей, который, вверенный просвещенному покровительству Вашего Императорского Высочества, кажется ему самым надежнейшим местом для хорошего нравственного и ученого образования. Принося Вашему Императорскому Высочеству просьбу мою о соизволении на принятие Киреевского в лицей, я должен обратить Ваше внимание на следующее обстоятельство. Прием в лицей будет только в будущем 1850 году в июне месяце; тогда Киреевскому будет 15 лет и 3 месяца, то есть он будет девятью месяцами старше того возраста, в который принимаются воспитанники в 4-й, или низший, класс лицея; в третий же класс будет ему вступить еще

---

1856 г.) пребывания в лицее он не отличался прилежанием в учебе. Кое-как переходя из класса в класс, был выпущен в июне 1856 г. из лицея в чине губернского секретаря, последним из двадцати семи воспитанников XXI курса. Оставив лицей, Василий Киреевский поступил в Измайловский полк, но прослужил в нем недолго. Получив после смерти отца порядочное наследство, уехал за границу, где прожил не менее 15 лет. Вернулся в Петербург и в 1877 г. отправился в Черногорию, поступив волонтером в армию, сражавшуюся против турок. Барон А. Е. Врангель в своих воспоминаниях о пребывании в Черногории говорит, что в самом начале 1878 г. «нас часто посещал здесь русский доброволец Киреевский, товарищ по лицу Рихтера, – престранная, оригинальная, безобидная личность. Всякий раз, видя его, я спрашивал себя, с какой стати любители всяких приключений идут воевать? А сколько таких оригиналов шло тогда в Сербию и Черногорию, и как над ними зло трунили черногорцы! Киреевский всегда был влюблен в какую-нибудь черногорку и распевал ей на гитаре по вечерам под окном серенады. Этим нежностей черногорцы не знают и удивлялись им» (Новое время, 1911 г. Иллюстрированное приложение к № 12666. С. 7). См.: Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 549–551.

невозможно, ибо, не привыкнув к способу общественного учения, он отстал бы от товарищей и в его образовании произошел бы скачок, вредный для целостности образования. Могу ли просить и надеяться, что Ваше Императорское Высочество, снисходя на мою покорнейшую просьбу, согласитесь вычеркнуть эти лишние девять месяцев из молодой жизни моего родственника? Вы окажете не одним его родителям, но и мне истинное благодеяние. Я еще не имел случая ни о чем просить Вас; теперь мне стукнуло 66 лет. Не откажите старику Жуковскому в большой радости присоединить к тому сердечному уважению, которое так давно имеет к Вашему благородному характеру, и чувство личной к Вам благодарности. Венцом этого благотворения, о котором прошу Ваше Высочество, было бы то, когда нашлась бы возможность поместить Киреевского на казенный счет: родители его имеют весьма, весьма ограниченное состояние, а я ходатайствую за сына их как за своего собственного. При этом должен сказать Вашему Высочеству, что у меня действительно есть уже собственный сын<sup>383</sup>; быть может, случится мне просить Вас и за него, но всего вероятнее, что, если в этом будет надобность, это сделано будет без меня и послужит только воспоминанием обо мне. Пока прошу заживо и еще не о своем сыне и смею думать, что Ваше Высочество примете милостиво просьбу мою. С тех пор как я имел счастье встретить Ваше Высочество в Висбадене, Германия перевернулась вверх

---

<sup>383</sup> Павел Васильевич Жуковский.

дном. Загнанный холерою и болезнью жены<sup>384</sup> в Баден-Баден, я провел там прошлую зиму в совершенном отчуждении от всех внешних тревог политических; мое уединение было так ненарушимо, что я имел возможность перевести последнюю половину “Одиссеи”: XIII–XXIII песни кончены, XXIV-ю надеюсь на сих днях кончить. Говорю Вам об этом потому, что Вы любите древних и особенно покровительствуете гекзаметру. Когда кончится печатание моего последнего издания моих сочинений (печатаемых в Карлере), в том числе и «Одиссеи», я позволю себе представить экземпляры их Вашему Высочеству.

С глубочайшим почтением Вашего Императорского Высочества покорнейший слуга В. Жуковский»<sup>385</sup>.

Участие В. А. Жуковского вызвало живой отклик в сердце И. В. Киреевского. «Когда я получил и прочел письмо Ваше, – писал он Василию Андреевичу, – душа моя не наполнилась, а переполнилась чувством живой и сладкой благодарности. Впрочем, не знаю, так ли называть это чувство. Мне кажется, не меньше согрело бы мне сердце, если бы я узнал, что Вы сделали для другого то и так, как это сделали для меня. Вы перервали Вашу любимую работу над “Одиссеей”, которая приближалась уже к концу, для того чтобы говеть на страстной неделе свободно от всех посторонних за-

---

<sup>384</sup> Елизавета Алексеевна Жуковская (урожденная Рейтерн).

<sup>385</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 206–208.

нятий. Но в это время, получив мое письмо, Вы ни на минуту не усомнились нарушить Ваш святой шабаш для того, чтобы просить о моем сыне. Благодарю Того, Кто дал мне счастье быть близко Вас, и от всей души прошу Его, чтобы Он заплатил на Ваших детях то, что Вы сделали для моего сына, и чтобы мой сын, о котором Вы ходатайствовали как о собственном, помнил в течение жизни своей быть достойным этого. Письма Ваши<sup>386</sup> я отправил на другой же день в Петербург и по Вашему совету написал к Броневскому<sup>387</sup>. Теперь получил уже от него ответ, что принц согласен на Вашу просьбу о несчитании моему сыну 9-ти месяцев препятствием для вступления в 4-й класс лицея, но что касается до принятия его на казенный кошт, то это зависит от высочайшей воли и принадлежит только детям генералов и чиновников не ниже 4-го класса. Первое для нас самое важное, а второе, кажется, лучше так, как случилось. Чувствуя всю доброту Вашей просьбы об этом, я думаю, однако, что хотя точно состояние наше ограничено, но все нам легче будет платить за сына, как другие, чем пользоваться незаслуженно такого рода милостью. Впрочем, письмо Ваше и в этом отношении было бесполезно. Получив его, я дал прочесть сы-

---

<sup>386</sup> Письмо В. А. Жуковского к попечителю Императорского Александровского лицея принцу П. Г. Ольденбургскому должен был переправить адресату сам И. В. Киреевский. См.: Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 206–208, 549–551.

<sup>387</sup> Речь идет о директоре Императорского Александровского лицея в 1840–1853 гг. Дмитриии Богдановиче Броневском.

ну: он был им глубоко тронут и, вероятно, навсегда сохранит то сознание, что, просив за него милости, Вы этим как бы ручались за него, следовательно, кроме других причин, уже и поэтому на него легла обязанность соответствовать Вашему ручательству своим внутренним настроением честно. Случайный же результат просьбы есть уже дело постороннее для его внутренней обязанности. Кто знает? Может быть, придет время, когда это сознание послужит к тому, чтобы подкрепить его внутренние карантинные меры против той нравственной заразы, от которой теперь гниет Европа, этой французской болезни, от которой у бедного западного человека уже провалилось небо, хотя и надеюсь, что эта болезнь до нас не коснется или если коснется, то какого-нибудь несущественного края нашей общества. Грустно видеть, каким лукавым, но неизбежным и праведно насланным безумием страдает теперь человек на Западе. Чувствуя тьму свою, он, как ночная бабочка, летит на огонь, считая его солнцем. Он кричит лягушкой и лает собакой, когда слышит слово Божие. И этого испорченного, эту кликушу хотят отчитывать – по Гегелю! Теперь еще вдвое тяжелее, чем прежде, знать Вас там, под гнетом тяжелой необходимости жить посреди этих людей и далеко от отечества. Я понимаю, что никакие цепи изгнания не могут быть мучительнее цепей болезни того существа, в котором не только соединилось все милое сердцу, но вместе и все ближайшие обязанности священного долга охранять и беречь. Прошу Бога от всей души, чтобы Он скорее утешил

Вас здоровьем Вашей жены и тем дал Вам возможность возврата. Здесь не только слово Ваше, но и самое присутствие было бы полезно в текущую многозначительную минуту. Оттуда Вам действовать почти невозможно. Ваша брошюра и письмо к Вяземскому как ни прекрасно написаны, но, верно, написались бы не так, если бы Вы были здесь, и потому того действия, которое должно иметь Ваше слово на русских читателей, они произвести не могли. “Одиссея” совсем другое дело. Она вне времени, и Ваш перевод ее есть важное событие в истории нашей словесности. Она вне времени, потому что принадлежит всем временам равно, исключая, однако же, нашего, потому что наше вне обыкновенного порядка и вне всякой умственной и литературной жизни. Оттого и она не могла явиться у нас в той силе, которая ей принадлежит над нормальным состоянием человеческого ума. Действие ее на литературу нашу должно быть великое, но медленное и тем сильнее, чем будет менее ново, чем более она будет читаться. Таков самый характер ее красоты. Это не блеск страсти, не электрическая и ослепительная молния в темную ночь, но ясный взгляд высокого испытанного разума на богатую и глубокую природу, светлый и тихий вечер, таинственный отдаленностью горизонта. Известие, что перевод Ваш уже почти кончен, удивило и обрадовало всех нас. Я, признаюсь Вам, не воображал Гомера в той простоте, в той неходульной поэзии, в какой узнал его у Вас. Каждое выражение равно годится в прекрасный стих и в живую

действительность. Нет выдающегося стиха, нет хвастливого эпитета, везде ровная красота правды и меры. В этом отношении, я думаю, он будет действовать не только на литературу, но и на нравственное настроение человека. Неумеренное, необузданное слово в наше время, кажется мне, столько же выражает, сколько и производит необузданность сердечных движений. Есть, однако же, некоторые вещи в Вашей “Одиссее”, которые мне кажутся ниже ее общего уровня. Я заметил их для того, чтобы поговорить с Вами при свидании, и мог их заметить потому, почему на белой бумаге можно заметить малейшую пылинку. Эти пылинки заключаются не в выражениях, которые кажутся мне удивительным совершенством, но в перестановке слов, которая иногда кажется мне более искусственной, чем могла бы быть, особенно и только сравнительно с общей естественностью. Впрочем, написавши это, я чувствую, что довольно странно выходит: мне говорить Вам о недостатках Вашего слога. Утешаюсь только мыслью, что, может быть, Вы, выслушавши все толки званых и незваных судей, между кучею вздора найдете что-нибудь дельное и в таком случае второе издание Вашей “Одиссеи” будет еще совершеннее. Если же из всех замечаний не найдете ничего дельного для себя, то тем полезнее будет для меня слышать Ваше мнение. Обнимаю Вас от всей души за себя, за жену, за сына и всю семью. От маменьки уже более недели не получал известий. По последнему письму здоровье ее

было довольно хорошо. Ваш Иван Киреевский»<sup>388</sup>.

В. А. Жуковский умер в Баден-Бадене в 1 час 37 минут пополудни 12 апреля 1852 года в возрасте 69-ти лет. Поэта тяготила разлука с Россией, прибавлявшая огорчения к его и без того тяжелой жизни. В последний период его жизни большой радостью были для него письма с родины и, особенно, от дорогого его сердцу И. В. Киреевского, для которого начало каждого года было олицетворено и одухотворено именем Василия Андреевича. «Пишу к Вам между днем Нового года и днем Вашего рождения<sup>389</sup>. Каждый перелом времени да будет во благо Вам, так как вся жизнь Ваша была на добро другим и на славу русскому слову. Я прочел Вашу вторую часть “Одиссеи” с высоким, изящным наслаждением. Оттого ли, что, приступая к ней, я уже свыкся с камертоном “Одиссеи”, или оттого, что в самом деле так, но мне показался перевод второй части еще совершеннее первой, хотя она меньше богата содержанием. Теперь “Одиссея” Гомера навсегда воскресла для нас из пыли ученого кабинета и поместилась в число созвездий, под влиянием которых будет развиваться русский ум. Теперь хорошо бы было, если бы, отдохнувши от Вашего великого труда, Вы полюбили мысль воскресить для нас “Илиаду” так же, как Вы воскресили “Одиссею”, чтобы они стояли вместе, помогая друг другу

---

<sup>388</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 144.

<sup>389</sup> Между 1 и 29 января 1850 года.

раскрыть перед нами всю тайну души Гомера и его времени, и весь объем его вселенной. Перевод Гнедича<sup>390</sup>, конечно, имеет большие достоинства: он, говорят, близок и для литературного языка особенно полезен был потому, что обогатил его большим запасом технических выражений и несколькими удачно употребленными словенскими<sup>391</sup> словами. Но он пухл, тяжел и неестествен. Потому он читается только по долгу литературной службы, а не по внутренней потребности. Правда, я знаю двух человек, которые восхищались им от всей полноты сердца: это покойный Языков и мой сын, когда ему было 8 и 9 лет. Но Языков мог восхищаться им потому, что для него каждое новое выражение было драгоценностью, а мой сын потому, что читал его, когда за содержанием языка не замечают. Если же Вы не решитесь на этот огромный труд, то переведите нам “Прометея” Эсхила – эту искру истины в темноте многобожия, предчувствие лжеверия о готовой ему гибели, сознание бессилия князя тьмы над добывшим огонь истины человеком, угнетенным, но торжествующим надеждою на грядущее избавление. Впрочем,

---

<sup>390</sup> Николай Иванович Гнедич.

<sup>391</sup> О правописании И. В. Киреевского слова *словенский* имеется его собственное объяснение в письме к старцу Макарию между 8 февраля и 17 марта 1847 года: «На полях корректуры Вы найдете заметки Шевырева карандашом: он спрашивает, какого правописания угодно Вам держаться в словах *славянский*, *славянский* или *словенский* <...>. Я обыкновенно пишу *словенский*, производя *словени* от слова в противоположность *немцам*». См.: Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 130.

маменька моя сообщила мне, что Вы сделали дело важнее этого: Вы перевели Евангелие на русский язык. Это великий подвиг, который может дать нашему языку то освящение, которое ему еще недостает, потому что перевод Библейского общества неудовлетворителен. Это не беда, что Вы переводили со словенского: словенский перевод верен до буквальной близости. Только бы смысл везде сохранен был настоящий православный, именно тот, какой в словенском переводе, а не тот, какой в некоторых словах или в некоторых оттенках слов дают многие переводы иностранные, стараясь не понятие человека возвысить до Откровения, но Откровение понизить до обыкновенного понятия, отрезывая тем у Божественного слова именно то крыло, которое подымает мысль человека выше ее обыкновенного стояния. Перевод Ваш, впрочем, как бы хорош ни был, не должен заменить словенский: словенский должен жить, и им должна дышать Россия, покуда в ней живет истинная вера с ее словенским богослужением. Но литературный язык получит от достойного русского перевода то помазание, которого он еще не имеет. Жаль только слышать, что Ваш перевод дурно написан. Не потому, что бы трудно было разбирать (Вашу руку разберем мы без ошибки), но потому жаль, что это доказывает, что Вы не доработали его до последней отчистки. Впрочем, может быть, Вам ловчее будет просмотреть его переписанным. Пришлите поскорее к нам, чтобы успеть переписанный просмотреть прежде весны. А весной, когда, как мы на-

деемся, Вы наконец приедете в Россию, может быть, можно будет его напечатать здесь вместе с словенским, как печатались переводы Библейского общества. Приезжайте весной, ради Бога, приезжайте, если будет хотя малейшая возможность. Право, климат наш не так дурен, как думают немецкие доктора, которые судят обо всей России по Петербургу. Иначе, подумайте, для детей Жуковского<sup>392</sup> русский язык будет чужой, русские обычаи противны. Русское хорошее – непривычно, русское дурное – совсем невыносимо. Приезжайте в Москву: там климат здоровый, летом сухой, зимой умеренный, дома теплее немецких, друзья искренние, доктора есть такие, каких лучше мудрено желать и за границей. Молю Бога, чтобы это совершилось так, чтобы было во благо Вам и семейству Вашему»<sup>393</sup>.

В отличие от Ивана у Петра Киреевского не было с В. А. Жуковским столь прочных духовных уз. Однако и его жизненные порывы и творческие устремления не существовали вне *родительского благословения* и вдохновляющего примера великого поэта, особенно в переломные моменты выбора новых ориентиров.

В конце 1825 года у Петра Киреевского возникло желание поступить на военную службу. В семье возражали против этого намерения, о чем, в частности, свидетельствует за-

---

<sup>392</sup> Александра Васильевна и Павел Васильевич Жуковские.

<sup>393</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 145–148.

пись в дневнике Марьи Киреевской от 4 марта 1826 года: «Ванюша отговаривал Петрушу не идти в военную службу, подобно Сократу, очень умно»<sup>394</sup>. Василий Андреевич делал все, чтобы сгладить возникшее недопонимание между взрослеющим сыном, матерью и братом. Чуть позже, когда П. В. Киреевский упорно добивался разрешения от матери принять участие в Русско-турецкой войне<sup>395</sup>, приведшей к освобождению Греции от турецкого ига (его вдохновлял пример Александра Ипсиланти, возглавившего восстание против турецких войск<sup>396</sup>); понимание дерзновенных планов *молодого*

---

<sup>394</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 552.

<sup>395</sup> Имеется в виду Русско-турецкая война (1828–1829 гг.). Военный конфликт между Российской и Османской империями начался в апреле 1828 года вследствие закрытия, после Наваринского сражения (октябрь 1827 года), Портой пролива Босфор – в нарушение Аккерманской конвенции. В более широком контексте Русско-турецкая война была следствием борьбы между великими державами, вызванной греческой войной за независимость (1821–1830) от Османской империи. В ходе войны русские войска совершили ряд походов в Болгарию, на Кавказ и на северо-восток Анатолии, после чего Порта запросила мира.

<sup>396</sup> Восстание началось 6 марта 1821 года, когда Александр Ипсиланти, сопровождаемый несколькими другими греческими чиновниками российской армии, пересек реку Прут в Румынии и вступил со своим небольшим отрядом на территорию современной Молдавии. Он был скоро разбит турецким войском. В течение 3 месяцев восстание охватило весь Пелопоннес, часть континентальной Греции, остров Крит, Кипр и некоторые другие острова Эгейского моря. Повстанцы захватили значительную территорию. 22 января 1822 года 1-е Национальное собрание в Пиаду (близ Эпидавра) провозгласило независимость Греции и приняло демократическую конституцию. Военные действия против турецких войск протекали относительно успешно. Ответ Турции был страшный, тысячи греков

*мятущегося сердца* нашлось лишь у Жуковского.

В конце концов, Петр Киреевский уступил решительно-му сопротивлению Авдотьи Петровны, согласившись продолжить образование в Мюнхене. История этой поездки излагается опять-таки в письме к Жуковскому от 5 июня 1829 года: «Друг мой Жуковский! Дней через 8 или 10 Петруша едет в Мюнхен! Чувствуете ли Вы, что Вам надо благословить его родительским благословением, сердечным, теплым, для того чтобы мне было отраднее? Знаю, что немецкий университет будет для него полезен, и Мюнхен выбрала потому, что там живет Тютчев<sup>397</sup>, женатый молодой человек, очень хороший, – он там при посольстве; а я с отцом его<sup>398</sup> и со всею семьею коротко знакома, следовательно, могу во всяком случае на него положиться – и, несмотря на то, мне так эта разлука горька и тяжка, что трудно понять. Бедный мой Пьер такой еще бестолковый ребенок! Не только людей не

---

были репрессированы турецкими солдатами, был повешен константинопольский патриарх Григорий V. Однако и греки не остались в долгу. Греческие повстанцы казнили тысячи мусульман, причем многие из них не имели никакого отношения ни к Турции, ни к революции. Все эти события были плохо восприняты Западной Европой. Британское и французское правительство подозревали, что восстание было российским заговором по захвату Греции и даже, возможно, Константинополя. Однако вожди повстанцев конфликтовали между собой и оказались неспособны установить регулярное управление освобожденными территориями. Все это привело к междоусобной борьбе. В Греции началась гражданская война (конец 1823 г. – май 1824 г. и 1824–1825 гг.).

<sup>397</sup> Федор Иванович Тютчев был в период с 1822 по 1837 год сотрудником дипломатической миссии в Мюнхене.

<sup>398</sup> Иван Николаевич Тютчев.

знает, но от большой застенчивости боится их. Надеюсь, что одиночество и нужда все это исправят, тяжело, однако ж, за это осуждать его. Благословите его, душа моя, мне утешительно будет знать, что Вы его поход одобряете. Этим Мюнхеном мы точно заменили военную службу, за которую Вы с такою горячею дружбою хотели приняться. Он не запишется студентом, а будет проходить курс вольным слушателем. До Бреслау с ним едет один довольно знакомый нам немец, а там один. Если бы Рожалин<sup>399</sup> мог к нему присоединиться, я была бы совсем счастлива, но для этого нужно еще три тысячи, которых, по расстроенному состоянию и по необходимым издержкам на остальную большую мою семью, не могу, к сокрушению моему, дать...»<sup>400</sup>. Далее уже рукою сына: «Позвольте мне самому просить Вашего благословения: доброе желание Ваше должно принести добра. Всем сердцем Вас почитающий П. Киреевский»<sup>401</sup>.

Что же касается главного дела жизни П. В. Киреевского – собирания русских народных песен, то чрезвычайно важным является то обстоятельство, что предположительно зимой 1816–1817 года В. А. Жуковский предлагал своим племянницам, Анне Петровне Юшковой (впоследствии Зонтаг, известной детской писательнице), Авдотье Петровне Киреевской,

---

<sup>399</sup> Николай Матвеевич Рожалин.

<sup>400</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 136–137.

<sup>401</sup> Там же. С. 137.

евской и Екатерине Петровне Азбукиной, заняться собиранием фольклора и, в частности, сказок. «Я, – писал Василий Андреевич из Дерпта в Долбино, – давно предлагал для вас всех работу, которая может быть для меня со временем полезна. Не можете ли вы собирать для меня русские сказки и русские предания: это значит заставлять себе рассказывать деревенский наших рассказчиков и записывать их рассказы. Не смейтесь. Это национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания: в сказках заключаются народные мнения; суеверные предания дают понятия о нравах их и степени просвещения и о старине. Я бы желал, чтобы вы, Аннета, Дуняша и Като, завели каждая по две белых книги, в одну записывать сказки (и, сколько можно, теми словами, какими они будут рассказаны), а в другую всякую всячину: суеверия, предания и тому подобное. Работа и не трудна, и не скучна. Писать не нужно с старанием; записывать просто содержание. Все это привести со временем в порядок – мое дело. Как вы думаете?..»<sup>402</sup>. Чем не истоки русской фольклористики?!

А. П. Киреевская и ее сестры, вдохновленные В. А. Жуковским, не просто втягиваются в собирание произведений устного народного творчества, но и хотят издавать антологию русских народных сказок. Во многом это объясняет наличие в Собрании П. В. Киреевского соответствующих за-

---

<sup>402</sup> Подлинные черты из жизни В. А. Жуковского // Русский архив. 1864. № 4. С. 468–469.

писей, впоследствии переданных А. Н. Афанасьеву и помещенных последним в своем знаменитом издании «Народных русских сказок» (1855–1864 гг.).

И еще один немаловажный факт, на который обращает внимание уже сокурсник братьев Киреевских по Московскому университету Н. П. Колюпанов, связавший интерес Петра Васильевича к народной песне с известной статьей В. К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»<sup>403</sup>. «Будем благодарны Жуковскому, – писал Кюхельбекер, – что он освободил нас из-под ига французской словесности <...>, но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро большим перед ним дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества! – Всего лучше иметь поэзию народную»<sup>404</sup>.

Статья Кюхельбекера явилась литературным событием 1824 года и не могла остаться вне внимания светской жизни Москвы того времени, а следовательно, и салона, который завела в своем доме мать П. В. Киреевского. Образованное и литературно талантливое семейство Киреевских – Елагиных, бесспорно, привлекли слова о народных песнях как об одном из источников отечественной словесности и особенно

---

<sup>403</sup> Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева. М., 1892. Т. 1. Кн. 2. С. 28–29.

<sup>404</sup> Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. II. С. 40.

в контексте высокой оценки роли В. А. Жуковского в развитии русской литературы.

После отъезда из Долбина В. А. Жуковского образование Ивана, Петра и Марьи Киреевских перешло полностью в руки Авдотьи Петровны, нанявшей для детей воспитателя К. И. Вагнера. Так продолжалось вплоть до появления в доме отчима, Алексея Андреевича Елагина.

События с новым замужеством А. П. Киреевской развивались так. В начале ноября 1815 года в Долбино приходит известие, что Марья Андреевна Протасова выходит замуж. В этом не было принуждения со стороны матери, Екатерины Афанасьевны: Марья Андреевна выходила замуж, видимо, по склонности, и притом за друга В. А. Жуковского, Ивана Филипповича Мойера – домашнего врача Протасовых, талантливый и благородный человек. Свадьба должна была состояться 11 января 1817 года, в день рождения А. П. Киреевской. По какой-то причине ее перенесли на 14 января. Авдотья Петровна спешила из Долбина в Дерпт, но лед на Оке подломился под ее повозкой, она едва не утонула. Страшно простудившись, А. П. Киреевская была вынуждена надолго остаться в Козельске, вверив себя попечению своего троюродного брата Алексея Андреевича Елагина<sup>405</sup>. Участник

---

<sup>405</sup> А. П. Киреевская и А. А. Елагин происходили из одного рода Буниных: Авдотья Петровна – от Афанасия Ивановича, а Алексей Андреевич – от родной сестры А. И. Бунина, Анны Ивановны Давыдовой, дочь которой, Елизавета Се-

Отечественной войны и заграничных походов 1812–1815 годов, яркий представитель дворянской интеллигенции, увлеченной философией, в особенности немецкой, подлинный знаток Канта и Шеллинга, А. А. Елагин тронул сердце Авдотьи Петровны, и она 4 июля 1817 года соединилась с ним браком.

Будучи человеком одной с Жуковским книжной культуры, А. А. Елагин в какой-то мере осуществил для Киреевских задуманную поэтом образовательную программу. К этому выводу приводит знакомство с трехмесячным заданием, сохранившемся в дневнике Марьи, младшей сестры Ивана и Петра. Обращает на себя внимание объем задания и круг чтения: «Французский: перевести Сократа, грамматику и прочесть трагедию Вольтера. Немецкий: грамматика, прочесть 1 том истории Нидерландов, перевести “Ундину”. Английский: прочесть “Лалла Рук”. Русский: перевести Фенелона “Educ des Fillis”<sup>406</sup>, выучить 100 страниц стихов, всякий день по 3 страницы. Прочесть 5 томов Карамзина хорошенько и 4 тома Сисмонди. Кроме других пьес, выучить концерт Риса наизусть. Французский 1 раз в неделю в понедельник по 6 страниц переводить от 11 до 1. Немецкий 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Каждый раз 10 страниц перевести и 25 прочесть, утро до 1 часа. Английский 1 раз в понедельник вечером. Русский 2 раза в неделю: среда,

---

меновна Елагина, была матерью А. А. Елагина.

<sup>406</sup> Образование девочек (*фр.*).

пятница по 15 страниц за раз; каждый раз по 9 страниц стихов. 3 раза в неделю читать Карамзина от 5 до 7 после обеда. 2 раза в неделю Сисмонди от 9 до 11»<sup>407</sup>. Запись относится к 1820-м годам, но она, конечно, характеризует систему и метод обучения не одной только Марьи Киреевской: источники, по которым пятнадцатилетняя девочка изучала основы наук, несомненно, были знакомы и ее старшим братьям, Ивану и Петру.

С появлением А. А. Елагина в семье Киреевских идеи немецкого романтизма становятся важнейшим элементом в воспитании детей. И это понятно, «еще во время утомительных походов французской войны» Елагин вздумал «пересадить Шеллинга на русскую почву» и стал «изъясняться в новых отвлечениях легко и приятно»<sup>408</sup>, а потом еще перевел на русский язык «Философские письма о догматизме и критицизме» общепризнанного главы немецкой романтической школы. Под руководством отчима Иван и Петр Киреевские начинают углубленно заниматься философией и политиче-

---

<sup>407</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 551.

<sup>408</sup> Друг А. А. Елагина, декабрист Г. С. Батеньков, писал в 1847 году П. В. Киреевскому о молодости отчима: «Еще во время утомительных походов французской войны нас трое – Елагин, я и некто Паскевич – вздумали пересадить Шеллинга на русскую почву, и в юношеских умах наших идеи его слились с нашим товарищеским юмором. Мы стали изъясняться в новых отвлечениях легко и приятно. Целые переходы окружал нас конвой слушателей, и целые корпуса со всеми штабами называли нас галиматейными философами». См.: Гулыга А. В. Шеллинг. М., 1994. С. 289.

ской экономией, изучать произведения Локка и Гельвеция.

Знание языков, основательные познания по истории и математике, владение лучшими произведениями русской и французской словесности, а также осведомленность о последних достижениях немецкой философской мысли требовали для Ивана и Петра Киреевских *исхода* из родового гнезда. «Если ничто нашим планам не помешает, – писала в 1819 году А. П. Елагина-Киреевская, в одном из своих писем В. А. Жуковскому, – то осенью соберемся для них в Москву и, может быть, на несколько лет»<sup>409</sup>. Перемена усадебной жизни на городскую была осуществлена только к 1822 году, когда семья Елагиных-Киреевских надолго поселяется в Москве, откуда лишь на лето выезжает в Долбино или на подмосковные дачи.

---

<sup>409</sup> Малышевский А. Ф. Петр Киреевский и его собрание русских народных песен. Обнинск: Издательство «Веги», СПб.: «Профи-Центр», 2010. Т. 8. Кн. 1. С. 191.

# Глава III. Москва. Университет. Первый творческий опыт

## 1

В Москве семья Елагиных-Киреевских поселилась на Большой Мещанской улице у Сухаревской башни в доме Померанцева; впоследствии у Дмитрия Борисовича Мертваго покупается большой дом в Хоромном тупике близ Красных ворот за церковью Трех святителей с обширным тенистым садом и с почти сельским простором. Это место Авдотья Петровна вспоминала всегда с особенною любовью. Здесь провела она около 20 лет своей жизни, здесь родились ее дети от второго брака: Николай, Андрей, Елизавета. Дом это при разделе имущества отойдет потом ее старшему сыну, И. В. Киреевскому.

Дом Елагиных-Киреевских у Красных ворот очень скоро становится центром литературной жизни Москвы, ее, как писал Н. М. Языков, «привольной республикой»<sup>410</sup>, посещаемой многими общественными деятелями, учеными и литераторами. Как отмечал К. Д. Кавелин, непосредственно ис-

---

<sup>410</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 59.

пытавший на себе *всю обязательную прелесть и все благотворное влияние этой среды в золотые дни студенчества*: «Блестящие московские салоны и кружки того времени служили выражением господствовавших в русской интеллигенции литературных направлений, научных и философских взглядов. Это известно всем и каждому. Менее известны, но не менее важны были значение и роль этих кружков и салонов в другом отношении – именно как школа для начинающих молодых людей: здесь они воспитывались и приготавливались к последующей литературной и научной деятельности. Вводимые в замечательно образованные семейства юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной доброте и радушию хозяев, простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они встречались и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям»<sup>411</sup>. Таким образом, А. П. Елагина-Киреевская не просто отдает дань традиции, принимая живое и непосредственное участие в жизни литературных и ученых московских кружков, не просто заводит у себя литературно-общественный салон, следуя моде, а имеет целью окружить своих детей людьми, общение с которыми было бы и поучительно,

---

<sup>411</sup> Там же. С. 32–33.

и полезно. Более того, через свой салон Авдотья Петровна составила для Ивана и Петра ближний круг друзей, с которыми они так или иначе шли по жизни: В. П. Титов, Н. М. Рожалин, С. П. Шевырев, М. А. Максимович, А. И. Кошелев, Д. В. Веневитинов, а позднее Д. А. Валуев, А. Н. Попов, М. А. Стахович, еще позднее братья Бакунины (Павел, Алексей, Александр), Э. А. Дмитриев-Мамонов – все они были приняты в семействе Елагиных-Киреевских на дружеской ноге и встречали самую искреннюю ласку. Особым любимцем Авдотьи Петровны был *вдохновенный Языков*, появившийся в Москве в 1829 году; между Николаем Михайловичем Языковым и Петром Васильевичем Киреевским установятся самые теплые дружеские отношения, которые они пронесут через всю жизнь. О последнем нагляднее всего свидетельствуют посвящения поэта:

Щеки нежно пурпуровы  
У прелестницы моей;  
Золотисты и шелковы  
Пряди легкие кудрей;  
Взор приветливо сияет,  
Разговорчивы уста;  
В ней красуется, играет  
Юной жизни полнота!  
Но ее на ложе ночи,  
Мой товарищ, не зови!  
Не целуй в лазурны очи

Поцелуями любви:  
В них огонь очарований  
Носит дева-красота;  
Упоительных лобзаний  
Не впивай в свои уста:  
Ими негу в сердце вдует,  
Мглу на разум наведет,  
Зацелует, околдует  
И далеко унесет!<sup>412</sup>

Где б ни был ты, мой Петр, ты должен знать, где я  
Живу и движусь? Как поэзия моя,  
Моя любезная, скучает иль играет,  
Бездействует иль нет, молчит иль распевает?  
Ты должен знать, каков теперешний мой день?  
По-прежнему ль его одолевает лень,  
И вял он, и сердит, влачащийся уныло?  
Иль радостен и свеж, блистает бодрой силой,  
Подобно жениху, идущему на брак?  
Отпел я молодость и бросил кое-как  
Потехи жизни той шутилой, беззаботной,  
Удалой, ветреной, хмельной и быстролетной.  
Бог с ними! Лучшего теперь добился я:  
Уединенного и мирного житья!  
Передо мной моя наследная картина:

---

<sup>412</sup> Там же. С. 142.

Вот горы, подле них широкая долина  
И речка, сад, пруды, поля, дорога, лес,  
И бледная лазурь отеческих небес!  
Здесь благодатное убежище поэта  
От пошлости градской и треволнений света,  
Моя поэзия – хвала и слава ей!  
Когда-то гордая свободой своей,  
Когда-то резвая, гулявшая небрежно  
И загулявшаяся едва не безнадежно,  
Теперь она не та, теперь она тиха:  
Не буйная мечта, не резкий звон стиха  
И не заносчивость и удаль выраженья  
Ей нравятся – о нет! пиры и песнопенья,  
Какие некогда любила всей душой,  
Теперь несносны ей, степенно-молодой,  
И жизнь спокойную гульбе предпочитая,  
Смиренно-мудрая и дельно-занятая,  
Она готовится явить в ученый свет  
Не сотни две стихов во славу юных лет,  
Произведение таланта миговое —  
Элегию, сонет, а что-нибудь большое!  
И то сказать: ужель судьбой присуждено  
Ей весь свой век хвалить и прославлять вино  
И шалости любви нескромной? Два предмета,  
Не спорю, милые, – да что в них? Солнце лета,  
Лучами ранними гоня ночную тень,  
Находит весело проснувшимся мой день;  
Живу, со мною мир великий, чуждый скуки,  
Неистошимые сокровища науки,

Запасы чистого привольного труда  
И мыслей творческих, не тяжких никогда!  
Как сладостно душе свободно-одинокой  
Героя своего обдумывать! Глубоко,  
Решительно в него влюбленная, она  
Цветет, гордится им, им дышит, им полна;  
Везде ему черты родные собирает;  
Как нежно, пламенно, как искренно желает,  
Да выйдет он, ее любимец, пред людей  
В достоинстве своем и в красоте своей,  
Таков, как должен быть он весь душой и телом,  
И ростом, и лицом; тот самый словом, делом,  
Осанкой, поступью, и с тем копьём в руке,  
И в том же панцире, и в том же шишаке!  
Короток мой обед; нехитрых сельских брашен  
Здоровой прелестью мой скромный стол украшен  
И не качается от пьяного вина;  
Не долог, не спесив мой отдых, тень одна,  
И тень стигийская бывалой крепкой лени,  
Я просыпаюсь для тех же упражнений  
Иль, предан легкому раздумью и мечтам,  
Гуляю наобум по долам и горам.  
Но где же ты, мой Петр, скажи? Ужели снова  
Оставил тишину родительского крова  
И снова на чужих, далеких берегах  
Один, у мыслящей Германии в гостях,  
Сидишь, препогружен своей послушной думой  
Во глубь премудрости туманной и угрюмой?  
Или спешишь в Карлсбад – здоровье освежать

Бездельем, воздухом, движеньем? Иль опять,  
Своенородности подвижник просвещенный,  
С ученым фонарем истории, смиренно  
Ты древлерусские обходишь города,  
Деятелен, и мил, и одинак всегда?  
О! дозовусь ли я тебя, мой несравненный,  
В мои края и в мой приют благословенный?  
Со мною ждут тебя свобода и покой —  
Две добродетели судьбы моей простой,  
Уединение, ленивки пуховые,  
Халат, рабочий стол и книги выписные.  
Ты здесь найдешь пруды, болота и леса,  
Ружье и умного охотничьего пса.  
Здесь благодатное убежище поэта  
От пошлости градской и треволнений света:  
Мы будем чувствовать и мыслить, и мечтать,  
Былые, светлые надежды пробуждать,  
И, обновленные еще живей и краше,  
Они воспламят воображенье наше,  
И снова будет мир пленительный готов  
Для розысков твоих и для моих стихов!<sup>413</sup>

Ты крепкий, праведный стоятель  
За Русь и славу праотцов,  
Почтенный старец-собиратель

---

<sup>413</sup> Там же. С. 144–145.

Старинных песен и стихов!  
Да будет тих и беспечален  
И полон счастливых забот,  
И благодатно достохвален,  
И мил тебе твой новый год!  
В твоём спасительном приюте  
Да процветет ученый труд,  
И недоступен всякой смуте  
Да будет он; да не войдут  
К тебе ни раб царя Додона,  
Ни добросовестный шпион,  
Ни проповедник Вавилона<sup>414</sup>,  
Ни вредоносный ихневмон<sup>415</sup>,  
Ни горделивый и ничтожный  
И пошло-чопорный папист<sup>416</sup>,  
Ни чужемыслитель безбожный  
И ни поганый коммунист<sup>417</sup>;  
И да созреет безопасно  
Твой чистый труд, и принесет  
Он плод здоровый и прекрасный,  
И будет сладок это плод  
Всеми Востоку, всем крещеным;  
А немцам, нашим господам,  
Боготворным и мудреным,

---

<sup>414</sup> То есть западник, возможно, Т. Н. Грановский.

<sup>415</sup> Млекопитающее рода мангустов.

<sup>416</sup> Возможно, П. Я. Чаадаев.

<sup>417</sup> Возможно, А. И. Герцен.

И всем иным твоим врагам  
Будь он противен; будь им тошно  
С него, мути он душу им!  
А ты, наш Петр, ты неоплошно  
Трудись и будь неутомим!<sup>418</sup>

Свое трогательное отношение к А. П. Елагиной-Киреевской Н. М. Языков также выразил стихами.

А. П. Елагиной  
*(при поднесении ей своего портрета)*  
Таков я был в минувши лета  
В той знаменитой стороне,  
Где развивались во мне  
Две добродетели поэта:  
Хмель и свобода. Слава им!  
Их чудотворной благодати,  
Их вдохновеньям удалым  
Обязан я житьем лихим  
Среди товарищей и братий,  
И неподкупностью трудов,  
И независимостью лени,  
И чистым буйством помышлений,  
И молодечеством стихов.

Как шум и звон пирушки вольной,

---

<sup>418</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 147–148.

Как про любовь счастливый сон,  
Волшебный шум, волшебный звон,  
Сон упоительно-раздольный, —  
Моя беспечная весна  
Промчалась. Чувствую и знаю,  
Не целомудренна она  
Была – и радостно встречаю  
Мои другие времена!  
Но святы мне лета былые!  
Доселе блещут силой их  
Мои восторги веселые,  
Звучит заносчивый мой стих...  
И вот на память и хранение,  
В виду России и Москвы —  
Я вам дарю изображенье  
Моей студентской головы!<sup>419</sup>

А. П. Елагиной

Я знаю, в дни мои былые,  
В дни жизни радостной и песен удалых  
Вам нравились мои восторги молодые  
И мой разгульный, звонкий стих;  
И знаю я, что вы и ныне,  
Когда та жизнь моя давно уже прошла, —  
О ней же у меня осталось лишь в помине, Как хороша

---

<sup>419</sup> Там же. С. 143.

она была  
И, приголубленная вами  
И принятая в ваш благословенный круг,  
Полна залетными, веселыми мечтами,  
Любя студентский свой досуг, —  
И ныне вы, как той порою,  
Добры, приветливы и ласковы ко мне,  
Так я и думаю, надеюсь всей душою,  
Так и уверен я вполне,  
Что вы и ныне доброхотно  
Принос мой примете, и сердцу моему  
То будет сладостно, отрадно и вольготно.  
И потому, и потому  
Вам подношу и посвящаю  
Я новую свою поэзию<sup>420</sup>, цветы  
Суровой, сумрачной години; в них, я знаю,  
Нет достодолжной красоты:  
Ни бодрой, юношеской силы,  
Ни блеска свежести пленительной; но мне  
Они и дороги, и несказанно милы;  
Но в чужедальной стороне  
Волшебно ими оживлялось  
Мне одиночество туманное мое;  
Но, ими скрашено, сноснее мне казалось  
Мое печальное житье.<sup>421</sup>

---

<sup>420</sup> Имеется в виду новая книга стихотворений Н. М. Языкова, изданная в 1844 году.

<sup>421</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 146–147.

В доме Елагиных-Киреевских молодежь прекрасно проводила время: устраивались чтения, сочинялись и разыгрывались драматические представления, предпринимались загородные прогулки. Экспедиция в Троице-Сергиеву лавру была описана Н. М. Языковым в виде шуточного посвящения к *ее светлости главнокомандующей отделением народного продовольствия по части чайных обстоятельств* М. В. Киреевской:

В те дни, как путь богоугодный  
От места, где теперь стоим,  
Мы совершали пешеходно  
К местам и славным и святым;  
В те дни, как сладостного мая  
Любезно-свежая пора,  
Тиха от утра до утра,  
Сияла нам, благословляя  
Наш подвиг веры и добра;  
И в те часы, как дождь холодный  
Ненастье нам предвозвестил  
И труд наш мило-пешеходный  
Ездою тряской заменил;  
Там, где рука императрицы,  
Которой имя в род и род  
Сей белокаменной столицы  
Как драгоценность перейдет,  
Своею властью державной

Соорудила православно  
Живым струям водопровод<sup>422</sup>;  
Потом в селе, на бреге Учи,  
Там, где в досадном холодке,  
При входе в избу на доске,  
В шинели, в белом колпаке,  
Лежал дрожащий и дремучий  
Историк нашего пути<sup>423</sup>, —  
Его жестоко утомили  
Часы хождения и усилий  
И скучный страх вперед идти;  
Потом в избе деревни Талиц,  
Где дует хлад со всех сторон,  
Где в ночь усталый постоялец  
Дрожать и жаться принужден;  
Потом в местах, где казни плаха  
Смиряла пламенных стрельцов,  
Где не нашли б мы и следов  
Их достопамятного праха;  
Там, где полудня в знойный час  
Уныл и жаждущий подушки  
На улице один из нас  
Лежал – под ним лежали стружки!  
Потом в виду святых ворот,  
Бойниц, соборов, колоколен,  
Там, где недаром богомолен

---

<sup>422</sup> Водопровод в Мытищах, снабжавший водой Москву, был построен по приказу Екатерины II в XVIII в.

<sup>423</sup> Имеется в виду М. П. Погодин.

Христолюбивый наш народ;  
Обратно, в день дождя и скуки,  
Когда мы съехались в дом  
Жены, которой белы руки  
Играли будущим царем, —  
Всегда и всюду благосклонно  
Вы чаем угощали нас,  
Вы прогоняли омрак сонный  
От наших дум, от наших глаз.

Итак, да знаменье оставим  
На память будущим векам  
И свой великий долг исправим  
Святой признательностью к вам.  
Мы все с поклоном вам подносим  
И купно молим вас и просим  
Принять с улыбкою наш дар,  
Лишь с виду малый и убогий,  
Как принимают наши боги  
Кадил благоговейный пар.

*Постельничий и походный виршеписец Н. Языков<sup>424</sup>.*

Свой отчет об этом *пешем многолюдном хождении* представил и А. О. Армфельд, уснувший во время одного из привалов, да так, что его вынуждены были будить с помощью бросания орехов:

---

<sup>424</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 140–142.

В село прибывши Пушкино,  
Искал я карт для мушки, но  
Не мог никак найти.  
Судьбою злой караемый,  
Залег я спать в сарае; мой  
Был прерван краткий сон:  
В орешенных баталиях,  
Меня там закидали, ах!  
Любезный Петерсон<sup>425</sup>!..<sup>426</sup>

Н. М. Языков сотворчествовал с княгиней *русского стиха* К. К. Павловой, удостоенной внимания со стороны самого Гёте, тогда еще девицею Яниш. На приезд в Москву по пути в Сибирь знаменитого естествоиспытателя и путешественника Александра Гумбольдта пародировались строки из «Бахчисарайского фонтана» А. С. Пушкина:

Но тот блаженный, Каролина,  
Кто, бриллианты возлюбя,  
Искать их ехал из Берлина  
И здесь в Москве нашел тебя<sup>427</sup>.

В салоне А. П. Елагиной-Киреевской с радостью прини-

---

<sup>425</sup> Александр Петрович Петерсон.

<sup>426</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 60.

<sup>427</sup> Там же. С. 61.

мали А. С. Пушкина и *первого поэта Польши* Адама Мицкевича, ставшего близким другом хозяйки. 30 ноября 1827 года Авдотья Петровна обращается к В. А. Жуковскому: «Господин Мицкевич отдаст вам мой фонарь<sup>428</sup>, бесценный друг. Вам не мудрено покажется, что первый поэт Польши хочет покороче узнать Жуковского, а мне весело, что он отвезет вам *весть о родине* с воспоминанием об вашей сестре. Вы непременно полюбите это привлекательное создание; хоть его *гидра воспоминаний* ближе к земному существу растерзанного сердца, нежели ваша *небесная сладость* прошедшего, но вас непременно соединит то, что у вас есть общего: возвышенная простота души поэтической»<sup>429</sup>.

П. Я. Чаадаев частенько являлся на воскресные елагинские вечера. Е. А. Баратынский был в доме у Елагиных-Киреевских *домашним человеком*. Здесь же проводил время в задушевных беседах М. П. Погодин. Молодой А. С. Хомяков читал у них свои первые произведения.

Хлебосольная и просвещенная Москва полюбила дом Елагиных-Киреевских в Хоромном тупике у Красных ворот. Он привлекал своей открытостью, приветливостью, но особенно, если можно так выразиться, интеллектуальным напряжением. Московское образованное общество, талантливейшие

---

<sup>428</sup> А. П. Елагина-Киреевская запечатала письмо сургучной печатью, на которой был выгравирован фонарь, символизирующий фонарь Диогена. Чаще ее печать на письмах изображала лиру.

<sup>429</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 136.

представители ученых и литературных кругов того времени, даровитые юноши, товарищи и сверстники молодых братьев Киреевских – все они стремились под доброжелательный и благословенный кров, создаваемый матерью Ивана и Петра Авдотьей Петровной. Она всем своим присутствием привносила в литературные вечера атмосферу искренности и любви, была интереснейшим, остроумным и приятным собеседником. Ее боготворили Н. В. Гоголь, Ю. Ф. Самарин, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин, Аксаковы, Сергей Тимофеевич, Константин Сергеевич и Иван Сергеевич. Последний, в ответ на присланное ему в подарок *изваянное изображение* Спасителя в терновом венце, выразил свои искренние чувства в стихотворении:

Душевных тайн не прозревая,  
Ее не ведая путей,  
Не раз один хвала людская  
Взмутила глубь души моей.  
Больней хулы, больней упрека  
Звучит, увы! мне с давних пор  
Обидной колкостью намека  
Хвалебный каждый приговор.

Мне ведом мир, никем незримый,  
Души и сердца моего,  
Весь этот труд и подвиг мнимый,  
Весь этот дразг неуловимый  
Со всеми тайнами его!..

С каким же страхом и волнением  
Я дар заветный увидал,  
И пред святым изображеньем,  
Как перед грозным обличеньем,  
С главой поникшею стоял!

Но я с болезненной тоскою,  
С сознанием немощей земных,  
Я не гонюсь за чистотою  
Всех тайных помыслов моих.  
Стыжусь бодрить примером Бога  
Себя, бродящего во мгле!..  
Пусть приведет меня дорога  
Хоть до ничтожного итога  
Случайной пользы на земле!<sup>430</sup>

А. П. Елагина-Киреевская отличалась необыкновенной способностью оживлять общество своей неподдельной заинтересованностью и вниманием ко всему живому и даровитому, ко всякому благородному начинанию и высокому порыву. «Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной, – вспоминал К. Д. Кавелин. – В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идет время. Живость, веселость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности, при ее личном знакомстве с массою интереснейших личностей и событий, про-

---

<sup>430</sup> Там же. С. 139.

шедших перед нею в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память – все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал ее, испытывали на себе ее доброту и внимательность. Авдотья Петровна спешила на помощь всякому, часто даже вовсе не знакомому, кто только в ней нуждался»<sup>431</sup>.

Литературные, художественные, религиозно-нравственные интересы преобладали у А. П. Елагиной-Киреевской над всеми прочими; политические и общественные вопросы отражались в ее уме и сердце своей гуманитарной и художественно-эстетической стороной. Она была основательно знакома с европейской литературой, но особенно почитала французских классиков, таких как Жан Расин, Жан Жак Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Жан Батист Массильон, Франсуа Салиньяк Фенелон. В круг личных друзей Авдотьи Петровны входили известнейший немецкий поэт-романтик, переводчик на немецкий язык Шекспира и Сервантеса, замечательный чтец Людвиг Тик и самый популярный в русском просвещенном обществе из немецких философов Фридрих Шеллинг. Вряд ли в истории русской литературы найдется еще такой человек, который, не будучи писателем, внес столько в ее развитие. Достаточно вспомнить ее влияние на творчество В. А. Жуковского, для которого она была первым слушателем многих его еще рукописных произведений и по замечаниям которой поэтом проводилась их последую-

---

<sup>431</sup> Там же. С. 39.

щая доработка. Авдотья Петровна много и успешно переводила с иностранных языков. Это и роман французского писателя Жан Пьера Флориана «Дон Кихот», и повесть «Der graue Bruder»<sup>432</sup> немецкого писателя Фрайта Вебера (Вехтера Людвига Леонхарда), анонимно напечатанная в первом номере «Европейца» за 1832 год под названием «Чернец», и мемуары немецкого философа и естествоиспытателя Генриха Стеффенса, вышедшие в 1845 году в «Москвитянине». Многие ее переводы напечатаны в «Библиотеке для воспитания», издававшейся Д. А. Валуевым. Здесь же в 1843 году появилась, как обычно без подписи, статья Авдотьи Петровны о Троянской войне. Ее рукописное наследие представлено Жан-Полем Рихтером («Левана, или О воспитании»), Франсуа Боншозом («Жизнь Гуса»), сказками «Принцесса Брамбилла» Гофмана и «Тысяча и одна ночь», а также богословскими сочинениями швейцарского протестантского теолога А. Р. Вине и проповедью ревельского священника Гунна.

А. П. Елагина-Киреевская прожила долгую 88-летнюю жизнь, вобравшую в себя все сколь-нибудь значимые события первых семидесяти семи лет XIX века, дарившего ей радость общения с людьми, составившими впоследствии цвет отечественной культуры. Полноту и цельность умственной и нравственной личности Авдотьи Петровны не сломили семейные горести и несчастья, следовавшие одни за другими:

---

<sup>432</sup> Серый брат (нем.).

печальный их ряд открылся смертью любимой подруги М. А. Мойер, Марьи Андреевны Протасовой. 28 марта 1823 года Авдотья Петровна получила ошеломившее всех известие от В. А. Жуковского. «Кому могу уступить святое право, милый друг, милая сестра, и теперь вдвое против прежнего говорить с Вами о последних минутах нашего земного ангела, теперь небесного, вечно без изменения нашего, – писал Василий Андреевич из Дерпта. – С тех пор, как я здесь, Вы почти беспрестанно в моей памяти. С ее святым переселением в неизменяемость, прошедшее как будто ожило и пристало к сердцу с новою силою. Она с нами на все то время, пока здесь еще пробудем. Не вижу глазами ее, но знаю, что она с нами и более наша, наша спокойная, радостная, товарищ души, прекрасный, удаленный от всякого страдания. Дуняша, друг, дай же мне руку во имя Маши, которая для нас все существует; не будем говорить: ее нет! *C'est un blasphème!*<sup>433</sup> Слезы льются, когда мы вместе и не видим ее между нами, но эти слезы по себе. Прошу Вас ее именем помнить об нас. Это должность, это завещание! Вы были ее лучший друг, – пусть ее смерть будет для нас таинством, где два будут во имя мое, с ними буду и я. Вот все! Исполним это. Подумайте, что это говорю вам я, и дайте мне руку с прежнею любовью. Я теперь с ними. Эти дни кажутся веком. 10 числа я с ними простился, без всякого предчувствия, с какою-то

---

<sup>433</sup> Это святотатство! (*фр.*)

непонятною беспечностью. Я привел к ним Сашу<sup>434</sup> и пробыл с ними две недели, неделю лишнюю против данного мне срока; должно было уехать, но, Боже мой! Я мог бы остаться еще десять дней – эти дни были последние здешние дни для Маши! Боюсь останавливаться на этой мысли: бывают предчувствия, чтобы мутить душу, для чего же здесь не было никакого милосердного предчувствия? Было поздно, когда я выехал из Дерпта, долго ждал лошадей; всех клонил сон; я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем<sup>435</sup>. Сашу я проводил до ее дома, услышал еще голос ее, когда готов был опять войти в двери, услышал в темноте: прости! Возвратясь, проводил Машу до ее горницы, она взяла с меня слово разбудить их в минуту отъезда, и я заснул. Через полчаса все готово к отъезду; встаю, подхожу к лестнице, думаю, идти ли, хотел даже не идти, но пошел, – она спала, но мой приход ее разбудил, – хотела встать, но я ее удержал. Мы простились, она просила, чтобы я ее перекрестил, и спрятала лицо в подушку – и это было последнее на этом свете. И через десять дней я опять на той же дороге, на которой мы вместе с Сашею ехали на свидание – радостное, и с чем же я ехал! Ее могила, наш алтарь веры, недалеко от дороги, и ее первую посетил я!

---

<sup>434</sup> Александра Андреевна Воейкова (урожденная Протасова) жила с мужем (А. Ф. Воейков оставил к этому времени должность профессора Дерптского университета) в Санкт-Петербурге.

<sup>435</sup> Иван Филиппович Мойер.

Я смотрел на небо другими глазами; это было милое, утешительное, Машино небо. Ее могила для нас будет местом молитвы. Горе об ней там, где мы, но на этом месте одна только мысль о ее чистой, ангельской жизни, о том, что она была для нас живая, и о том, что она ныне есть для нас небесная. Последние дни ее были веселы и счастливы. Но не пережить родин своих было ей назначено, и ничто не должно было ее спасти. Положение младенца было таково, что она не могла родить счастливо; но она не страдала, и муки родин не сильные и не продолжительные. В субботу 17 марта она почувствовала приближение родительской минуты: поутру были легкие муки, к обеду все успокоилось – она провела все после обеда с Сашею, была весела необыкновенно; к вечеру сделались муки чаще, но и прежде, и после их была потеря крови, и в ней-то причина смерти. Ребенок родился мертвый – мальчик. В минуту родин она потеряла память – пришла через несколько времени в себя, но силы истощились, и через полчаса все кончилось! Они все сидели подле нее: смотрели на ангельское, спящее, помолодевшее лицо, и никто не смел четыре часа признаться, что она скончалась. Боже мой! А меня не было! В эти минуты была вся жизнь, а я должен был ее не иметь! Я должен был не видеть ее лица, ясного, милого, веселого, уверяющего в бессмертии, ободряющего на всю жизнь. Саша говорит, что она не могла на нее наглядеться.

Она казалась точно такую, какова была в 17 лет. В голу-

бом платье, подле нее младенец, миловидный, точно заснувший. Горе было для всех, здесь все ее потеряли. Знакомый и незнакомый прислал цветы, чтобы украсить стол, на котором лежали наши два ангела, и живший, и неживший! Она казалась спящею на цветах. Все проводили ее, не было никого, кто бы об ней не вздохнул. Ангел мой, Дуняша, подумайте, что обо всем этом пишу к Вам я, и поберегите свою жизнь. Друг милый, примем вместе Машину смерть, как уверение Божие, что жизнь – святыня. Уверяю вас, что это теперь для меня понятно – мысль о товариществе с существом небесным не есть теперь для меня одно действие воображения, нет! Это <неразб.> я как будто вижу глазами этого товарища и уверен, что мысль эта будет час от часу живее, яснее и одобрительнее! Самое прошедшее сделалось более моим; промежуток последних лет как будто бы не существует, а прежнее яснее, ближе. Время ничего не сделает... Разве только одно: наш милый товарищ будет час от часу ощутительнее своим присутствием, я в этом уверен. Мысль об ней полная ободрения до будущего, полная благодарности за прошедшее, словом – религия! Саша, вы и я, будем жить друг для друга во имя Маши, которая говорит нам: “Незрима я, но в мире мы одним”.

Я не сказал почти ничего о Саше: Бог дал ей сил, и ее здоровье не потерпело. Можно сказать, что у нее на руках ее спаситель: она кормит своего малютку<sup>436</sup>. Пока он пьет ее

---

<sup>436</sup> В 1822 году у Александры Андреевны и Александра Федоровича Воейковых

молоко, до тех нор чувство горя сливается с сладостью материнского чувства. Она плачет, но он тут: милый, живой, веселый и спокойный ребенок.

Маменьке<sup>437</sup> помогают слезы, не бойтесь за нее. Другой спаситель – Машина дочь<sup>438</sup>, наше общее наследство. Она не имеет никакого понятия ни о чем – весела, бегаёт, смеётся, но слезы, которые она видела, ей как будто сказали тайну: точно так же она привязалась (и вдруг, без всякой поспешности) к Саше, как к Маше. О матери не говорит ни слова, но ласкается с необыкновенною нежностью к Саше, по полчаса лежит у нее на руках, целует ее и что-то есть грустное в этих поцелуях. Милая, Машина дочь теперь и Ваша. И для нее Вам должно беречь себя. Матери не увидит она, но от кого, как не от нас, дойдет до нее предание об этом ангеле»<sup>439</sup>.

В 1829 году не стало А. А. Воейковой, Александры Андреевны Протасовой, а в 1844 году ее дочери, одной из любимых племянниц Авдотьи Петровны, Екатерины Александровны Воейковой; позднее, в том же году, 27 декабря, умер 21 года от роду Андрей Алексеевич Елагин; в декабре следующего, 1845-го, года скончался племянник Н. М. Языкова Д. А. Валуев, ставший не по родству, но по близости чле-

---

родился сын Андрей Александрович Воейков.

<sup>437</sup> Екатерина Афанасьевна Протасова.

<sup>438</sup> Екатерина Ивановна Мойер.

<sup>439</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 129–132.

ном семьи Елагиных-Киреевских; в 1846 году, 21 марта, Авдотья Петровна вторично овдовела, лишившись А. А. Елагина; год спустя – новые утраты: 12 февраля 1848 года скончалась Екатерина Афанасьевна Протасова, а вслед за нею (4 июля) дочь Авдотьи Петровны, Елизавета Алексеевна Елагина. В 1852 году умер, не успев возвратиться на родину, В. А. Жуковский. 1856 год стал еще одним черным годом для А. П. Елагиной, унесшим двух ее первенцев: вначале 11 июня умирает Иван Васильевич Киреевский, а вслед за ним 25 октября Петр Васильевич Киреевский; через два года не стало И. Ф. Мойера, а три года спустя (5 сентября 1859 года) скончалась дочь Авдотьи Петровны, Марья Васильевна Киреевская. 11 февраля 1876 года скоропостижно скончался Николай Алексеевич Елагин; за три года до этого он был избран предводителем дворянства Белёвского уезда и окружил Авдотью Петровну всевозможными удобствами, построив в Уткине, поблизости от ее родного Петрищева, прекрасный дом, разбив обширный сад, заведя превосходную библиотеку и достойную картинную галерею.

А. П. Елагина-Киреевская в последние годы своей жизни сравнивала себя с Рахилью, *плачущися чад своих и не хотяше утешитися, яко не суть*<sup>440</sup>. И все же, сохраняя живой, ясный и веселый ум, усердно занималась чтением, переводами, живописью, рукоделием и обожаемыми ею цветами. Родным и близким она дарила то нарисованный акварелью

---

<sup>440</sup> Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31, 15).

цветок, то связанный кошелек, а то вдруг, по поводу какого-нибудь разговора, отправлялась в свою комнату и выносила оттуда сделанный ею перевод того или иного места из прочитанной книги. Незадолго до кончины Авдотьи Петровны Общество любителей словесности при Московском университете предложило ей почетное членство, и Елагина-Киреевская, несмотря на свой почтенный возраст, с благодарностью приняла предложение и сочла своим долгом побывать на заседании Общества.

*Земная лампада жизни* одной из просвещеннейших женщин первой половины XIX века тихо, почти без страданий погасла 1 июня 1877 года в Дерпте, в семействе своего последнего сына Василия Андреевича Елагина. Накануне Авдотья Петровна сделала все приготовления к поездке к себе в Уткино, где она собиралась провести лето, но силы внезапно изменили ей...

После переезда в Москву Иван и Петр Киреевские начинают, как это было принято в то время, брать частные уроки, главным образом у преподавателей Московского университета. Авдотья Петровна в обучении сыновей отдавала предпочтение молодой профессуре: Н. И. Крылову (римское право), Д. Л. Крюкову (римская словесность), П. Г. Редкину (энциклопедия законоведения), А. И. Чивилеву (политическая экономия и статистика), С. И. Баршеву (уголовные и политические законы). Все они слушали лекции в университетах Германии, в основном Берлинском, и, приступив с 1835 года к преподаванию в Московском университете, пропагандировали философию Гегеля.

Среди профессоров, обучавших братьев Киреевских, были: математик Ф. И. Чумаков, видный ученый и юрист Л. А. Цветаев, известный поэт А. Ф. Мерзляков и М. Снегирев – фольклорист, составитель сборников пословиц, автор книг о простонародных праздниках, суевериях, лубочных картинках. А. Ф. Мерзляков занимался с Иваном и Петром русской и классической словесностью, И. М. Снегирев – латынью. К А. Ф. Мерзлякову как к преподавателю в кругу Елагиных претензий не имели, однако как к поэту и теоретику русского классицизма относились довольно скептически, не упуская случая высказать критические замечания по его адресу.

Так, в одном из писем к В. А. Жуковскому Авдотья Петровна писала: «Не могу утерпеть, чтобы не сказать Вам Мерзлякова чудесного <неразб.>, который Вам покажет, как можно самую поэтическую прекрасную мысль перевернуть в Полишинеля.

Смотри на пышное Востока украшеньё  
И жизнью веселись,  
Когда же страждешь ты и нужно утешенье,  
На Запад обернись.

Лучше бы просто: перевернись цук, цук, цук, цук...»<sup>441</sup>.

Помимо уже перечисленных преподавателей, в дом Елагиных-Киреевских были приглашены: по курсу права и политической экономии Х.-А. фон Шлёцер, сын известного историка Августа Людвига Шлёцера; по курсу греческого языка И. Д. Байла, преподаватель Московской практической коммерческой академии; по курсу минералогии, физики и сельскому хозяйству профессор М. Г. Павлов. Шлёцер читал свой курс на немецком языке, в основании лекций М. Г. Павлова лежали натурфилософские идеи Шеллинга, что вызывало неподдельный интерес у молодых людей, хорошо осведомленных относительно философских идей общепризнанного немецкого мыслителя.

---

<sup>441</sup> Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), ф. 138, оп. 1, ед. хр. 107. – А. П. Елагина, по-видимому, цитирует четверостишие А. Ф. Мерзлякова, на память. Ср.: Мерзляков А. Ф. Стихотворения. 1867. С. 597.

Об этих годах сохранились воспоминания сверстника и друга И. В. Киреевского, А. И. Кошелева, жившего поблизости, на Большой Мещанской. О пристрастиях молодых людей, осваивающих систематические научные знания, свидетельствуют следующие строчки: «Меня особенно интересовали знания политические, а Киреевского – изящная словесность и эстетика, но мы оба чувствовали потребность в философии. Локка мы читали вместе; простота и ясность его изложения нас очаровала. Впрочем, все научное нам было по душе, и все, нами узнанное, мы друг другу сообщали. Но мы делились и не одним научным – мы передавали один другому всякие чувства и мысли: наша дружба была такова, что мы решительно не имели никакой тайны друг от друга. Мы жили как будто одною жизнью»<sup>442</sup>.

Чему отдавал в тот период времени предпочтение П. В. Киреевский, сказать трудно. Еще труднее утверждать о формирующемся у него при изучении русской словесности увлечении народной песенной традицией. По оценке современников, Петр Васильевич с юности, да и всю жизнь, нелюдим, крайне застенчив и необщителен. По словам брата Ивана, это была душа глубокая, горячая, но несокрушимо одинокая. Поэтому судить о его ранней увлеченности фольклором можно лишь по косвенным данным и то в контексте филологического образования. Из дневника И. М. Снегирева из-

---

<sup>442</sup> Кошелев А. И. Мои записки (1812–1883 годы) // Русское общество 40–50-х гг. XIX в.: в 2 ч. М., 1991. Ч. 1. С. 47–48.

вестно, что в году, когда он занимался с братьями Киреевскими, его очень занимала мысль о собирании русских народных песен. Так, 13 января 1824 года Снегирев записывает: «Поутру ездил к Погодину<sup>443</sup>. <...> Там же встретил Оболенского<sup>444</sup>, магистра; говорили о песнях русских, о необходимости их собирать и рассматривать их содержание, к какому времени относятся, их красоты сравнительно»<sup>445</sup>. В том же дневнике обращает на себя внимание запись от 12 мая 1823 года: «После обеда пошел к Киреевским, дал одному Петру Васильевичу урок, потом с обоими гулял, был в подворье у всенощной»<sup>446</sup>. Такого рода записей несколько, но можно ли на их основании предполагать, что во время занятий и бесед И. М. Снегирев пробудил у своего ученика интерес к фольклористике?! Известно только, что впоследствии профессор стал участником Собрания русских народных печен П. В. Киреевского и цензором его первого сборника, подготовленного к печати, но так и не вышедшего в свет.

В 1822 году была опубликована работа А. Ф. Мерзлякова «Краткое напутствование теории изящной словесности», в которой автор видное место отвел *народным мнениям*. Кни-

---

<sup>443</sup> Михаил Петрович Погодин.

<sup>444</sup> Василий Иванович Оболенский.

<sup>445</sup> Дневник Ивана Михайловича Снегирева. I. 1822–1852 / пред. А. А. Титова. М., 1904. С. 54.

<sup>446</sup> Там же. С. 13.

га, по всей вероятности, служила пособием в занятиях Мерзлякова с Иваном и Петром Киреевскими, но считать однозначно, что описываемые в ней эстетические воззрения народа и их значение для литературы захватили ум и воображение младшего из братьев также не представляется возможным.

Имеется и еще один факт, по которому можно судить лишь о неких складывающихся у П. В. Киреевского представлениях о фольклористике как области науки. Речь идет о его знакомстве с выдающимся прогрессивным деятелем славянской филологии Зорианом Яковлевичем Доленго-Ходаковским, вернувшимся в конце 1821 года в Москву из археологической и этнографической экспедиции по северо-восточным губерниям Российской империи. Братья Киреевские помогали Доленго-Ходаковскому в разборе его коллекции. В одном из писем отчиму, А. А. Елагину, Петр Киреевский в шуточном тоне сообщал об этих своих занятиях: «Я же, по несчастью моему, нахожусь теперь под ужасным спудом городищ, которые мучают меня с утра до вечера, и, несмотря на отсутствие политического эконома<sup>447</sup> и верного слушателя Ходаковского, городища нас еще не оставляют и все еще продолжают частные свои визиты. Я уверен, что я буду скоро всех их знать наизусть не хуже самого Ходаков-

---

<sup>447</sup> Упомянутый в письме «политический эконома» – вероятнее всего, И. В. Киреевский, увлеченный в это время соответствующим кругом чтения.

ского»<sup>448</sup>. Однако вряд ли П. В. Киреевский в этот момент представлял себе, что в привезенных этнографом материалах кроется его судьба и он свяжет свою жизнь с собиранием русских народных песен. В противном случае чем объяснить его увлеченность в первый период творческой биографии переводами, что было более характерно для развития его литературных интересов, в которых явно угадывается влияние матери.

Очевидно одно: П. В. Киреевский хорошо знал народную поэзию, ее образную лексику и любил иронизировать над ее литературной интерпретацией. Это можно видеть уже в его самых ранних письмах, написанных, как правило, в шутовском тоне и характерной манере. «Милая Маша! – обращается Петр Васильевич к сестре 17 мая 1823 года из Долбина, куда был взят на лето отчимом для обучения хозяйствованию. – Пищу тебе сегодня для того, чтобы в субботу опять не отговориться словом: некогда; к тому же надобно сдержать слово и написать письмо шпанское, то есть крупное.

Шпанские письма разделяются на две части: первая часть состоит из вступления, а вступление гласит тако: мы, слава Богу, здоровы и вам кланяемся; вторая часть воспевает великие подвиги знаменитых витязей.

### Часть 1

Мы, слава Богу, здоровы и вам кланяемся.

---

<sup>448</sup> Малышевский А. Ф. Петр Киреевский и его собрание русских народных песен. Т. 8. Кн. 1. С. 241.

## Часть 2

### Эпиграф.

Смутно в воздухе,  
Суетно в ухе.

*Тредьяковский. Часть 187, стр. 1794.*

Что является взорам моим? Какой внезапный гром произвел в моем слухе суету великую?!.. То шаги богатыря могучего, они раздаются по чертогам долбинским подобно грому, катящемуся по заоблачным горам. Он идет как столп вихря, несущийся через поля, очи его сверкают, как огонь в закуренной трубке, стройный стан подобен чубуку черешневому, раздувшиеся ноздри его испускают звук, подобный отдаленному водопаду. Он остановился... Узнаю тебя, могучий!.. То Борис Премудрый, славный богатырь долбинский.

Но что знаменует его приветствие? Десница его разверзла двери, он очутился среди стен небесного цвета и стал перед витязем в белой одежде, сидящим на белоснежном троне и клубами испускающим дым из своей крюкообразной трубки. Загремел глас Бориса Премудрого: “Лошадь оседлана!” И воспрянул витязь в белой одежде. Они идут... идут... и вышли из чертогов,

Кто на статном соловом коне,  
Грозный хлыст держа в одной руке,  
А в другой узду ременную,

Едет по лесу кудрявому?

То могучий богатырь Дон Петруха...»<sup>449</sup>.

Другое письмо, датированное июлем 1824 года, было направлено из Москвы в Долбино брату Ивану. В этот год была его очередь проходить *хозяйственную практику* в деревне.

«О Юсупов политический!»<sup>450</sup> Вот какое происшествие у нас подпитчилось: ты пишешь: “Купите, дескать, мне “Историйцу Робертсонца”<sup>451</sup>. А маменька говорит: “И подлинно, что купить приходится”. А я говорю: “Видно, что так!” А ты говоришь: “Да купите-де у Урбена”<sup>452</sup>, мне-де мерещится, аль не у него есть такие аглицкие книжицы!» А я-то говорю: “Ну, ну, хорошо, куплю, батюшка, куплю. Ну, только... потом... после того, ну, вот видишь...” Вот как я сказал это. Ну, думаю, что делать? Ведь приходит, что покупать!

Ну вот, и пошел я, наконец, за тридевять земель в тридесятое царство. Шел, шел, шел, шел, шел, шел, шел, шел, шел, шел, шел, шел и вот пришел, наконец, на один необитаемый остров. За морем за океаном стоит там избушка на курьих ножках, и в той избушке живет колдун и чернокнижник; и тот чернокнижник прозывается Урбеном. Ну... вот

---

<sup>449</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 305–306.

<sup>450</sup> «Юсупов политический» – прозвище И. В. Киреевского.

<sup>451</sup> Очевидно, речь идет о книге Вильяма Робертсона «History of America» (Лондон, 1777).

<sup>452</sup> Владелец книжного магазина в Москве.

и вошел я к этому Урбену. “Ну, – говорю, – батюшка, милосердый чернокнижник, есть-де у тебя такая ‘Историйца’?” “Какая ‘Историйца’?” “Которая была бы написана на языке аглицком и называлась бы та книжица Робертсоном?” Ну, нет, сударь! Не тут-то было!...»<sup>453</sup>

---

<sup>453</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 306–307.

### 3

Особенность характера Петра Киреевского отвела в сознании современников ему место лишь в тени Ивана Киреевского. Всю жизнь трепетно любивший и почитавший брата Ивана Петр Киреевский вовлекался в его кружки, проникался его интересами и замыслами, занимался разрешением его жизненных коллизий.

Весной 1824 года, сдав так называемый комитетский экзамен для поступления на государственную службу, братья Киреевские были зачислены в Московский архив Государственной коллегии иностранных дел и, приняв присягу, приступили к работе. Здесь же, на Солянке – в старинном доме в Хохловском переулке оказались А. И. Кошелев, братья Дмитрий Владимирович и Алексей Владимирович Веневитиновы, С. П. Шевырев, В. П. Титов, С. А. Соболевский. Так сложился круг «архивных юношей», задавший тон светской жизни Москвы и потому увековеченный А. С. Пушкиным в первых четырех строчках строфы XLIX седьмой главы своего «Евгения Онегина»:

Архивны юноши толпою  
На Таню чопорно глядят  
И про нее между собою

Основной задачей Московского архива Государственной коллегии иностранных дел – места хранения документов Посольского приказа и всей дипломатической переписки – был разбор и публикация «Собрания государственных грамот и договоров». Эта работа, начатая еще в XVIII в. знаменитым историком и архивистом Г.-Ф. Миллером, была продолжена его преемником А. Ф. Малиновским, имевшим снисхождение к молодым сотрудникам, дважды в неделю (понедельник и четверг) являвшимся на службу и проводившим все свободное время за дружескими беседами и сочинительством.

Еще ранее, а именно в 1823 году, Иван и Петр Киреевские вошли в кружок преподавателя Благородного пансиона при Московском университете С. Е. Райча. Поэт, переводчик «Георгик» Вергилия, воспитатель Ф. И. Тютчева и А. Н. Муравьева, Семен Егорович Райч учредил свой «Союз друзей» из коллег (М. П. Погодин и В. И. Оболенский) и воспитанников (князь В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев). К ним примкнули бывший ученик Райча А. Н. Муравьев и ученик Оболенского А. И. Кошелев, который в свою очередь привлек к Союзу друзей «архивных юношей». «У

---

<sup>454</sup> «Архивные юноши» – выражение остролова С. А. Соболевского. Комментарии к строфе XLIX главы 7 «Евгения Онегина» А. С. Пушкина см.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарии. Л., 1983. С. 332–333; Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1999. С. 513–514.

нас, – писал М. П. Погодин, – состоялось общество друзей. Собираемся раза два в неделю и читаем свои сочинения и переводы. У нас положено, между прочим, перевести всех греческих и римских классиков и перевести со всех языков лучшие книги о воспитании, и уже начаты Платон, Демосфен и Тит Ливий»<sup>455</sup>. В частности, В. И. Оболенский в 1827 году перевел «Платоновы разговоры о законах» и приступил в 1830-е годы к переводу творений святителя Иоанна Златоуста, придя к выводу, что вершину античной культуры составляет не мифология, а раннехристианская литература.

Буквально через год братья Киреевские становятся членами Общества любомудрия: В. Ф. Одоевский (председатель), Д. В. Веневитинов (секретарь), А. И. Кошелев, Н. М. Рожалин, В. П. Попов, С. П. Шевырев, Н. А. Мельгунов. Молодые скептики, объединившиеся вокруг идей Канта, Фихте, Шеллинга, Окена, Гёрреса, тайно собирались субботними вечерами в квартире В. Ф. Одоевского. «Тут, – вспоминал А. И. Кошелев, – мы иногда читали наши философские сочинения, но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для любомудров. Мы особенно высоко це-

---

<sup>455</sup> Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева: в 2 т. (в 3 кн.). М., 1892. Т.1. Кн. 2. С. 65.

нили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других Священных Писаний»<sup>456</sup>.

Одновременно с тайными заседаниями Общества любителей проходили и заседания в более широком составе («вторники» Д. В. Веневитинова), в которых принимала участие молодежь из среды Московского университета и университетского Благородного пансиона: В. П. Титов, А. В. Веневитинов, А. С. Хомяков, И. С. Мальцев, В. П. Андросов и др. Не случайно название *любомудры* имеет расширенную трактовку применительно ко всему кругу московской молодежи того времени.

Мечтали о распространении *серьезного и здравого классического образования*, об *освобождении крестьян* и пробуждении у народа подлинного *религиозного чувства*. Сочувственно отнеслись к идеям государственных преобразований декабристов, поддержав *идеи*, но не *преступные* способы их осуществления<sup>457</sup>, почему после подавления восстания на Сенатской площади и прокатившихся арестов *с особой торжественностью* предали огню и устав, и протоколы Общества любомудрия<sup>458</sup>.

Конец лета – начало осени 1826 года было временем последних встреч московского идеалистического юношеского

---

<sup>456</sup> Там же. С. 51.

<sup>457</sup> Европеец. Журнал И. В. Киреевского. 1832. С. 441.

<sup>458</sup> Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева: в 2 т. (в 3 кн.). М., 1892. Т.1. Кн. 2. С. 51.

кружка. В августе Москва ожидала прибытия для венчания на царство нового государя Николая Павловича. «Архивные юноши», как и прочие служащие, должны были присутствовать на официальных торжествах. Оставшись без летних отпусков, друзья проводили время в прогулках по московским окрестностям. Настроения этих дней навеяли И. В. Киреевскому пафос его первого литературного произведения «Царицынская ночь»: «Ночь застала веселую кавалькаду в двух верстах от Царицына. Невольно изменили они быстрый бег лошадей своих на медленный шаг, когда перед ними открылись огромные пруды – красноречивый памятник мудрого правления Годунова. Шумные разговоры умолкли, и тихие мысли сами собой пошли разгадывать прошлую жизнь отечества.

Между тем взошел месяц. Он осветил неровную узкую дорогу, открыл дальние поля и рощи и отразился в спокойных водах. Ночь была тихая, на небе ни одной тучи и все звезды.

Владимир первый прервал молчание.

– Мне пришла мысль, – сказал он, – представить Борисово царствование в романе. Нет ничего загадочнее русского народа в это время. Не все же кланялись восходящему солнцу. Представьте же себе человека, который равно ненавидит Годунова как цареубийцу-похитителя, и Гришку как самозванца; к чему привяжет он слово *отечество*? Мне кажется, здесь в первый раз русский задумался об России. К тому же голод, чума, безлюдные войны, беспрестанные восстания

народа и все бедствия того времени должны были невольно связать умы в одно общее стремление, и этим только объясняется после возможность успехов Минина и Пожарского. Пруды эти, где работали тысячи, собранные со всех концов государства, вероятно, также немало помогли мыслям перебродить в народе. Но для романа я избрал бы человека, не названного историей, воспитанного при дворе Грозного во всех предрассудках того времени, и старался бы показать, как сила обстоятельств постепенно раскрывала в нем понятие лучшего, покуда, наконец, польское копье не положило его под стеной освобожденного Кремля.

– Конечно, такое лицо будет зеркалом того времени, – сказал Фальк, – и работа даст много пищи воображению и сердцу. Но берегись только, чтобы не нарядить девятнадцатый век в бороду семнадцатого.

– Неужели ж ты думаешь, – отвечал Владимир, – что, переносясь в прошедшее, можно совершенно отказаться от текущей минуты? А когда бы и можно было, то должно ли? Только отношения к нам дают смысл и цену окружающему, и потому одно настоящее согревает нам историю.

– Да, – сказал Черный, – кому прошедшее не согревает настоящего?

Завязался спор, но скоро остановило его новое явление: из-за роши показался гроб – царский дворец.

– Все строения Баженова, – сказал Вельский, – замечательны какой-нибудь мыслью, которую он умел передать сво-

им камням, и мысль эта почти всегда печальная и вместе странная. Кому бы пришло в голову сделать гроб из потешного дворца Екатерины? А между тем какая высокая поэзия: слить земное величие с памятью о смерти и самую пышность царского дворца заставить говорить о непрочности земных благ. Этот недавний дворец для меня красноречивее всех развалин Рима и Гишпании.

– Он сам развалина, – сказал Фальк, – Екатерина никогда не жила в нем, и от самого построения он оставался пустым, а теперь без окон и дверей. Мысль поэта-художника, говорят, не понравилась государыне.

В таких разговорах друзья приблизились к саду, переехали мост, у трактира сошли с лошадей и, отправляясь осматривать красоты Царицына, не позабыли заказать себе сытного ужина.

Отвязав широкую лодку и закулив трубки, друзья пустились гулять по гладкому пруду. Тишина, лунная ночь, качание лодки, равномерные удары весел, музыкальное плескание воды, свежесть воздуха, мрачно-поэтический вид окружающего сада – все это настроило их душу к сердечному разговору, а сердечный разговор, как обыкновенно случалось между ними, довел до мечтаний о будущем, о назначении человека, о таинствах искусства и жизни, о любви, о собственной судьбе и, наконец, о судьбе России. Каждый из них жил еще надеждой, и Россия была любимым предметом их разговоров, узлом их союза, зажигательным фокусом прозрач-

ного стекла их надежд и желаний. Все, что таилось в душе самого священного, доверчиво вылилось в слова, и можно сказать, что в эту ночь на Годуновском пруду не раздалось ни одного слова, не теплого мыслью. Правда, если бы человек, испытанный жизнью, потерявший веру в несбыточное, – словом, человек опытный подслушал их неопытные речи, то улыбнулся бы многому молодому, незрелому, безумному, но если жизнь еще не совершенно убила в нем сердце, то, конечно, оно не раз забилось бы сильнее от сердечного слова...

Между тем лодка причалила к тому месту, где был приготовлен ужин. Друзья расположились под открытым небом. Пробка хлопнула и, не встретив потолка, возвратилась на стол.

– Сегодняшний вечер был полон, – сказал Владимир, наливая бокалы, – верно, каждому из нас отзовется он в целой жизни, и, начиная с теперешней минуты, верно, каждый уже смелее смотрит в будущее и для каждого сделалось священнее то место, куда поставила его судьба. Спасибо светлой царицынской ночи!

В самом деле светлой, – сказал Черный, – что неприметной искрой таилось в сердце, то ее влиянием рассвело в ясный день и, конечно, не погаснет прежде последнего луча жизни. За здоровье царицынской ночи!

Чоканье рюмок было ответом.

– Мы не позабыли ничего, что греет душу, – сказал Фальк, – только одного недостает еще: стихов. Вельский! Это

твое дело! Благослови сегодняшнюю сходку!

– Давайте шампанского! – отвечал Вельский.

Вино закипело; поэт, собирая мысли, устремил глаза к небу: там Большая Медведица светила прямо над его головой. Мигом осушил он бокал... мысль загорелась... он начал так:

Смотрите, о други! над нами семь звезд:  
То вестники счастья, о други!  
Залог исполнения лучших надежд,  
Блестящее зеркало жизни.

Так, други! над темной жизнью нам  
Семь звезд зажжено Провиденьем;  
И все, что прекрасного есть на земле, —  
Все дар семизвездного хора.

Нам Веры звезда утешитель в бедах  
И в счастье надежный вожатый;  
Звезда Песнопенья льет в душу восторг

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.